

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Д Е С Я Т А Я

О К Т Я Б Р Ь

---

М О С К В А

4 • 9 • 3 • 0

Москва. Главлит А 77473.

СТАТ—формат Б 5 178—250

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова „Известия ЦИК СССР и ВЦИК“. Москва

## СОДЕРЖАНИЕ:

1. П. СЛЕТОВ. — Заштатная республика, <i>роман</i> , продолжение. . . . .	5
2. Виссарион САЯНОВ. — Четыре стихотворения . . . . .	45
3. А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ. — Гибель «Осляби», <i>отрывок из будущей книги «Цусима»</i> . . . . .	49
4. Ник. АСЕЕВ. — Санаторий, <i>окончание</i> . . . . .	58
5. В. КОЗИН. — Саранча, <i>очерк</i> . . . . .	78
6. Всеволод ИВАНОВ. — Б. М. Маников и работник его Гриша, <i>повесть</i> . . . . .	95
7. Мариэтта ШАГИНЯН.—Гидроцентральный, <i>роман</i> , продолжение. . . . .	108
8. Николай МАЛЬЦЕВ. — Путешествие на Шатуру, <i>стихотворение</i> . . . . .	125
9. Х. М. МУГУЕВ. — Дигория, <i>очерк</i> . . . . .	127
10. Михаил ИСАКОВСКИЙ. — Политпросвет, <i>стихотворение</i> . . . . .	138

### ЛЮДИ И ФАКТЫ:

11. Леонид ЗАВАДОВСКИЙ. — Золотой край, <i>очерки</i> . . . . .	139
12. Борис АНИБАЛ. — Время, дела и люди. . . . .	147
13. КАМСКИЙ. — Волчанка . . . . .	155
14. Л. ПОЛОНСКАЯ. — Невольные параллели. . . . .	162

### ЗА РУБЕЖОМ:

15. И. ТАЙГИН. — Японские силуэты. . . . .	165
--	-----

### ИЗ ПРОШЛОГО:

16. Г. ЛЕЛЕВИЧ. — Один из зачинателей, <i>к истории пролетарской поэзии</i> . . . . .	178
---	-----

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

17. Арк. ГЛАГОЛЕВ. — Альманах «Земля и Фабрика». . . . .	182
18. П. МАРКОВ. — Очерки современного театра, с иллюстрациями. . . . .	188
19. Евг. ЛАНН. — Пробег по современной американской литературе. . . . .	198

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

Ник. СМЕРНОВ. — С. П. Под'ячев, «Полн. собр. сочинений». . . . .	203
Д. ФИБИХ. — Е. Никулина «Закрома пятилетки». . . . .	204
Макс ЗИНГЕР. — Михаил Никитин «Путь на Север». . . . .	205
Я. ФРИД. — Агнеса Сидли «Дочь земли». . . . .	205
Б. ПЕСИС. — Жорж Дюамель «Записки д-ра Кошуа». . . . .	206
Н. ЗАМОШКИН. — Юрий Соболев «Чехов» . . . . .	207

---



# Заштатная республика

Роман

П. СЛЕТОВ

*Проролжение<sup>1)</sup>*

XVIII

Обратная дорога показалась Аркаше вдвое короче. Как-то быстро проехали необозримый соловьиный заказник, переправились через Мокшу и в'ехали в городские луга. Аркаша пришел в чудеснейшее настроение духа. Белоспасск представлялся ему удивительно милым и уютным. Вечер был близок. После трудов и дорожных неудобств хотелось смеяться при мысли о своей кровати в номерах Чунникова. И Аркаша отдался приятным мыслям.

Было ясно, что ближайшие дни он проведет спокойно, деля время между несложной службой, где авторитет его сразу возрастет в виду успешно проведенной поездки, и гуляниями на горе с Шурой, уже знесенной под номером первым в дон-жуанский Аркашин список по городу Белоспасску. Шура вспоминалась в очаровании удивительно острого девичества, острого тем, что все в этом девичестве было готово для превращения в переживания женщины, близкой к совершенно особым Аркашиным представлениям.

Эти особые представления хранились Аркашей где-то в глубине души нетронутыми никакой его бывалостью, рядом с привычной мыслью о наследстве, которое должно же было когда-нибудь достаться от отца. Можно было шалопайничать, — немалое количество устных преданий сохранилось в Аркашином кругу московских собутыльников и соучастников по приключениям о кутежах и мелких безобразиях, кончавшихся протоколами, — это был особый шик, перенятый у отцов. Аркаша больше ухаживал, чем пьянствовал; как и многие женолюбивые мужчины, он недолюбливал вина и если уж пил, то в женском обществе, с большой мерой. Но всегда само собой подразумевалось, что придет время, когда будет справлен отчаянный мальчишник и наступит женатая жизнь при своем деле, с ней, обязательно девушкой из хорошей семьи, с приданым. Собственного дела нет, туманно оно, но жениться хотелось, хотя бы на-время.

«Говорят, у Митрофанова в заводах было тысяч на восемьдесят, — думал Аркаша. — Заводы-то теперь тью-тью, но на товаре он мог немало сохранить, кожененный товар здесь шел на военную промышленность. Да в домах кое-что было, не даром целая улица

<sup>1)</sup> См. „Новый Мир“, кн. 7 и 8—9 с. г.

Митрофаньевская... Надо, как приду, у Чунникова расспросить. Шура на рояле играет, — мамаше понравилось бы...»

Примериваясь, грикидывая, Аркаша не заметил, как до Белоспаска осталось не больше трех-четырех километров. Мысли его были отвлечены в сторону встретившейся компанией белоспаской молодежи, возвращавшейся в город с прогулки. Полдюжины молодых людей с гитарами, мандолинами и балалайками в руках, одетых в ситцевые косоворотки и фуражки, частью гимназические, частью семинарские, сопровождали столько же девиц, различавшихся цветами платьев в зависимости от цвета волос: брюнетки были в розовых, блондинки в голубых тонах. Ванятка, сберегая лошадей, не подгонял их шага, не обгонял идущих, и целую версту Аркаша слушал то струнный оркестр, исполнявший номера позавчерашних столичных увлечений, в роде вальса из «Веселой вдовы», на ряду с еще более древней падеспанью и краковяком, то ленивый хор душевных голосов, певших «Лапти, да лапти, да лапти мои», вперемену с бессмертной «Коробочкой» и неизменной «Накинув плащ». Аркаша старался узнать в певицах Шуру, ему казалось очень возможным встретить здесь ее, как продолжение своих мыслей, но сумерки — враг и союзник Аркашиных приключений — уже мешали различать сзади, по одним лишь косам, среди девиц, нарядившихся в венки из луговых цветов, знакомую голову. Наконец, Ванятка зашевелил вожжами и закричал удалым голосом: «Эй, берегись!» На мальчишеский возглас и лошади и люди обратили мало внимания, девицы продолжали петь, медленно расступаясь. Некоторое время Аркаша ехал среди растянувшихся по дороге пешеходов и смог убедиться, что Шуры тут не было. Но девицы, оборвав песню, смеялись, и Аркаша улыбался им в ответ. Несколько цветущих одуванчиков и васильков полетело в тарантас. Аркаша поднял и вставил в борт пыльника. Все это привело его в совсем замечательное настроение, и он с сожалением заметил, что лошади прибавляют ходу.

— Подвезите, товарищ! — вдруг долетел женский голос.

Аркаша живо обернулся и живо ответил:

— С удовольствием!

Легкая, быстрая фигура, покинув руку скучно бредущего кавалера, отделилась от толпы гулявших, и Аркаша сразу увидел рядом с собой две черных косы под вышитой малиновой тюбетейкой казанских татар.

— Вы думаете, что я пошутила, а я очень серьезно, — сказала внезапная Аркашина спутница, прочно усаживаясь с ним рядом.

Насколько быстро ответила она темпу Аркашиных чувств и мыслей, настолько же легко произошло и все дальнейшее знакомство Аркаши с нею. Он внутренне пришел в восторг от такого конца своей поздки и болтал с ней шутливо, гибко, по-московски обняв ее талию, хоть это было и не на лихаче, и чуть покачивавший тарантас не требовал никаких мер мужской предосторожности от быстрой езды. Спутница охотно шла навстречу всей Аркашиной ловкости.

Зинаида напоминала горячую лошадку. Она была невысока, неширока, с темными, большими, очень влажными глазами и очень тонкими ноздрями резного с горбинкой носа, слегка раздувавшимися, как у нервной кобылицы, трепетавшими, как крылья готовой к полету бабочки. Ее история — была она девицей, но имела свою историю — облетела в свое время все белоспаские дома. Связано это было, конечно, с мужчинами и относилось к недавнему прошлому.

Хоть Зинаида и была «девчонкой», татаркой, всего лишь учи-

тельницей начального училища, невоспитанной и резкой, однако, местные барышни, цвет лучших белоспасских семей, — урядника, соборного протопopa, врача, преподавателей гимназии, — пылко ревновали к ней своих кавалеров. И не без причины, — только лишь появившись в городе, она сразу стала пользоваться громким успехом среди офицеров формировавшегося в то время для посылки на фронт батальона. Но пришел день, и офицеров не стало, батальон в полном составе ушел на позиции. В Белоспаске водворилась тишина, успехи Зинаиды прекратились до тех пор, пока не стали прибывать пленные австрийские офицеры, снова оживившие обществу. Им отвели большой дом князя Кугушева, и они зажили; занимаясь кто чем хочет: кто музыкой, кто шахматами, кто танцами и флиртом. Для местных дам это было большим утешением среди будней военного времени. Вновь начались благотворительные спектакли в залах земства и женской гимназии, раскрылись долго не звучавшие рояли, и посвежели сплетни. Начали робко завязываться первые два-три романа. Но тут-то вот и стала снова поперек дороги всем дамам Зинаида.

Повидимому, она скучала и невыносимо томилась в отсутствии свободных от брачной жизни мужчин, — прибытие пленных необычайно оживило ее. Как рассказывали после дамы, Зинаида будто бы поклялась стать любовницей всех австрийков сразу. Что эта уличная девка решится на какую-угодно пакость, это не удивило дам. Но было обидно и неожиданно, что такие милые, благовоспитанные люди, как лейтенант Гаук, барон Виттерсгейм, — да только ли они, все, все! — кинулись, как жалкие развратники, в объятия этой дряни. Увы, надо было мириться с несомненным: несмотря на все предупреждения о поведении Зинаиды, лейтенанты не только не отвернулись от нее, но, наоборот, казалось, воспылали еще большим интересом к ней, так что, скрепя сердце, пришлось отвернуться уже от них дамам. Говорят, что, узнавши об этом, Зинаида нагло сказала:

— И рады бы в рай, да грехи не пускают.

Как бы то ни было, но австрияки действительно гурьбой увивались вокруг Зинаиды, не обращая никакого внимания на дамский бойкот, и так продолжалось целую зиму и весну. Но к лету в их среде стали вспыхивать ссоры. Кто говорил, что это от безделья и скученной жизни, кто объяснял тоской по родине. Поводы были разнообразны, но все чаще и чаще упоминалось имя Зинаиды. И вот однажды свершилось, — доигралась-таки негодница: компания австрийков, ее любовников, в то время как она зашла к ним, дала ей хороший урок на будущее время.

Говорили, что ее застал какой-то ревнивец наедине со своим соперником раздетой, говорили также, что австрийцы были пьяны. Достоверно известно лишь то, что пленные, зная, повидимому, о русском обычае мазать в известных случаях дегтем ворота, решили применить его на Зинаиде. Но, не желая вводить в убыток ни в чем неповинных ее домохозяев и видя ее совершенно голой, приняли за ворота, условно, некоторые части ее тела, каковые и вымазали основательно дегтем, никак не замавав платья, так как знали, что она небогата. Оскорбленная Зинаида, как была, бежала в участок, чтобы запротokolировать факт непростительного отношения к ее телу. Но полиция, по распоряжению урядника, загрошенного об образе действий в таком небывалом для Белоспасска случае, вернее даже по распоряжению урядницы, выступившей мстительницей за всех обиженных дам, отказалась протоколировать этот случай, не находя

состава преступления в том, что женщина, добровольно раздеваясь в чужом доме оказалась испачканной дегтем в местах неудобоназываемых, не имея никаких других следов насилия или принуждения на платье или на теле. С этого дня Зинаида надолго смирилась. Зато всем случившимся были чрезвычайно довольны местные дамы, переложившие с тех пор в отношении пленных гнев на милость и выписавшие уряднице коллективно из Москвы коробку любимых ею буль-де-гомов...

Зинаида умела многозначительностью своего тона и поведения обещать и многое тут же выполнить, это Аркаша сразу в ней оценил. Остаток пути до Белоспасска мелькнул для него совершенно незаметно.

— Неужели мы с вами сейчас расстанемся, — говорил Аркаша, видя, что до номеров Чунникова осталось не больше квартала. — Нет, это совершенно невозможно. Знаете что — пойдете чай пить?..

— Куда?

— Ко мне, я же живу совсем один... Один-одинешенек!

— Не-ет, милый товарищ, этот номер не пройдет... — вдруг с коротким смешком отстранилась Зинаида.

Она очень ласково помахала пальцем перед Аркашиным носом. Аркаша принялся откровенно вздыхать, прикладывая ее руку к своему сердцу, желая доказать, как оно сильно бьется, упрашивая, умоляя, но Зинаида осталась непреклонной. С загадочным смехом она повторяла слегка нараспев:

— Не-ет, не пройдет...

И, наконец, добавила:

— ...сегодня не пройдет.

После чего Аркаша охнул в последний раз, длительно поцеловал Зинаидину ладонь и побежал к себе, полный неопишуемых предчувствий.

— Не было ни гроша, а вдруг алтын. О!.. — сказал он себе, входя в номер.

— О!.. — сказал он еще раз, сняв пыльник, тяжело бросившись в кресло и выразив этим всю свою озадаченность необыкновенной удачей. Затем, выкинув по комнате два колена присядки, хлопнув себя по голенищам сапог, он высунулся из окна и во весь голос заказал Чунникову самовар.

## XIX

Чунников, присутствуя при Аркашином чаепитии, стоял у дверей в своей обычной позе: опершись спиной о косяк, полусогнувшись, заложив руки за спину, чтобы не слишком резало ребро косяка.

Это был худощавый, среднего роста человек с лицом лет на пятьдесят. Голова его, изжелта-седая, с розовой проплешью, сплюснутая в висках, своим длинным затылком напоминала молоток. Волосы, причесанные на пробор, лежали по бокам распавшимися полукольцами. Узкое лицо, стиснутое кудрявенькими бачками, бритое по губам и двустороннему подбородку, было обычно полуопущено, дряблый прямой нос своей тяжестью клонил его книзу, и глаза, вытуклые многими складками набухлых век, смотрели вверх сквозь доброту вечной слезы.

В разговоре Чунников то-и-дело похохатывал. Хохоток его относился к каждой фразе собеседника, каждое ничтожнейшее его

слово Чунников подхватывал, выпячивал, смаковал, как-будто поворачивая во все стороны и исходя умилением, как-будто говоря: «Ну что за шутники! Ну и скажут, право! Вот уж слово, что рупь серебряный!».» К тому же был Чунников туговат на свои длинные, бледные уши и, чтобы дать понять, что слышит, он повторял часто слова собеседника, а повторивши, уж никак не мог удержаться от угодливого хохотка.

Жизнь его началась в номерных человеках в большом поволжском городе, оттуда из скопленных купеческих чаевых и начало его благосостояния в Белоспаске, оттуда и ядовитейшая, пакостная ругань с женою брата, раздававшаяся по утрам из мезонина, занятого Чунниковыми. Сам он был вдов, и все его лучшие воспоминания относились к тем годам, когда еще при жизни жены был он обладателем двухстволки и легендарной легавой суки Дормы. Аркаша платил Чунникову в день на полтинник больше, чем комиссары, платившие по установленной норме, и пользовался за это особым его расположением: любил Чунников, придя в Аркашин номер, поделиться своими охотничьими воспоминаниями. В пылу рассказа вскидывал он на плечо воображаемую двухстволку, щелкал пальцами, как бы стреляя, а затем, медленно отняв от плеча невидимый приклад, посматривал значительно на Аркашу и встряхивал мягкими, как у длинношерстого пса, полукольцами седин. При воспоминании о сказочных способностях Дормы, им самим натасканной, вечная слеза его глаз, увеличиваясь, наплывая, казалась слегка слабоумной, и можно было подумать, что сам Чунников начинал верить и в двухстволку, и в Дорму, и во все свое прекрасное бывшее исполнение желаний. Украли ли Дорму, продал ли он ее или выменял на удивительную бескурковку, — конец рассказов имел разные варианты, — но только теперь не было ни собаки, ни бескурковки, а заржавленное шомпольное ружье висело над его кроватью в мезонине без дробы и пороха.

— Да и когда ж тут охотиться, сами понимаете, Аркадий Степанович: утром самовары, днем себе обед, вечером опять самовары. Некогда на фарфор-то губы подуть, не то что поохотиться. Брат ни во что не входит, только-что живет в дармовой квартире. Одним словом, — Чунников начинал тут искать плевательницу, — так... извините... тьфу! дерьмо! Давно бы выгнал их, да все равно комиссаров вселят.

Аркаша умело пользовался болтливостью хозяина, слезливой тогда, когда она касалась личных дел Чунникова, вчуже почтительной при рассказах о белоспасских бывлых именах и пугавшей Аркашу, когда речь шла о нынешних, но всегда очень подробной и осведомленной. Митрофановых Чунников знал хорошо, помнил всю их подноготную и, выложив ее со ссылками на родню, охватывающими два поколения, заключил:

— Значительный человек, политического ума. При революции тоже много пострадал, но осталось, не может быть, чтобы Исай Спиридонович не сохранил. С персидскими купцами на нижегородской ярмарке дела делал.. А что, разрешите вас спросить, вы не в Теньгушевскую волость ездили?

— В Теньгушевскую.

— Не в Потьму ли?

— В Потьму. А вы откуда знаете? — удивился Аркаша.

— Знаем... Все знаем — как и через что...

Чунников мотнул головой, посмотрев в сторону, вверх со



скромным выражением лица, как бы не позволявшим ему дальнейшей откровенности, и в то же время себе на уме. Аркаша, не желавший допускать долгих шушуканий с Чунниковым, в виду соседства комиссаров, чуждавшихся его, не раз уже обрывал разговоры в тех случаях, когда Чунников переходил на текущие вопросы белоспасского дня. Но сегодня, вспомнив о недомолвках Хворова и о спорах вонищенских и потьминских мужиков, оставшихся для него не совсем ясными, он ничем не помешал Чунникову, когда тот, потоптавшись, поморгав вверх, в потолок, обронил:

— Эх, Аркадий Степанович! Вы-то, конечно, здесь мало кого знаете, как приезжий. А мы, слава богу... насмотрелись!

— Вы, собственно, о чем?

— Да все о том же... Вы, конечно, можете не поверить, скажете, вот, мол, старый дурак мелет... А Чунников не дурак, может быть, и правду скажет... Если, конечно, слушаете...

— А какой толк в ней, в правде?

— Верно, что толку нет, хи-хи... Я не для толка, правда для счастья.

— Наше с вами счастье — на мосту с чашечкой, — отшучивался и подзадоривал Аркаша.

— Только-что с чашечкой... На мосту, говорите? Верно, что на мосту, хи-хи... И не придумаешь лучше! Я об этом не беспокоюсь...

Чунников, покинув притолку, сделал два шага к Аркаше.

— Только вот мужиков жалко, темнота кругом... Как с Воничами-то порешили? Я считаю, много народу погибнет, побьют друг друга. Схоронили, что ли, вонищенских побитых? Или до следователя?

Он сделал еще два шага и живо обернул к Аркаше тугое свое ухо.

— Не знаю, не знаю, — отвечал Аркаша. — А вы что хотели, собственно, рассказать? Какую такую правду?

— Эх, Аркадий Степанович! — вздохнул Чунников. — Наблюдаю я вас — из почтенной вы семьи, конечно, и не думали, не гадали, что придется вам здесь свою линию искать. Я уж вижу человека нежного образования. Да чтоб вы стали проживать в нашем городе по склонности? Никак не поверю!

— Что ж образование, оно тут не при чем. Кто не работает, тот да не ест.

— Не ест, не кушает, ха-ха... Это понятно! Только разве это работа для вас? С кем работать-то? Кто тут собрался? Одна голытьба, каторжники одни. Вы, конечно, их не знаете, а мы-то всех доподлинно видели, кто в чьих тарелках обедает, из чего портки себе шьет... Последние люди — вот они кто! Семен Иванович-то при временном правительстве, знаете, как бегал?.. Тут митинг был на Соборной площади. Семен Иванович тогда у нас один за большевика считался, так **решили его за речи арестовать**. Уж он бегал-бегал вокруг собора, насили утек. А теперь посмотреть — не подступишься. На тройке ездит, не иначе. Как же, власть!.. Сорочки-то видали на нем какие? Сунься поди!

Чунников совсем нагнулся к Аркаше:

— А чьи они, сорочки-то да запонки?

— Чьи же?

— То-то чьи!

Чунников внезапно выпрямился и снова обратился взглядом к потолку.

— Все знаем. Я еще помню его, как он в народных учителях служил, перед директором Фоминым ходил на задних лапках... Как машинку вертел у Пелагеи Никитишны, жены своей.

— Какую машинку?

— А вы не знаете? Это я так называю «машинку вертел». Я тоже, знаете, по молодости, по глупости, как женился на покойнице, с год вертел. Уж и наиграешься, нацелуешься, надо бы за дело — не можешь никак. Она, бывало, за машинку сядет кой-чего пошить, так я, чтобы не отходить, значит, сяду возле, да машинку-то и верчу, все верчу.. Лишь бы не отойти. До того дошло, что мне уж князь Кугушев, его сиятельство, останавливаясь, замечать стали: «Что это ты, голубчик, Василий Михайлович, все крутишь, или на жену не нагляделся?» Так ведь в самую точку попали... С тех пор бросил, как отрезало, самому мне это смешно стало. И если кого замечу, что очень за женину юбку держится, так сейчас у меня готовое слово: ага, мол, машинку вертишь... Ха-ха... Семен Иванович долго вертел, долго... А чем она его взяла? Вы его Пелагею Никитишну знаете?

— Нет, не видал.

— Вот повидаете—припомните мои слова. Уж и дюжа, и крепка, и на руку тяжела — она его, знаете, как лупцует, когда он под мухой?

— А разве он пьет? — сомневался Аркаша.

— Кто, Семен Иванович-то? Нет, не пьет ни воды, ни чаю, только водку глушит, а теперь на спирт перешел. В аптеке совсем не стало настоек, потому спирт весь за ним забронирован.

— И откуда вы только знаете? Все, должно быть, сплетни, — проговорил Аркаша, беспокойно оглянувшись на дверь.

— Какие сплетни! — всплеснул руками Чунников. — Сам аптекарь намедни жалился, — он сына женит и никакого угощения к свадьбе не сыщет... А насчет двери вы не опасайтесь — пусто везде. Палаткин уехал, Хворов тоже и Трунов с Дорофеевым ушли — собрание, я слышал, у них, будь им неладно.

— Так за что же она его бьет?

— Кто ее знает за что — за пьянство, надо думать, запойный он, а она баба властная, самолюбивая сука. Все норовит его по харе. Он, конечно, тотчас задабривать ее начнет: «Успокойся, Полечка, что тебе нужно — все будет. Дай только перо и бумагу...» А она, понятно, рада — того, сего, говорит, рюшечки, маркизету, аппликации, чего моя левая-правая хочет. И так ведь дом — полная чаша. Одних коров с десятков держит на федоровских лугах.

— То-есть, почему на федоровских? — наострил ухо Аркаша.

— Вам, должно быть, известно почему, — возразил Чунников.

— Ничего мне такого не известно. Вы бабьи толки повторяете.

— Сохрани господь! Чтоб я понапрасну стал клевету возводить? Никогда себе этого не позволю. А вы проверьте, Аркадий Степанович, тогда вспомните меня, правда это или бабьи толки. Только прошу, конечно, чтобы что между нами — то между нами... Я ведь как хорошему человеку вам говорю, что и как. Ну, да вы, я знаю, старика не обидите... Вот извольте видеть...

Чунников тут подвинул себе стул и уселся на кончике его, доказывая этим, что помнит о вежливости, но серьезность разговора все же вынуждает его несколько отступить от обычных своих правил и продолжить беседу сидя.

— Я, конечно, не знаю, как вы порешите с этими лугами, да и моему ума это дело. Ну да, ну да... Только позвольте вам ска-

зять, что на тех на лугах, из которых вонищенские с Потьмой погрызлись, пасутся Семен Иванычевы коровы. И труновские и Будилина, всего, словом, голов сорок. Не знаю уж, как они там делают, ну, только сорок, это уж точно, все отборный племенной скот...

— Ну, это вы попали пальцем в небо. Об этом скоте всем известно, и я давно о нем знаю, — фондовый скот, для казенных надобностей. И луга эти тоже...

— Что тоже?.. Для тоже-то ничего и не скажете. Знаем и мы об этом фонде. Фонд этот для отвода глаз. Если фонд этот, как вы говорите, на казенные нужды, то по какому основанию его продают?

Чунников опять живо обернул к Аркаше свое ухо и приложил к нему раковиной руку, чтобы не проронить звука. Аркашино молчание ему до-нельзя понравилось. Он покачал рукой, как будто похлопал огромным ухом, помотал головой, как бы сказав: «Не слышу! Не слышу, что вы говорите!» Затем стал кокетничать: выглянул сбоку смешливым сквозь слезу глазом и опять повернул ухо, опять выглянул и опять тут же наострил ухо. Потом сказал:

— Ага! Хи-хи... Ага! Вот то-то же. Затрудняетесь сказать...

Чунников совершенно расхохотался, хлопнул себя по колену и в полнейшем упоении, улыбаясь сам себе, полез в свои карманы с таким видом, точно одержал величайшую победу. Долго шарил он, ощупывал свое платье, похлопывал его и, вытащив, наконец, темную, вишневого цвета табакерку, высыпал понюшку на ноготь. Все это делал он так медленно, что нельзя было не догадаться, какое наслаждение доставила ему эта минута торжества над озадаченным Аркашей. Впрочем, Аркаша ничуть не чувствовал себя уничтоженным, и если молчал, то только, чтобы не омрачать Чунникову его удовольствия. Когда же Чунников, заложив ногу за ногу и держа понюшку наготове, вскинулся снова, как бы желая что-то сказать, Аркаша заметил небрежно:

— Почему же я знаю, на каких основаниях торгуют каким-то скотом. Да и был ли факт такой. Вы, может быть, слышали звон...

На этот раз Чунников решил оскорбиться. Поникнув головой, он сказал очень грустно и раздумчиво:

— Напрасно говорите. За прожитую жизнь я, слава богу, научился отличать «всяк зол глагол». Самое обидное происходит, когда люди не хотят признать один другого: один со всей открытой душой, а другой к нему с равнодушным взглядом.

Он поднес было понюшку к носу, но тут же опустил руку и продолжал:

— Если б вам было подтверждение со стороны уважаемого человека, вы бы тоже не поверили?

— Как какого.

— Уважаемого, говорю, почтенного человека? Сергея Александровича Федорова?

— Он сам вам говорил?

— А вы его изволите знать? Сам, самолично рассказывал: какой скот отобран, какие приметы, по чем, кому продан...

Чунников быстро и бесследно втянул понюшку в нос, поправился на стуле и уставился, помаргивая, потрогивая красным платком свои ноздри, на Аркашу, намазывавшего тем временем маслом ломтик хлеба. Аркашу все это, видимо, мало трогало. Откусив кусочек и пережевывая, он спросил скучным голосом:

— Ну и что же из того, что продают? Может быть, и продают, чем вы-то страдаете?

А сам думал в то же время:

«Чего он пристал? На кой ляд сдались ему эти федоровские коровы и луга... И тут эти луга!»

Аркаша был уже недоволен тем, что сам же вызвал Чунникова на откровенности.

— Я-то не страдаю, — замялся Чунников. — Мне на это дело, конечно, плевать, своих делов по горло. Но как мы с вами стали о правде... Вот и пришлось к слову. Мужики, вот кто страдает. А мне что...

Он махнул платком и поник было головой, но вдруг поднял лицо с новым яростным выражением: Аркаше он очень напомнил в эту минуту ежа, которого полили из ведра водой, чем заставили его внезапно высунуть черную злобную мордочку:

— Справедливость!.. Это справедливо, когда человека с семьей выгоняют из дома и приходится ему по чужим квартирам проживаться? Да еще смотреть, как добром его поторговывают?.. Да я бы на месте Федорова, Сергей Александровича, все имение свое пожег бы — зачем оставлять хаму? Хоть сам бы пожаром покрасовался. Вы взойдите в положение: почтенный человек, с образованием, дети, сам, уж говорить нечего, сыт был, да скольких кормил, скольким приют давал! А теперь — пожалуйте, у Митрофановых, что давеча говорили, три комнаты снимает... Три комнаты — от своего от дома! Верно вы сказали — наше счастье на мосту с чашечкой. Только кто его сделал таким?

Но Аркашу, казалось, совершенно не интересовало, кто сделал.

— Должно быть, само так случилось, — отвечал он.

— Само так? Нет, Аркадий Степанович, само так ничто не случается, это вы лучше меня знаете. И все это через революцию, через нынешнюю власть. Чья теперь власть?

— Как чья? — советов.

— А кто в них, в советах?

— Выборные.

— Ну, кто у нас выборные?

— Мало ли: Семен Иванович...

— Так, еще кто?

— Будилин, Хворов...

— Хворов — это не в счет. Тоже, конечно, грабитель, восемь целковых за номер платит в месяц, — ведь это что! На чай, бывало, больше получали... Ну, этот не в счет, ему Семен Иванович ходу все равно не даст. Еще кто?

— Палаткин...

— Бандит, вор, всех пообирал реквизициями. А дурак, он у них как за мальчика, где чего нужно нажать — сейчас его. Сопляк... Дальше кто?

— Ну, Дорофеев.

— И этот не в силе. Так, голытьба, штабс-капитан бывший, эсер. Он что кукла — руку вверх, руку вниз, вся его обязанность. Кто следующий?

— Трунов.

— Только что Трунов. Да, этот подтверже, о нем еще речь впереди. Кто ж еще? Казеев да Ярошкин?

— Этих я не знаю.

— И знать не стоит, так, наши плоскодонки... Одним словом, желаете знать мою резолюцию? Все эти выборные, народные комиссары — одна шантропа, одна сволота. Кто их повыбирал? Сами себя

повыбирали. Набрали головорезов, дезертиров всяких, сколотили красногвардейский отряд, вот и княжат. И первая у них голова и разбойник Семен Иванович. Он все и крутит, все и мутит. Да еще Трунов, зятек его, комиссар финансов. Да еще Будилин... Вы не смотрите, что оба тихие — сам-то Семен Иванович за них громок. А они у него каждый на своем месте: Трунов насчет деньги, также разнюхивает среди других членов исполкома, кто как отзывается о Семене Иваныче, и ему докладывает. А Будилин по земельному делу, именьями управляет, доходы собирает. Так эта троица и живет... Сколькo понахапали и пограбили — ведь ужас один. Из одного Питиримовского монастыря пудов пять монетой золотой вывезли.

— Не может быть! — изумился Аркаша. — Да откуда же в монастыре столько?

— А вы думали? Монастырь, старый, угоды большие одних лесов тридцать тысяч десятин. Да сколько жертвовали разные благодетели. Я сам, вон, сто двадцать рублей на сорокоусты по жене-покойнице внес. Да поди ж ты, все угодило в карманы проходимцам... Это все Палаткин работал: налетит, перевернет вверх дном, казну монастырскую оберет и — назад. Только, конечно, глупенок: все, что привозил, то отдавал, себе только оружие, а уж остальное Семен Иванович к рукам прибирал... А по именьям княжеским да по помещичьим сколько взяли!.. У генерала Булыгина какая мебель была — из Вены да из Парижа выписывал. Так часть отвезли в клуб, что на базаре, а будуар, конечно, Пелагее Никитишне, в презент от Семена Ивановича..

— Однако ж, вы в курсе, — заметил Аркаша.

— Да как же, приходится, — скромно потупил взгляд Чунников. — Живець тут, середь этих дьяволов, все что-нибудь услышишь. А уж и косят друг друга, вы бы послушали! На чем свет стоит!

— Кто кого?

— Хворов-то все больше Семен Ивановича. Он и Палаткину наговаривает, и Дорофееву, и Трунову — да ничего не выходит, кишка тонка против Семена Ивановича. Они-то знают, за кем сила, кого держаться.

— А он что же на рожон лезет?

— Завидки берут, сам, должно быть, хочет власть взять, да только не выходит ничего. Но он их не боится: за ним Лыксунские заводы, и кожевников много у нас, и сплавщиков-дрворубов — они его выбирали. Так пока нахальничает... Ну, и его, конечно, Трунов все больше: как Хворова нет, так уж он его по всем косточкам разберет...

— А Палаткин на чьей стороне?

— Кто его знает — молчит пока. Или скажет: это, скажет, меня не касается, мое дело, скажет, контрреволюцию уничтожить... Аркадий Степанович, вот я вижу, вы хоть и не придаете особого значения всему этому, но все же интересуетесь. И есть у меня к вам предложение. Хочу я вас познакомить с одним человеком.

— Что за человек?

— Герой. Очень правильных убеждений.

— Что ж, познакомьте при случае...

— Чего ж ждать случая — он вот он. Человек этот здесь сейчас находится, у меня в мезонине. И в номерах пусто — сейчас я его приведу.

— Постойте, постойте... Поздно сейчас. Я думал — когда-нибудь...



— Да чего ж когда-нибудь? Сейчас и слетаю за ним духом... Все равно никуда не пойдет на вечер глядя...

Чунников страшно оживился, как-будто ждал этой минуты. Он вскочил и быстро зашагал к двери.

— Погодите же! — крикнул было Аркаша, но то ли по глухоте своей не услышал Чунников, то ли не хотел услышать, — дверь за ним уже захлопнулась, и Аркаша махнул беспомощно рукой. Как всегда после еды, он уже впадал в ленивое состояние и уже тянулся пережить его на постели. Так и сделал: взял из коробочки леденец, заложил его за щеку и растянулся на кровати, думая:

«Какой осел этот Чунников. Вот выгоню его сейчас вместе с его героем, чтобы не беспокоили по вечерам... А Зину я напрасно так отпустил, совершенно напрасно — нужно было задержать, проводить... С первого же вечера не придет, это ясно, но зачем же откладывать до завтра то, что можно сделать сегодня? Морген, морген, ни хт сегодня — так ленивцы говорят... Откуда она сюда попала? Ведь вот странно — я демократ, потому что любовные наслаждения это самый демократический вид удовольствий, доступный всем. В самом деле, не наблюдаем ли мы в жизни, что самые удивительные красавицы, с каким-нибудь роскошным телом, достаются людям, которые не обладают никакими правами на это. Чем вот об'яснить, что Зинаида торчит в Белоспаске, когда она где угодно сделала бы себе фортуна? Вон в Саратове, говорят, хотят национализировать женщин, потому, мол, что самые лучшие экземпляры захвачены буржуазией. Вздор! В этом вопросе уже давно собственность рассматривают только по принципу пользования. Да и то бывают женщины, что поле под двойной культурой — фруктовый сад, а среди деревьев, смотришь, травосеяние: разбери, кто же хозяин — луговод или садовник? Муж или друг дома?... А Зиночка, ясно, под паром и просит плуга...

Аркаша переложил полуиссосанный леденец из-за одной щеки за другую, когда с легким стуком в дверь вернулся Чунников. Вид у него был смущенный:

— Чудные дела — нет моего гостя. Ушел куда, что ли? Я тут загсвоился с вами... Может быть, и ушел. Да не должно быть, не собирался он никуда...

И Чунников, как бы все еще ища кого-то, подозрительно осматривал углы Аркашиного номера.

— Чорт с ним, — хотел-было сказать Аркаша..

## XX

— Я здесь, Василий Михайлович, — раздался в это время в комнате бодрый и такой громкий голос, что Аркаша вздрогнул, и даже Чунников, несмотря на свою глухоту, испуганно обернулся к дверям. Но двери были закрыты, и только когда, сообразивши, собеседники глянули в открытые окна, то увидели там, в крайнем окошке, освещенное комнатным светом лицо. Оно не улыбалось, темные брови слегка хмурились, как от ветра, губы были сложены нервной и угрюмой думой.

— Гха!.. — кашлянул Чунников. — Вы на чем стоите-то, Андрей Павлович?

— На пенечке.

— То-то я смотрю, выросли сразу выше сажени.

— Да, мне так виднее. Ну, я иду к вам.

С этими словами говоривший спрыгнул, провалившись сразу за подоконник, и почти тотчас же вошел через двери быстрым мягким шагом. Аркаша привстал с кровати.

— Разрешите представиться, — сказал вошедший, — Агеев.

И, щелкнув слегка каблуком сапог, тут же уселся за стол, при этом Чунников услужливо подал ему пепельницу и спички.

Агеев, кивнув головой, оправил складки широкой и длинной темносиней косоворотки, подпоясанной кавказским ремешком с чеканкой, и, вынув из кармана шелковый, пышный, завязанный георгиевским темляком с серебряной кисточкой кисет, стал сворачивать папиросу. Аркаша запоздало назвал себя:

— Пальчиков...

И тут же заметил, что над черными стриженными усиками Агеева щеки очень впалы, на одной — глубокий белый шрам, а салазки нижней челюсти широки, отчего все лицо казалось вогнутым. Вперед выпирал только подбородок, да белый, незагоревший лоб под ежиком темных, с легкой проседью волос.

— Я слышал всю вашу беседу, — сказал Агеев, вложив вертушку в толстый, с золотым кантом янтарный мундштук и закусив его крепкими желтыми зубами.

— Да, я очень устал с дороги... — сказал было Аркаша, но осекся, Агеев перебил его:

— Слушал внимательно и должен сказать, что Василий Михайлович во многом прав.

Чунников, стоявший поодаль, слегка подпрыгнул и перебрал от удовольствия ногами, как петух возле курицы.

— И, знаете ли, времена теперь такие, что от этих вопросов не отвертеться. Вольно или невольно все мы, и вы в частности, должны дать твердый ответ — туда или сюда.

Повидимому, это была особая способность Агеева создавать своим присутствием необычное напряжение. Аркаша сразу почувствовал и потом с каждой агеевской фразой все больше убеждался, что после его слов остается совершенно неприличная пустота, которую невозможно оставить незаполненной, до того она напряжена. Впрочем, тон Агеева не был требовательным. Но в каждом слове его слышалось знание того, что скажет он в следующую минуту, какое-то безошибочное проникновение в то, что ответит Аркаша, настойчивость, явная решимость довести разговор до конца. Все это соединялось с некоторой властью, вежливой пренебрежительностью. Агеев сидел за столом, как спокойный хозяин, и не удостоивал своим вниманием ни услужливого Чунникова, ни позу затосковавшего Аркаши. Он говорил или ждал ответа.

— Может быть, — промямлил Аркаша, поняв, что не так-то легко выдворить нежданного гостя.

— Может быть — не ответ, — возразил Агеев. — А ответ нужен вам же самому. От неточности его вы сами же будете страдать. Вы понимаете меня?

— Нет, не понимаю.

— Тогда выражусь точнее. Вы — сын предпринимателя, зажиточного, скажем, богатого человека, это мне известно. Вы принадлежите к классу, который являлся до сих пор и — мы с вами убеждены — является и посейчас одним из творцов промышленного и отсюда всякого иного прогресса родины, России. Не так ли? Между тем вы работаете сейчас на службе у захватчиков власти. Я знаю оправдания: в конце концов, это становится массовым явлением, на

службу к большевикам идут с голоду все, в особенности в столицах. И я не нахожу, чтобы это было вредно. Лишь бы при этом не забывали о своем происхождении, о долге перед своей родиной и кровью отцов. Ведь не думаете же вы, что вам никогда не придется давать никому отчета в своих поступках? А если думаете, то ошибаетесь... И может быть, не так уж далеко это время, когда его потребуют у вас.

— Кто же может потребовать?

— Во-первых, кроме вашей совести, всякий честный гражданин. Во-вторых—сила. Но начну с совести. Вы не отрицаете ее прав?

— Права совести... — Аркаша замялся. — Трудно говорить теперь о правах. Было право собственности, теперь его нет. Вы говорите о правах совести на нас. А есть ли у нас право на совесть?

Агеев внимательно посмотрел.

— У кого нет права на совесть, у того нет права и на жизнь...

— Да! — крикнул тут восторженно Чунников. — Замечательное вы слово сказали, Андрей Павлович. Здесь вся мудрость.

Он поспешно вытащил платок и протер глаза. Агеев строго взглянул на него и продолжал:

— Вы можете этого не сознавать. Тогда я напому вам о силе. Сила — это, если угодно, вещество, твердое и движущееся. Если вы встречаетесь с ним, не сопротивляясь, вы будете увлечены. Если попробуете противостоять—разобьет в брызги, в лепешку. И единственная возможность остаться целым—это соединиться с другой силой. А так как ядро общественных сил заряжено моральной энергией, то всякий, не стремящийся к собственному исчезновению, должен подумать, какой силе он по своим моральным качествам однороден.

— Какие же силы вы разумеете?

— Послушайте, — отвечал Агеев с легким раздражением, — Аркадий Степанович, кажется?.. Так вот, Аркадий Степанович, мы с вами понимаем, о чем говорим. Сейчас есть две силы. Формально вы работаете с одной из них, но я имею данные предполагать, что истинные ваши упования — с другой. Итак, чтобы прекратить всякие влияния, я вам прямо скажу, что я — с другой, что я сам — другая сила. Надеюсь, что это придаст вам храбрости и откровенности и в то же время даст вам понять, что другая сила — совершенно реальный факт... Василия Михайловича вы можете не стесняться, он вне подозрений, нем, как могила, точнее, как могильщик пролетариата...

Агеев с силой бросил в окно окурочек и чуть-чуть мрачно улыбнулся. Впрочем, он тут же снова вытащил из кармана свой заслуженный кисет и принялся свертывать вторую папиросу, которую сразу закурил, понапрасну изломав нервным движением несколько спичек и в конце концов воспользовавшись услужливостью Чунникова. Эти движения пальцев, нетерпеливо ломавших спички, на миг приоткрыли завесу над приглушенной, скрываемой неврастением Агеева. Спокойный и властный в разговоре, он настолько очевидно, не мог совладать со своими пальцами, так мимовольно чертыхался: «А, ты, чорт... а, ты, чорт...» — что вчуже вызывал сострадание. Чунников посоветовал:

— Вы бы поменьше курили, Андрей Павлович. Что в нем хорошего, в куреве...

— Вздор, — огрызнулся Агеев с неудовольствием. — Вы сами пихаете в нос чорт знает какую гадость.

— Так ведь то — нюхательный. Разве же это гадость? От него вреда нет. Знаете, как народ-то говорит: кто курит табаки, тот хуже собаки, а кто нюхает табачок, тот христов мужичок...

Чунников сам испугался своей смелости, он захихикал, полубнял Агеева со спины за предплечья, сдерживал его руки, как бы боясь удара, и в то же время виновато подмигивал Аркаше. Казалось, цыкни на него Агеев, и в ту же минуту он навзничь повалится на землю в знак величайшей покорности и будет лежать так с поджатыми руками и ногами, поливая душевным хвостом до тех пор, пока ему не свистнут встать. Но Агеев только слегка передернул лопатками.

— Бросьте, Василий Михайлович, — сказал он, поморщившись. — Итак, вернемся к нашему разговору. Вы ведь не большевик, Аркадий Степанович? И не эсер? И не революционер?..

Аркаша промолчал.

— Так как же вы можете мириться с тем, что творится вокруг вас? Пробовали ли вы хоть чем-нибудь воспротивиться, хоть как-нибудь отстоять свои права? Вы сомневаетесь, что у вас есть права на совесть, — я говорю у вас, потому что в своем праве на совесть я не только не сомневаюсь, но чувствую себя обязанным иметь и совесть и честь, — хорошо... Тогда я спрошу вас — довольны ли вы тем, что сидите здесь, ведете тот образ жизни, который навязан вам обстоятельствами, а не вашим собственным желанием? Довольны ли вы своей теперешней судьбой? Приятно ли вам было превратиться из обеспеченного человека в то, что вы теперь представляете?..

— К чему же об этом говорить, — отвечал Аркаша.

— К тому, что должно же у вас остаться здоровое чувство собственного достоинства, самосохранения. Вам наступают на ногу — приятно? Вас бьют по щеке — вы подставите другую? Христианство, согласитесь, — негодное оружие в борьбе с пришедшим хамом, да простит уж мне покойник Лев Николаевич... Василий Михайлович, вы бы увязали мой чемодан, а то лошади скоро придут...

И, проводив взглядом неохотно удалившегося Чунникова, Агеев продолжил:

— Что ж вы мне ответите, Аркадий Степанович? Мне некогда, скоро надо уезжать... Впрочем, конечно, вы вольны и не отвечать ничего. Только я вас уже предупредил, что вы говорите не со мной лично, а с делом освобождения России, которое в этих местах, могу с гордостью сказать, пройдет при ближайшей моей помощи. Я видел, что хозяин вас все-таки смушал, я его отправил. Говорите.

— К чему вы клоните? — спросил Аркаша в затруднении. — Меня никто не бьет по щеке и никто мне на ногу не наступает. А вашей работе я, конечно, сочувствую. На свою судьбу я пожаловаться не могу. Но если вы ищете моей помощи, то чем же я могу вам помочь? Моя должность...

— Шкурничество, — перебил Агеев. — Как вам не совестно, — ваша личная судьба устроена...

— Извините, — перебил в свою очередь Аркаша, вскочив с постели и страшно разволновавшись, — извините... Вы не имеете, наконец, никакого права... До вас только теперь докатилось, а я уж, слава богу, имел удовольствие испытать на себе все это... Пока вы тут сидели, в глуши, как у Христа за пазухой, вы знаете, что в Москве делалось? Шкурничество!.. Посмотрел бы я на вас, когда у вас с одной стороны горит пятиэтажный дом, а с другой

по соседнему бьют из пушек... А потом под'езжает грузовик и начинается обыск... Хорошо вам говорить!

— Вы не знаете, где я был в момент переворота, — угрюмо ввернул Агеев. — Но вот вы заговорили по-настоящему, я этого ждал.

— Я тоже, знаете, достаточно рисковал, — продолжал Аркаша, мгновенно успокаиваясь, — тоже рисковал шкурой...

— Например?

— Например, у нас в квартире всякие дураки отсиживались, а потом разбежались, побросав оружие,—удовольствие среднее прятать его по чердакам да по клозетам...

— Ах, вот что, — сказал Агеев серьезно, но с еле уловимым презрением.

— Я на военной службе не был и даже стрелять не умею, — возразил Аркаша. — Так что соваться во всякие перепалки не имел никакой охоты. Благодарю покорно... Видал я этих гимназистиков с винтовками, — не знаю, может быть, это с детства особая страсть рисковать своей башкой, храбростью я это не считаю...

— Аркадий Степанович, Аркадий Степанович, — со снисходительной усталостью заметил Агеев, — личной храбрости от вас никто не требует... Вы совершенно верно заметили, — это природное с детства, но можно достичь и воспитанием... Не нужно смешивать боевую храбрость с гражданским мужеством. Не будем об этом. Мы с вами договорились до той точки, от которой можно уже говорить о практической стороне вопроса. Вернемся к тому, с чего начали. Вы служите у большевиков, это простиительно только в том случае, если вы, покоряясь материальной необходимости, не перестанете помнить об интересах родины. Ваше положение чрезвычайно легко, так как интересы эти вполне совпадают с вашими. Уважаемый Василий Михайлович по-своему, но совершенно верно нарисовал вам положение в уезде: кучка уголовников, воспользовавшаяся большевистскими лозунгами для того, чтобы захватить власть в заброшенном глухом углу. В столицах—фанатики, возмущившие с помощью немецких денег чернь... Здесь — выскочившие на фоне исконного российского безлюдья крикуны с уголовным прошлым и узко-корыстной идеологией. Что же делать в таких условиях?..

Агеев встал и, притворив окна, вернулся к столу, но уже не сел, а поставил согнутую ногу на стул, оперся на ее колено локтем и, постукивая пальцами свободной руки по столу, продолжал, как будто диктуя оперативный приказ:

— Ничего не может быть глупее, как мешать им в их воровстве, наводить всяческую законность, привлекать к ответственности и так далее. Положим, если бы вы попытались, то у вас все равно ничего бы не вышло. Но, черт его знает, есть всякие идеалисты, которые по глупости гадят, суясь туда, где их совсем не спрашивают. Вы, я вижу, к ним не принадлежите, тем лучше, надо только, чтобы ваш здравый смысл, ваш ум, — потому что вы же не глупый человек, Аркадий Степанович, — вел по правильной дороге. Не вздумайте им по-серьезному помогать. Заворошка с лугами — тем лучше, торгуют национализированным племенным скотом — постарайтесь, чтобы запродали на корню урожай. Потьма лупит вониченских мужиков — сделайте, чтоб Теньгушево поломало ребра всему Мотызлею. Чем больше будет всякого треска, хамства, безобразия, тем лучше. Сейчас не время спасать отдель-



ные помещицы усадьбы, пусть горят, чорт с ними, в двенадцатом году вся Москва горела — ничего, отстроилась, да еще лучше прежнего... Вы меня понимаете? Важно, чтобы мужик почувствовал на своей шкуре все прелести большевистского рая. Мужик корыстен, корысть — это величайшая сила, способная восстановить деревню на деревню, двор на двор, брата на брата. Помогите этому и верьте — взбунтовавшийся город ахнет от ужаса перед взбунтовавшейся деревней. Деревня не даст ему ни крошки хлеба, уже и сейчас не дает, сами знаете, что делается в городах... Здесь это еще слабо чувствуется, но погодите немного — взвоят все от тоски по твердой власти. Разумеется, Белоспаск — ничтожная сила в общем счете... Не перебивайте меня, я сам это прекрасно знаю... Суть не в нем, а в организованных армиях, что движутся с Урала, что слетаются на юге. Но если они не найдут здесь подготовленной почвы, то у них может ничего не получиться. Россия вся состоит из Белоспасков, а Белоспаски — из Пальчиковых и Агеевых... Да, союз с анархией, теснейший союз! Нечего бояться, поверьте мне, что умный деревенский кулак и тот нутром чувствует, что спасение — в анархии. Учитесь у кулаков, — что ни вороватее село, чем ни больше там разбоев, уверяю вас, тем, значит, крепче обопрется на него будущая власть, это уж так...

— Позвольте, — сказал тут Аркаша, — я не вижу, что я могу...

— Мне уже некогда, Аркадий Степанович, — проговорил Агеев, быстро взглянув на часы-браслет. — Вы не видите, а я вижу: никакой щепетильности, никаких сентиментов, полегче с этой самой социализацией, молчание, когда присутствуете при явной глупости; если сами умеете взятки брать — берите, не умеете — отсылайте к тому, кто умеет, больше слов, когда есть признаки дельного подхода — кажется, не трудно? А слова — это касторка — полезны при всяком заболевании. Вы согласны?

— Как вам сказать... Вы говорите о реальной силе. Да, вас я вижу перед собой... Может быть, и Колчак — реальная сила где-то там... — Аркаша неопределенно помахал рукой на угол. — Я даже не сомневаюсь, что он придет, но нам-то, служащим, от этого не легче, мы в самой пасти. Сейчас вы у меня, а уже смотрите на часы и через час будете далеко. Но ведь я-то остаюсь...

— Что ж, вы ожидаете, что я вам дам особые гарантии вашей безопасности? Или застрахую вашу жизнь в английском банке? Этого я, к сожалению, не могу сделать. Но я вам гарантирую, что ваша теперешняя деятельность будет предметом особого внимания при новой моей встрече с вами... при взятии Белоспаска... Всего наилучшего.

Агеев круто оборвал свою речь и, слегка кивнув головой, вышел из комнаты. Аркаша оставался неподвижным не больше полуминуты, а затем вскочил и выбежал вслед за ним. Чиркая в темноте спичками, он торопливо спотыкался по ступенькам крутой, узкой лестницы мезонина и вбежал в комнату Чунникова тогда, когда Агеев уже стоял одетый в поддевку, серый шелковый картуз и натягивал на пальцы замшевые перчатки. Он мельком взглянул на Аркашу и сказал Чунникову:

— Посмотрите-ка, Василий Михайлович, там лошади должно быть уже пришли.

И когда тот вышел, продолжил, рассматривая ужасную голову желтого льва, отдыхавшего на голубом фоне надкроватного чунниковского коврика:

— Вы мне хотите что-то сказать?

На что Аркаша насилу выговорил:

— Да, я хочу вас предупредить... То-есть, если у вас осталось такое впечатление... Конечно, я не за теперешнюю власть и ничего общего с ней не имею...

— Я и не сомневаюсь в этом, иначе я бы с вами и не стал разговаривать.

— Совершенно верно. Но я хочу сказать, чтобы вы с меня не требовали того, чего я не могу дать. Все-таки я по долгу службы принужден буду иногда соблюдать интересы того учреждения, в котором служу. Вы уж не ставьте мне этого в минус. И затем ведь я — мелкая сошка. Но все, что вы говорили, я постараюсь... Прошу вас не забыть этого в решительную минуту. И я еще надеюсь когда-нибудь прокатить вас на папашинах рысаках по питейскому шоссе к Яру...

На лице Аркаши блуждала плоская, заискивающая улыбка. Агеев медленно застегивал тугие перчатки, стоя к нему в профиль, потом повернулся и сказал сверху вниз:

— До этого еще далеко, но — благодарю. Так помните же, слово на месте... Если получите записку, обозначенную «у Яра», знайте, что от меня. Возможно, что мне кое-что понадобится. Желаю успеха!

Едва притронувшись к козырьку, Агеев взял чемодан и вышел. Аркаша остался один, бессильно осел на чунниковскую кровать, пригладил волосы и, с трудом сгоняя насильственную судорожную улыбку, стал ждать. Минуты через две вернулся Чунников.

— Уехал? — спросил Аркаша чуждым голосом.

— Покатил, — отвечал тот, бегая глазами и бесцельно поправляя висевшее на гвоздиках платье.

— Кто это такой?

— Почтенный человек. А так вообще — не знаю. Говорили, отряд у них сколочен в Архангельской лесной даче, сплошь, говорили, из фронтовиков и офицеров. А Андрей Павлович будто за предводителя...

— Так вот, Василий Михайлович, — сказал Аркаша с неимоверной злобой, — вы меня больше не знакомьте так, вдруг, ни с кем... А то я...

Но тут Аркаша осекся. Чунников же, взяв в руки тряпку и смахнув со стола подразумеваемую пыль, ответил уклончиво:

— Да ведь они у меня по старой памяти, как в номерах, остановились, а номера-то позаняты, ваш, вон, последний свободным стоял. А у меня совести нет отказать. Где мне знать, что за человек? Болтают, — мало чего болтают... Человек правильный, божеских убеждений...

— Вы не знаете, а я и подавно не знаю. Вообще я терпеть не могу подобных разговоров. И вообще не лазьте ко мне без нужды!.. — крикнул Аркаша и вышел, прихлопнув дверь.

## XXI

Михаил Ассинкритович Палаткин только-что вернулся из десятидневной отлучки. Отдав своего булагого жеребца красногвардейцу, проводжавшему его до дверей чунниковского дома, он вошел слегка вразвалку в сени, прошел в коридор, вынул из кармана

ключ от своего номера и вставил его в замок. К большому его удивлению ключ не поворачивался. Палаткин потянул за ручку — дверь легко открылась. Он шагнул вперед и остановился: в комнате была жена, Даша.

Они не поздоровались. Она осталась стоять как стояла, перетирая чайную посуду у стола, искоса поглядывая на него. Он молча прошел к кровати и снял свой зеленый с перламутровыми пуговицами френч. Раздеваясь, он заметил, что подоконники, угловый столик, образа над ним застланы и украшены чистой белой бумагой и кружевами, вырезанными из этой бумаги. Тогда он спросил отрывисто:

— Где ключ взяла?

— У Василья Михалыча, — отвечала Даша, виновато наклонясь над чашками.

Палаткин промолчал, лег на постель и принялся звонить по телефону. Поговорил с Семеном Ивановичем, поговорил с отрядом. Затем откинулся навзничь и сделал вид, что спит. Даша мешкотно и неслышно продолжала свою возню с посудой, но, наконец, кончила и остановилась посреди комнаты, устремив взгляд в пустоту, чуть сколапая босые ноги. Михаил Ассинкритович изредка приоткрывал выпуклый глаз, наблюдая ее девически нежное и чистое лицо под темными волосами. Так стояла она по крайней мере с час, — совершенно неподвижно, уронив руки, наклонив немного голову. Наконец, несколько раз искажившись лицом, она подошла к кровати.

— М-миша!..

Палаткин задышал чаще и раздраженнее, но глаз не открыл.

— Михаил Ассинкритович, Миша! Погляди ты на мене, что я от тебе вынашиваю... Сокол ты мой ясный, что ж ты мене лаской-то обошел, сушишь мене без вины?.. Вить вот уж почитай третий год ты на мене не смогришь. Ай я сука какая? Ай близны-красоты во мне нету?.. Не мила я тебе?

— А что ж ты силком-то меня женила? — выговорил он резко.

— Так вить разве ж я? На отцах, на матерях наших грех. А я что — дура, шла, за кого приказывали... Да и на тебя-то все девки заглядывались. Так гадала: стерпится — слюбится.

— Ну вот и терпи покуда.

— И так уж терплю, третий год терплю. Так, что уж и терпения нет... А ты вон сказывают... Сказывают... прихлестываешь тута. Сказывают, за барышней за городской...

— Это твоего ума не касается.

— Да разве ж я говорю?.. Вам виднее. Только уж силов моих нет вдовой повенчанной ходить.

— Получай развод — в чем дело!

— Что ж нам развод. От живого мужа в другой раз не повенчают.

— Кто тебе велит венчаться? Взяла да пошла жить с другим.

— Как тут пойдешь, — говорила Даша очень тихо и печально, — никак не пойдешь. Не то у мене на сердце, не то мечтаю для дому. Мечтаю, — голос Даши совсем притих, — возьмешь ты мене к себе жить...

— Надо бы еще, нужна ты мне! Что ж я с тобой три года шутил, что ли? Все по-своему повернуть хочешь, отцовской веревкой меня связать? Прошло то время!

— Что ж ты жениться еще раз надумал?

— Может, и женюсь, — хмуро отвечал Палаткин.

— От своей от жены?

— Да что ты пристала-то?

— Миша, родной ты мой!.. — Даша начала подвывать. — Да какая ж моя жизнь — отравы в бабах девкой ходить, да за что же мне напасть такая... Ой-ой-оюшки, ой, мамынька, царица моя небесная!.. Да ты глянь на мене, Миша, распалилась я вся, ты тронь, тронь... Грудя мои, нутре мое горит... Мишенька, глянь ты ко мне!..

Лицо Даши уже пылало, слезы почти тотчас сохли на воспаленных щеках. С беспредельной торопливостью она стала сбрасывать с себя кофту и юбку. Михаил Ассинкритович схватил ее за руку, но она вырвалась гибким движением и, пока он вставал с постели, успела, отбежав в угол, скинуть холщевую сорочку. Тут уже он остановился в минутной нерешительности, но она, не дав ему опомниться, бросилась на пол и, обняв его ноги, кричала:

— Мишенька, сокол мой, приди ж ко мне белым телом... Приласкай ты мене, хоть прибеи да приласкай...

Темные ее косы метались по белой спине, ноги ползали по крашеному полу с глухим мягким стуком...

Михаил Ассинкритович, ошеломленный, красный до синевы, стал разнимать ее руки и отрывать от себя, но скоро понял, что пришлось бы ей вырвать пальцы из суставов, — добром она их не расплетет. Даша же начала в голос рыдать и причитать. Тогда, потихоньку пятясь, почти падая от ее движений, связавших его колени, он дотянулся до кровати, выхватил из-под изголовья маузер и, приставив ей к виску, крикнул:

— Пусти, паскуда, убью!..

— Бей, убивай, — кричала Даша, — ирод бесчувственный, бей!..

Михаил Ассинкритович выстрелил мимо, в стенку. Даша, на миг задохнувшись, ослабила руки и забилась в истерике:

— Ой, убил, убил, убил!.. Ой, смертушка моя, ой-ой-ой!..

Воспользовавшись этим, Палаткин освободился и бросился наутек. Но в дверях он приостановился, вернулся назад, накрыл затихающую Дашу ее же платьем и только после этого выскочил из номера, тщательно прикрыв за собой двери. Прислушавшись с минуту и не поймав ухом ничего, кроме тишины, он на цыпочках пошел в номер Хворова, но по дороге наткнулся на Чунникова.

— Никак стреляли, — сказал тот, помаргивая.

— А? Да. Это я нечаянно.

— Не разбилось ли чего, — говорил Чунников раздумчиво и с хозяйской заботой направился в номер Палаткина.

— Ничего не разбилось, — отвечал тот, преграждая ему дорогу и выкатывая свой по-лошадиному карий глаз.

— Посмотреть бы, — настаивал Чунников с беспокойством, стараясь его обойти.

— Брысь, ты, подлая душа! — гаркнул на него Палаткин. — Все шлындит тут, нюхает... Смотри, как бабахну — жив не будешь.

И он добавил еще несколько коротких и круглых слов, но Чунников уже давно исчез из коридора. Михаил Ассинкритович продолжил свой путь и вошел к Хворову в номер в тот момент, когда тот, только-что проснувшись, лежа навзничь на кровати, протирает глаза.

— Ты что там, Миша, озоруешь? — встретил он Палаткина длинным зевком.

— Да вот, бродит здесь сволочь паршивая, ждет, чтобы пришибли.

— Ты с ума сошел? — отозвался Хворов лениво. — Садись-ка вот тут.

Он подвинулся на кровати и, потянув за руку Палаткина, усадил его на край.

— Ну, рассказывай, чего у тебя с ней вышло, за что ты ее?

— Ты про Дашу? Я не ее, я Чунникова, кобеля старого.

— А, ну ладно, поделом ему, — сразу снял оба вопроса Хворов, словно догадавшись, что Даша уже вскочила, оделась, выбежала из номеров, идет в Мотызлей и к ночи будет там, отмахав босыми ногами тридцать пять верст.

Помолчали.

— Барсова видел? — спросил Хворов.

— Видел.

— Рассказывал он тебе?

— О Потье-то? Рассказывал.

— Надо кончать эту лавочку, — вдруг разгорячился Хворов. — Давно уж говорю — кончать надо. Ты знаешь, если бы мы не подоспели, может, и Потьмы бы уже сейчас не было, пожгли бы их, тем бы и кончилось... Все через балду, через Будилина, его бы в три шеи гнать. Миша, я тебе говорю, пока у нас Семен — не будет добра. Это надо понять. Мое положение трудное. Могут думать, что я под него подкапываюсь из шкурных расчетов, поди втолкуй, что мне бы спокойнее всего быть десятником дорожных работ или посиживать в тюрьме. А смотреть на все это дело тоже не весело. Вот скоро будет с'езд. Если мы не перетряхнем всех — грош нам цена. Чувствуешь?

— Чувствую, — отвечал Палаткин хмуро, как-будто не желая думать о том, что ему говорят.

— А если так, то пойми: другого случая нечего ждать. Да и когда-то дождешься. Нужно ребят будировать еще до с'езда. Семен Иванович никакой не большевик и — дело с'концом. Одним краснбайством революций не сделаешь. У меня вот другой недостаток — не умею говорить, не умею зубов заговаривать. Зато умею дело делать, знаю, к чему иду, к чему надо итти. А у нас сейчас время такое — смотрят больше не на дела, а в рот, кто как лучше демагогию разводит.

— Семен Иванович — голова, — заметил Палаткин.

— Кто ж возражает? Конечно, голова. Если бы ему да побольше пролетарской совести — незаменимый был бы человек. Уж за одно то, как он переворот здесь проводил, рассказывали мне, — я-то сам еще сидел, — за это одно всяческое ему спасибо. Но это, милый, не все, сумей удержаться в первом ряду. А коли ты в кулаки метишь, коли из тебя комиссар-кулак выходит, так уж не обесудь... Ты знаешь, о чем я говорю? К сожалению, Семен не такой человек, чтобы его можно было одернуть. А пробовали, я сам против него резко выступал, дальше некуда, несмотря, что он председатель. Ну, и что ж, ничего, кроме неприязности, не получалось. И дальше дело не лучше, а хуже. Кого он подбирает? Разве на такой ответственный фронт, как земельный, ставят такое дерьмо, в роде Будилина? По Семенову предложению поставлен, я тогда же возражал, сам знаешь. Да что тут говорить долго — рассчитывать мне на тебя или нет?.. Подумай, Миша.

Палаткин долго смотрел в пол между колен и наконец вымолвил:



— Опасаюсь я. Нас с тобой двое. Если мы с тобой даже возьмем верх да останемся вдвоем — что будешь делать? Поддержат нас всякие тюхи да митюхи, Семен Ивановичу партию мы просыпем, а что делать в исполкоме с тюхами да митюхами? Я так соображаю: Семен Иванович всякой буржуазии и контре спуску не даст. Что до всего прочего — этого я не знаю, только знаю, что дело наладить — все равно, что мотор собрать. Надо знать, куда какую часть, куда какого человека. Семен Иванович знает, у него мотор идет, хоть, может, с перебоями, но идет. Тебе ребята верят, пойти за тобой — пойдут, но и Семен Иваныча знают, будут за него держаться. А если у вас получится драка? Вот тут и подумай — эсерам-то на руку.

— Так ты, значит, против?

— Нет, я с тобой, дядя Ваня, с тобой, — сказал Палаткин упрямо. — Только ты сам не ошибись, сам подумай.

— У меня, брат, все передумано, — храпел Хворов. — Народу, верно, мало, его не выдумаешь, что есть, из того и приходится мастерить. Останавливаться перед этим нельзя. Все равно ничего путного Семен Иванович больше не сделает. Он уж выдохся, сделал все, что мог, дальше может только себе в карман, такой уж человек... К тому же и зашибает. Если его скатим — выберете меня, больше вам некого, я это знаю и за этим не гонюсь. Надолго не хотел бы, там, может, пришлют кого, тем лучше... А моя программа такая — привлекать народ к делу. Ты думаешь, все привлечены? Нет, не все, много еще есть таких, что ждут... Да не придут, пока Семен Иванович в головке. Это не мы с тобой, мы знаем, чем он плох, чем хорош. А для них, для чистоплюев, если разглядят пятнышко на человеке — уж сторонятся. А поди, скажи им, что председатель исполкома десяток кровов завел из фондового скота — с голода подохнет, но на работу не станут. Я знаю таких здесь, у нас, в Белоспаске, и для дела это нужный народ: Дыбовицкий, нотариус бывший, Бармин, техник, — мало ли кто? Вот я и не боюсь тюх да митюх. Мы тюхе в помощь дадим нотариуса, а митюхе — техника, знаешь, каких людей из них вырабатываем? Был бы материал хороший, без брака, без порчи.

Хворов посутил разутыми ногами, сбросил их на пол и принялся обуваться в портянки и грубые толстые ботинки.

— Вот соберем, — говорил он кряхтя, — своих ребят... Из волостных работников есть парнюги стоящие... Теньгушевские будут, конечно, за Семена, он для них, для кулачьев, схож. А у нас, в Раменьи... есть... кое-кто... испытанные, не выдадут. Барсова возьмем, Дорофеева... Ты к Дорофееву приглядишься, малый толковый, хоть и эсер... Ну, вот мы и готовы.

Хворов встал на ноги, притопнул, осмотрел свои кондовые ботинки со всех сторон, даже на задники постарался глянуть, убедился, что им еще веку лет пять и добавил:

— Пойти харю ополоснуть со сна... Ты посиди, я сейчас.

Палаткин остался неподвижным, сгорбленным. В эти минуты, когда на него никто не смотрел и когда он, казалось, ни о чем не думал, наружность его странно изменилась. Все теми же оставались его короткопалые руки, — уже не крестьянские, уже приспособившиеся к гайкам, винтам, к дрожи мотора, — лежали они у него на коленях нарочито, как-будто он собрался сниматься, и уездный фотограф уложил их в подобающую, рассчитанную на провинциальный вкус позу. Все тот же был он внешностью — без

френча, в помочах поверх пропотевшей сорочки, словно только-что сошедший не со своего буланого жеребца, а с мотоциклета, — так уже наложила на него свою печать недолгая профессия, так случайно отошли черты его лица от козлотородых предков-мордвинов, приняв налет городской пыли. Но выражение этого молодого, не часто знавшего бритву лица стало каким-то древним, как-будто проступили на нем отстой многих поколений, породненных с лесом, лужайками, торфяными болотами. Карий глаз его медленно мигал, как, может быть, у угольщика, дяди Дорона, когда тот, завалив кучу березового хвороста землей и подпалив ее через отдушину, днями и неделями наблюдает за подземным тлением его, за поворотами горения, следя по теплоте земного покрова и по одному ему известным приметам пути подземного огня, проделывая новые отдушины, засыпая старые, рассматривая опушку леса сквозь жар и дымок, пробивающиеся через землю.

Таким его застал Хворов, вернувшись, на ходу вытираясь вышитым полотенцем и перебивая свои слова движениями руки, тербящими мокрые губы.

Есть еще у меня на примете хлюст один — Пальчиков... Бррр... На первое время и он прррр... пригодиться может. Если его раскусить, пожалуй, квелый... Ну, там увидим... Да ты куда это собрался? Стой, стой, мне еще с тобой надо о том о сем. Куда ты?

— Прощай, покуда, дядя Ваня, — отвечал Палаткин как-то черство, не откликнувшись на дружеский тон Хворова, уже отсутствуя выражением грубоватого серьезного лица.

Тот только храпнул вдогонку:

— Вернешься — не забудь зйти!

И, посмотрев ему вслед, добавил про себя: «Чумной какой-то». Михаил Ассинкритович прошел в свой номер, равнодушно убедился в том, что жены уже нет, одел френч, пояс с револьвером в кобуре, фуражку с проломленным, приплюснутым козырьком и, никому не позвонив, никого не осведомив о своей отлучке, вышел из дома.

Было уже за полдень. Утром прошел дождь, но лужи подсохли, сохранив на глиняной своей корочке следы уползших в землю дождевых червей. Только освежились вязы, рябины за заборами садов, довольна была земля, выгибавшая свое тело под солнцем, как ласковая кошка, радостны были птицы: стрижи, носившиеся высоко в небе, и жаворонки, словно танцовавшие на ниточке еще выше, словно точившие все время свой голос на оселке хрустально-голубой тверди: юши... юшю... июши...

Палаткин шел, не обращая внимания на прохожих, свертывал из улицы в улицу и, подойдя к домику, стоявшему на окраине Белоспасска, остановился в нерешительности перед калиткой палисадника. Потом, посмотрев на окна, поправил фуражку и вошел в усадьбу. Навстречу из сеней вышла опростившаяся, доброго вида женщина, молодая глазами, несмотря на морщины и проседь немалых лет. Она несла в фартуке что-то живое, судя по осторожности ее движений.

— Дома Соня? — спросил Палаткин голосом, говорившим не об уважении к собеседнице, но скорее о боязни перед кем-то отсутствовавшим. — Здравствуйте, Марья Егоровна...

— А, здравствуйте. Дома, дома, проходите, а я сейчас котятку отнесу, — отвечала женщина по-хорошему и крикнула, постуцая снаружи в окно: — Соня! А Соня!.. Пришли к тебе.

Палаткин сразу весь вскинулся. и даже взял руки по швам, входя в сени и дальше в комнату.

— Михаил Ассинкритович, подождите немного, — послышался из-за двери задушевный и теперь как-будто улыбающийся голос Сони. — Я сейчас приведу себя в порядок.

Палаткин слегка покраснел и, снявши фуражку, сел на плюшевый бамбуковый диванчик. Чинно сидя, он смотрел вокруг так, как если бы все в комнате изменилось с тех пор, как он был здесь в последний раз, недели две тому назад. Но ничто не изменилось. Так же неровно была она оштукатурена, — потолок буграми, стены животом вперед, — так же побелена синеваой известкой. Стояла горка с посудой, в простенке висело зеркало, казавшееся от времени жестяным, бамбуковый диванчик и креслица окружали овальный стол, покрытый ковровой скатерью, на окнах висели много раз стиранные и штопанные занавески, и только книжная полка, маленький книжный шкафчик и детский письменный стол нарушали обычный канон скромной уездной приемной. Несколько групповых фотографий стояли в рамках на столике и висели над ним на стенке. Эта стенка, этот угол вокруг столика навевали представление о непрочном, хоть и мечтательном, девическом содружестве, и можно бы даже почувствовать старческую, прозрачную печаль, подумав, какой наивный, светлый, беспечный и теплый мирок собирался здесь по вечерам, когда готовили совместно уроки, а больше говорили о единственном в году ученическом вечере, можно бы вдруг испугаться от мысли, что все это никогда уже не вернется ни у Сони, ни у ее подруг, как не вернется ни у кого из нас... Так и будет стоять столик, но год за годом, незаметно все больше будет в нем исчезать душа, вдохнутая милым и глупым кругом сверстников детских невозвратных интересов, станет просто черным и довольно потрепанным стол, потускнеют, поблекнут фотографии на нем, появятся не бювары, не альбомы для стихов, а катушки ниток, ключи от домашних замков, мужнин недоштопанный носок да шкатулочка с чьими-то письмами и венчальными свечами. И разве лишь новое поколение вернет столику, что не по-хорошему мил, а по-милу хорош, привычную его роль хранителя отроческих и девических дум, записанных неутвердившимся почерком.

Но ране еще Соне было думать об этом и уж совсем не до того было Палаткину.

— Ну, рассказывайте, что вы делали, — доносилось до него из-за чуть приоткрытой двери.

— Ничего особого. Как вы тут поживаете?

— Как это ничего особенного? Вы же уезжали... Ну, расскажите, где были, что видели.

Разговаривая с невидимой Соней, Палаткин не знал, на что смотреть, потому что привык следить глазами за говорившим. И когда она, наконец, вошла в комнату, он сразу почувствовал облегчение, но сразу же смутился снова и еще больше прежнего, — до того Соня была важна. Это было вообще ее отличительное качество — важность, но каждый раз оно наново поражало и обезоруживало Палаткина своим странным соединением с печалью и усталой добротой. Смущала его и легкость летнего платья, — в таких платьях девицы взрослеют мгновенно от проступающих женственных линий сильного тела.

Она внимательно посмотрела на него и сказала:

— Какой-то вы нехороший сегодня.

— Почему? — спросил он, совсем оробев.

— Где вы были? Откуда вы пришли? Рассказывайте, все равно от меня не скроетесь.

И Палаткин, вдруг слегка зашепелявив, стал долго и подробно рассказывать о своей поездке с отрядом, о стычке с шайкой ударников, ограбивших волостное почтовое отделение, о встрече с женой.

Соня слушала со строгой и печальной морщинкой меж бровей.

## XXII

Уж больше двух месяцев прошло с тех пор, как Аркаша впервые миновал белоспасскую околицу. Уже лесное лето пронесло свое лучшее: кошелки с земляникой, черникой, малиной, ароматные полусветы зорь, потрясающую свежесть гроз. Аркаша вполне отелся, изленился, купался в Мокше и перестал, пресытившись, ухаживать за девицами и понял, что Шура Митрофанова ищет больше замужества, чем ощущений, а отец ее считает достаточным приданым признанную всем городом ее красоту. В своей служебной работе Аркаша нашел способ создавать видимость кипучей энергии, ограничиваясь недалекими поездками на ближайший землемерный участок. Служба не очень тяготила его. Понемногу круг его знакомых расширялся. Лесничие, участковые землемеры, агрономы — все проходили через уездный земельный комиссариат, и в особенности жившие в Белоспаске старались приобрести в лице Аркаши собутыльника или товарища по охоте. Ни на то, ни на другое он не годился, но искал иногда спасения от зеленой скуки за картами.

В этот вечер составила пулька преферанса. Партнерами были руководитель работ Балалаев, землемер белоспасского участка Лямин, семинарского вида длинноносый юноша, уже покрытый густым и потным профессиональным загаром, Аркаша и бывший нотариус Дыбовицкий. Этого нотариуса Аркаша уже не раз встречал в клубе или на улице и не мог не заметить. Маленький, но полный, с узким, бритым, красным, длинноносым лицом, с бритым черепом, в седловине которого обозначалась широкая плешь, он носил во все времена года один и тот же зеленый егерский камзол с большими светлыми бляхами вместо пуговиц. Только зимой, в отличие от лета, к нему пристегивалась баранья меховая подкладка и того же цвета и качества бараний воротник.

Собрались на квартире у холостого Лямина. Играли долго со знанием дела все, кроме Аркаши, надеявшегося, как всегда, больше на свою осторожность. Но, вопреки его настояниям, объявили ответственный вист, и обычная манера Аркаши ожидать верной игры подводила его на вистах — землемеры и Дыбовицкий собаку с'ели в преферансе, читали в чужих картах, как в своих собственных, и Аркаша то-и-дело ставил на полку к большой своей досаде. К тому же раздражал разговор.

— Почему вы до сих пор не служите, Виктор Яковлевич? — спрашивал Балалаев Дыбовицкого.

— Да вот, интели, не охота.

Это «интели» означало «видите ли» и сильно помогало Дыбовицкому тонким голосом выражать свои мысли, в особенности тогда, когда бывал он, как за игрой, рассеян и в словах неразборчив.

— Так ведь вы же, я слышал, были под надзором полиции?

— Ну, и что ж из того?

— Значит, должны теперь возрадоваться зело всему, что происходит и... тоже залезть в кузов.

— Нет, уж, знаете ли, ныне отпускаеши...

— То-есть, что это значит — ныне отпускаеши?

— То значит, что я в свое время отдал немало сил, пусть теперь попрыгают другие.

Партнеры, как водится, называли масти по уездному нежно: буби, крести, чевульки, и техника игры была им настолько знакома, что ничуть не мешала разговорам. Только темы выбирались такие, которые позволяли не тратить и на них много внимания. При этом Балалаев иронически-ласково пошучивал, а Дыбовицкий отшучивался. Так и теперь, оставив рискнувшего, наконец, Аркашу без двух взяток; Балалаев не отставал:

— Кто же должен прыгать за вас, уважаемый Виктор Яковлевич, не мы ли? На кого вы намекаете?

— Может быть, и на вас, милейший Абрам Абрамович, — отвечал Дыбовицкий, тасуя наново колоду. — Ведь вы умеете прыгать?

— Умею, — благодушно соглашался красивый татарин. — А вы не умеете?

— Тоже умею, да не люблю.

— Едва ли кто-нибудь любит... Ну-с, скажу на двух картах раз.

И так среди игры разговор то умолкал, то упрямо возобновлялся все тем же Балалаевым.

— Вы это совершенно серьезно, Виктор Яковлевич?

— Нет, шучу. А если хотите серьезно, то я вам вот что скажу: вы знакомы немного с тем, чего жаждут большевики?

— Допустим.

— Так, интели, я был нотариусом, теперь нотариусы, слава богу, не нужны, а больше я ничего, пожалуй, не умею делать как следует, только разве в преферанс играть, да и то неважно. Как вы находите, Аркадий Степанович?

— Типун вам на язык, — отвечал Аркаша сердито.

— Что же мне делать? Пока меняю старые брюки, шуртки и тому подобное на муку и масло, а когда уже нечего будет менять — пойду служить сторожем в волостной совет.

— Так вас же в комиссары возьмут, зачем вам сторожем?

— Кто это вам сказал? — спросил Дыбовицкий, сняв пенснэ и поглядев на Балалаева простым глазом, как-будто для того, чтобы лучше видеть.

— Никто не говорил, сам знаю. Для чего ж вы под надзором торчали?

— Вот и видно сразу, что вы не усвоили твердо, чего жаждут большевики, — надел опять Дыбовицкий на нос пенснэ. — Вы думаете, что вам хотят посадить на шею партию, которая пришла к власти, или там партии, чтобы не забыть левых эсеров. А суть событий совершенно не в этом, но в том, чтобы посадить вам на шею класс, рабочий класс, что значительно тяжелее по весу. Компрене? Вы говорите — отчего бы мне в комиссары не пойти... Во-первых, оттого, что меня не возьмут. Комиссар, интели, управляет, ибо он больше ничего не умеет, и это единственное ремесло, не требующее умения. Я же кое-что знаю, кое-что умею, а посему испугаются, что окажусь негодным. Во-вторых — я сам не пойду.

— Достаточно второй причины, — заметил Балалаев. — Но отчего бы вам, добрейший Виктор Яковлевич, не пойти, если, например, ближайший съезд явится к вам на квартиру в полном составе и будет бить челом: приди, дескать, володеть и править нами, ибо порядка у нас нет?

— Оттого, гнуснейший Абрам Абрамович, оттого, ехиднейший Абрам Абрамович, подлеший Абрам Абрамович, что мы свое дело сделали... А вы мне зубы не заговаривайте, прекрасно вижу, что вы хотите оставить меня без козырей. Получайте эпитеты по заслугам... Так вот мы свое дело сделали. Я говорю мы, то-есть интеллигенция. Потому-то я и говорю — ныне отпускаеши. Пусть рабочий класс, крестьянство и выдвигают теперь своих правителей, а мы, те, кто не является специалистом своего и нужного теперь дела, отдохнем, будем служить сторожами. Запомните мои слова: интеллигенция никогда, понимаете ли, никогда не будет управлять и всегда будет находиться в оппозиции к любому существующему правительству. Поверьте мне, я для этого достаточно марксист... Но я разумею, конечно, интеллигенцию в привычном для вас значении этого термина.

— Это шкурничество, — вставил свое слово Аркаша.

— Вы, молодой человек, будьте поосторожнее в выражениях, — сказал Дыбовицкий, видимо, слегка задетый за живое, — а то мы вас опять без двух на семи оставим.

— То-есть я хотел сказать, — оправдался Аркаша, — что сейчас борются две силы, и каждый из нас должен дать себе отчет, на чьей он стороне.

— Вы же большевик, дражайший Виктор Яковлевич? — пошучивал Балалаев. — Скажите ему, что вы большевик.

— Большевик я или нет — это особый вопрос, — отвечал Дыбовицкий совершенно серьезно. — А на чьей я стороне — я уже давно показал, хоть и числился под надзором как беспартийный.

— Ядро общественных сил заряжено моральной энергией, — пробормотал Аркаша.

— Виктор Яковлевич, а скажите откровенно, — продолжал Балалаев, — ведь мы же знаем, что вы говорите так потому, что вас еще не пригласили и вы обижены. А если к вам придет с марксистскими хоругвями, то вы растаете и, облобызавши делегацию, воссядете на партийный трон... Скажите откровенно, каково вы будете себя чувствовать в таком антураже, как Семен Иванович, Будилин и прочая, и прочая?

— Вот опять вы меня подсаживаете на козырях и опять видно ваше марксистское необразование... Во-первых, пионером революции, да к тому же революции в Белоспассках, является зачастую уголовный элемент, — читайте внимательнее, товарищи, речи Ленина. А, во-вторых, этот уголовный элемент, с вашего разрешения, в известные моменты, будучи поднят волной движения, становится незаменимым и дает объективно превосходных революционеров... Таких, какими нам с вами не быть.

— Сдавайте, сдавайте, Абрам Абрамович, — проговорил энтузиаст преферанса, грубоватый Лямин. — Охота вам, что вы на митингах не наслушались?

— Юноша, прислушайтесь и пополните свое образование, — сказал наставительно Балалаев. — Кроме того, пользуйтесь случаем и завязывайте связи на предмет карьеры, ибо вслед за уголовным элементом идет тот, представителем которого является почтенней-

ший Виктор Яковлевич, и это будет второе пришествие, его же царствию не будет конца.

— Странно, вы магометанин, а питаете пристрастие к церковно-славянскому языку...

— Странно, вы марксист, а питаете не меньшее пристрастие к тому же языку.

— А что я сказал?

— Ныне отпускаеши — вы забыли?

— Ах, да, ныне отпускаеши... Так это скорее мифология, а не язык. Вместо того, чтобы длинно объяснять вам особенности моей позиции, — а вы, пожалуй, назовете это саботажем, как Аркадий Степанович не постеснялся назвать шкурничеством, — достаточно сослаться на миф, и вы поймете, если захотите, истину. Для того и следует изучать историю ветхого и нового заветов, хотя бы и вам, магометанам.

— «А рыцарь Грюнвальдус все в той же позиции на камне сидит». — пропел он фистулой, рассматривая свои карты.

— Если вы начнете изучать коран...

— А...ах! — громко зевнул тут Аркаша, рассчитавши, что, чем дальше, тем больше он будет в проигрыше. — Не разделить ли нам пулю? Что-то скучно.

— Дело ваше, — с готовностью согласился Дыбовицкий, — пострадавшим являетесь вы.

— Стоило тогда начинать, — запротестовал Лямин.

Но его никто не поддержал, пулю все-таки разделили, и игра кончилась.

— Так разрешите вас так понять, — не хотел успокоиться Балалаев, — что вы, почтенные старцы от революции, ее Симеоны-богопримцы, воззрели собственными очами на спасение ее, еже есте уготовали, то-есть на уголовный элемент, пионерствующий перед лицом всех языков, и... остались очень довольны.

— Интели, Абрам Абрамович, я часто думаю об ограниченности разума, — не в плане теории познания, а вообще человеческого разума в плане психологическом. Человек думает не то, что он должен думать, а то, что он хочет думать. Рассудок рабски выполняет веления человеческой воли. Человек научился критически относиться к природе, но не хочет подвергать критике самого себя, хотя со времен Сократа и прошло больше двух тысячелетий. Познать самого себя он хочет объективно, но объективность его насквозь пронизана субъектом, ибо рассудок угодливо поставляет ему неиссякаемое количество потребных аргументов в помощь облюбванному взгляду. И вот — вы кончили Межевой институт... А какой же, простите, вздор вы несете! Слушать тошно... Всякая селедка—рыба, но не всякая рыба — селедка. Уголовник на службе у революции становится объективно ее пионером, но кто вам подсказал, что всякий пионер революции — уголовник? Вернее, что вам подсказало? Ваша настроенность, которая резонирует на уголовщину и не хочет замечать того, что является сутью событий, того, что вы сами, я уверен, никогда не осуждали, всегда приветствовали. Конечно, уголовщина заметнее по своему эффекту. Но вы из-за отдельных выкриков не хотите слышать общего гула, из-за деревьев — леса.

Дыбовицкий поджал обиженно губы и потерял бахрому скатерти.

— А вы меня произвели... — добавил он с детской улыбкой.

— ...из ортодоксов в сатанисты, — подхватил Балалаев. — А вы меня — в клеветники.

— А...-ах! — снова зевнул Аркаша. — Не пойти ли нам пройтись? Там, на базарной площади, говорят, цирк строится.

— Впрочем, могу вас успокоить, Виктор Яковлевич, — не обращая внимания Балалаев, — не всегда-то я предвзят, как вы считаете, и вот аргумент в вашу пользу: я видел сегодня вновь присланного из губернии партийного человечка, который произвел на меня совсем благоприятное впечатление.

— Кто такой? — насторожился Аркаша.

— Кажется, по фамилии Зискинд.

— Зискинд, — подтвердил Лямин. — Он уже получил аудиенцию у Семена Ивановича. Человек в военном платье и в железнодорожной фуражке.

— Военный... — успокоился Аркаша. — Ну, что же, пойдём, может быть, цирк уже построен?

— Это не цирк, а кабаре, — поправил Балалаев, — плохо о нас не думайте. Вы не имеете ничего против певичек вместо циркачек?

Аркаша ответил, что не питает предубеждения ни к тем, ни к другим, и, похвалив его неприхотливость, все двинулись, наконец, на место постройки, на базарную площадь.

На самом деле это было что-то неопределенное—ни цирк, ни кабаре, как объявляли афаши, а нечто в роде балагана, с той только разницей, что женский состав труппы был представлен очень богато. Постройка была во всяком случае балаганная, строили ее очень спешно, и когда партнеры подошли, то застали работу в самом разгаре. При свете фонарей плотники обшивали длинными досками столбы, уже врытые в землю, зрительный зал уже был обозначен скамьями из свежего теса, и вовсе была готова сцена с таинственными кулисами за ней. Гром молотков, барабанивших по доскам, стоял над базаром, вокруг постройки собралась кучка зевак, и на самом видном месте, под большим фонарем виднелась широковещательная афиша, намалеванная от руки, гласившая:

Народная оперета-кабаре  
популярного режиссера Аршалуиса.  
Множество оригинальных декораций  
собственных столичных художников,  
заполняющих своей красотой  
всю полноту драматического вида.

Разнообразная программа

спектаклей, галла-конcertов, революционных пантомим и дивертисментов, где

согласно разрешения Местного Исполнительного Комитета уважаемое трудящееся население и прочая публика города Белоспасска найдет развлечение и художественное удовольствие

в виде певцов-сатириков и народных виртуозов-гармонистов, а также прима-балерин в исполнении своеобразных танцев.

Затем объявлялся день открытия «театра», и шел перечень имен артистов, а главным образом артисток, с громкими титулами «известнейших», «знаменитых», «излюбленных публикой исполнителей цыганских романсов», и даже «артистов бывших императорских театров», среди которых Аркаша встретил два-три имени, знакомых московским пивным, и, наконец, подпись: «С товарищеским приветом— Дирекция».



Веселые замечания спутников не охладили Аркашиного впечатления, он присоединился к ним, хотя и заметил с волнением среди зевая несколько новых женских лиц, несколько ярких девиц, в непривычных для Белоспасска платьях прогуливавшихся в обнимку, хотя и вспомнил с нежностью о короткой гастрولي своей с опереточной труппой, к которой привязался он благодаря той же Нине Таврической, покинувшей его с опустошенными карманами где-то в Вольске.

«А все-таки, — подумал он, — неглупо я сделал, что удрал из Москвы. Бежит публика. Вот хоть бы эти девочки — до чего голодные, так и стреляют глазами. А у них нюх, у этих кафешантаных певичек, ух, какой нюх на жареное! Надо подальше от них, теперь папашина касса не выручит. Да, прошли и для них золотые денечки. Кто их теперь покормит? Нет, что ни говорить, не жить цыганскому романсу без меценатов. А где их теперь взять?»

— О ком это вы задумались? — протяжно с нервическим смешком спросил вдруг чей-то женский голос.

— Зина, — обрадовался Аркаша, — конечно, о вас, о ком же больше?

И видя, что Зинаида одна, он быстро распрощался со своими спутниками, подхватил ее под руку и увлек в темноту.

Ее неизжитое любопытство к мужчинам, его постоянная слабость к женщинам, темная облачная летняя ночь и новизна встречи направляли их путь. Кто знает, где бродили они, ища одиночества, быстро преодолевая всю обычную постепенность отношений, прежде чем очутились в Аркашином номере.

Зинаида вышла на цыпочках на рассвете, Аркаша провожал ее босой до уличной калитки.

Росное утро пахнуло им навстречу.

### XXIII

Делегаты с'езда стали прибывать еще накануне. К вечеру номера Чунникова были уже переполнены. Помещались по знакомству у Палагкина, у Хворова, ютились даже в проходных комнатках. Возвращаясь поздно к себе, Аркаша споткнулся в темноте на чье-то тело, хотел зажечь спичку, но она сразу погасла от недостатка кислорода, и тогда он кое-как добрался рщупью, зажав нос, пробормотав:

— Ну, и Мотызлей...

Размещались и на других квартирах, но все это были дальние, — из ближайших сел стали с'езжаться утром в день открытия. К воротам земского парка с уездным гербом то-и-дело подкатывали тарантасы, брички, простые телеги, подходили пешеходы, и часам к девяти зал второго этажа уездного исполкома был уже полон.

Этот зал еще хранил на своих стенах невыцветшие пятна и крюки от царских портретов, висевших здесь когда-то в тяжелых рамах и теперь собранных со всего здания и сваленных на чердаке, но весь карниз под потолком уже был занят кумачами длинных плакатов, приветствовавших делегатов с'езда. Длинный стол президиума лоснился новой скатертью красного сукна. Окна зала были открыты навстречу верхушкам молодых деревьев, и теплый сквозняк сразу выносил махорочный дым и развеивал его по солнцу.

Состав делегатов по своему возрасту был молод, бород почти не было, одеты были больше частью в пиджаки поверх рубах и в

солдатское, еще не сношенное обмундирование. Настроение было свободное и приподнятое. Когда Аркаша вошел в зал, все сидели в рядах на стульях или на окнах, за столом президиума не было никого. Аркаша заметил в передних рядах Хворова, кивнувшего ему, Палаткина, Дорофеева и несколько делегатов, составивших, повидимому, особую группу, державшуюся свободнее других. В задних рядах около окна он отыскал глазами Дыбовицкого и направился к нему.

— Пришли послушать, как управляют? — спросил он, здороваясь.

— Пришел, — отвечал тот. — А вот и Абрам Абрамович — тащите его сюда.

Балалаев уже улыбался навстречу и пробирався сквозь толпу.

— Скажите, дорогой, что это значит, — обратился к нему Дыбовицкий, — почему Дорофеев в компании с большевиками, а не со своими?

Действительно, эсеры с Будилиным расположились поодаль и посматривали на военного комиссара с некоторым беспокойством.

— Вы же знаете, — отвечал Балалаев, — что между партиями давно нелады. Надо думать, что товарищ Дорофеев делает вольгдалево, в сторону большевиков, чувствуя, что не сегодня-завтра эсерам капут.

— А по-моему, дело не в политических перетасовках, — сказал Аркаша, сделав умное лицо, — а в персональном блоке.

— Вы думаете?

Аркаша многозначительно промолчал.

— Мне, впрочем, тоже кажется, — продолжал тогда Дыбовицкий. — Ведь с ними и Барсов, а он, сколько знаю, анархист-синдикалист. А кто этот юркий и чернявый, что разговаривает сейчас с Хворовым?

— Это и есть Зискинд, присланный из губернии неизвестно зачем.

— Неизвестно? Как же вы не узнали, — проговорил Дыбовицкий с оттенком комической озабоченности, — а вдруг он отобьет портфель, который вы мне прочите?

— Не может быть, — возразил Балалаев, — я вам предсказываю, что весь съезд будет единодушно за вас. Вон смотрите, к нам направляется Хворов, я уверен, что он идет затем, чтобы получить от вас предварительно согласие.

Серьезность, с которой говорил Балалаев, заставила Аркашу внимательно посмотреть ему в глаза. Татарин оставался все так же серьезен.

— Здорово, ребята, — храпел между тем уже подошедший Хворов, — вот это хорошо, что пришли... Мне с тобой, Онуфрий, поговорить надо.

Аркаша понял, что Онуфрием называл он Дыбовицкого, мельком решил, что, верно, имя это ему идет больше, чем Виктор, и спросил себя о предмете разговора, который тут же и произошел шопотом, на ухо, закончившись очень быстро. Дыбовицкий слегка покраснел после разговора, Хворов в минутной задумчивости смотрел в окно.

— Иван Иванович, — спросил его потихоньку Аркаша, — что Дыбовицкий — большевик?

— Ты его спрашивал?.. Что он тебе говорит?

— Да он увиливает.

— Какой же большевик увиливает? — улыбнулся Хворов так, что Аркаша подсадовал на себя, что спросил.

В это время в зале послышалось движение, Аркаша оглянулся и увидел, что в двери вошел и проходит к первым рядам, мимоходом здороваясь, Семен Иванович, праздничный, в белой свежееотглаженной блузе, с толстым портфелем подмышкой. Хворов тут же вернулся на свое место.

— Каков тюльпан! — подмигнул Балалаев.

— Сейчас глупости начнут говорить, — отозвался Дыбовицкий, — святых выносите... Тут есть один делегат — вон толсторожий, рыжий, — этот будет про то, как «буржуазия обжиррается». Он ничего больше не умеет, а эр у него получается так, как если палкой по решетчатому забору проведешь. Но заметьте, что все эти глупости — любопытный признак, это знак того, что говорят, нащупывая свои собственные пути. Если бы тут какой-нибудь мужик начал говорить умные речи, то я бы стал держать пари, что его натаскал приезжий партийный агитатор. Это раньше, вспомните, бывали на сходах или в делегациях для подношения хлеба-соли проезжающему императору такие благообразные до тошноты и до тошноты рассудительные мужики. Вся эта патриархальность внешнего облика, умные речи, поглаживание бороды — все это было внушено, и настоящий мужик был запрятан ой-ой как далеко. Государственность, легальная общественность были слажены в такой прочный и общеизвестный канон, что держаться его умел каждый...

— Итак, долой каноны рассудка, — заключил Балалаев, — да здравствует доморощенная глупость.

— Нет, долой навязанную, наигранную рассудительность, долой сусального мужичка, ибо в этом-то и была его непроходимая глупость, и да здравствует не имеющий никаких традиций глупец, который тянет свое «буржуазия обжирралась», потому что в этом столько смысла, что аудитория слушает его часами, и он дает ей, очевидно, очень много материала для углубленных раздумий. Но, кажется, уже начинают...

Действительно, Семен Иванович вышел к столу и позвонил колокольчиком. Лицо его стало очень мрачно, торжественно, когда он, наблюдая затихающие разговоры рассаживающихся делегатов, приготавливался к первым словам.

— Товарищи, — сказал он, наконец, скорбным голосом, — прежде, чем приступить к выборам президиума с'езда, прошу разрешить мне совершенно внеочередное заявление.

С'езд насторожился, слышались выкрики:

— Говори! Просим!

— Мое заявление потому является внеочередным, — продолжал тогда Семен Иванович, — что оно не может не повлиять на все рабсты нашего с'езда... на состав его президиума.

— Говори...

Группа Хворова зашевелилась. Семен Иванович выдерживал сроки, не торопился. Он осматривал очень печальными глазами справа налево ряды делегатов, потом глотнул воздуха и дыхание его пресекалось. Весь зал с напряжением следил за ним.

— Вот актер, — пробормотал потихоньку Дыбовицкий.

— Товарищи, — вновь начал Семен Иванович страшно тихо и медленно. — Я только-что получил телеграмму из центра о неслышанном преступлении, произошедшем в Москве... На нашего вождя, Владимира Ильича Ленина, произведено покушение. Владимир Ильич

тяжело ранен револьверной пулей... Преступную руку направила партия левых эсеров...

Семен Иванович наклонился над столом, тяжело опершись на него руками, глаза его были теперь потуплены, брови сведены крышкой. В зал как-будто ворвался свинцовый ветер, сгибающий головы своим гибельным дыханием. Все притихли и как-то сжались от неожиданности.

— Я зачитаю вам телеграмму, — сказал Семен Иванович и, просто и вместе с тем важно прочитав короткое извещение, рухнул на стул.

Зал сразу зашумел сдержанным, но горячим шумом. Впечатление от выступления Семена Ивановича еще нельзя было измерить, определить, — так оно было неожиданно. Лица эсеров были бледны, явное замешательство виднелось в их растерянных глазах. Будилин сидел, как труп, не шевелясь. В группе Хворова слышались негромкие возгласы возмущения. Дыбовицкий, схватив за рукава и Балалалева, и Аркашу сразу, умоляюще смотрел им по очереди в глаза и спрашивал:

— Что ж это такое? Как у них рука поднялась?..

— Актер-то произвел на вас впечатление, — попробовал усмехнуться Балалаев, но тут же добавил, — не сердитесь, этой подлости, действительно, нет названия... Но у меня в таких случаях холодная кровь, и как бы я ни был потрясен, я никогда не теряю цинической наблюдательности. Я думаю сейчас о том, как предисполкома использует покушение в целях, мягко выражаясь, местной политики.

— Это действительно... очень хладнокровно, — сказал возмущенно Дыбовицкий.

— Это имеет свои преимущества, вы сейчас убедитесь на примере Семена Ивановича. Если только блок, о котором вы догадывались с Аркадием Степановичем, действительно существовал, то он группировался вокруг Хворова, как всем известно, конкурента Семена Ивановича, и, очевидно, был направлен против последнего. В таком случае он разлетится к чорту.

Но Дыбовицкий, не слушая, бормотал себе что-то под нос и покачивал головой.

Между тем уже звенел председательский колокольчик, и Семен Иванович, выпрямленный, окрепший, угрожающий, ожидал наступления тишины. Затем он снова взял себе слово и произнес короткую, хорошо составленную и сильную речь. В ней не было ни аргументов, ни подробностей, но очень много под'ема.

— Покушаются на самых дорогих вождей, — говорил он, — с'езд, несомненно, определит свое отношение к партии, вдохновляющей эти покушения, пока же — ни одного эсера в президиум.

Закончив этим свое вступительное слово, он предложил приступить к выборам.

Эсеры молчали. Ни одного возражения, ни одного кандидата из их списка не было произнесено. Единогласно был выбран председателем с'езда Семен Иванович, в президиум вошли только большевики и несколько беспартийных.

— Вот вам первая победа за счет своевременной информации, — сказал, указывая на выбранных, занимавших места за столом президиума, Балалаев, — и провал блока. Это вы называете быть на гребне революционной волны?

— А вы в этом видите только, мягко выражаясь, местную политику? — возразил Дыбовицкий.

— Во всяком случае, хоть Хворов и вошел в президиум, он потерял Барсова и Дорофеева.

— Да, — высказался Аркаша, — ставлю за Семена Ивановича в двойном.

Съезд принял повестку дня. Первым по вопросу о международном положении и текущем политическом моменте получил слово Зискинд. В быстрой и гладкой речи он оценивал покушение в связи с наступлением Колчака и затруднениями внешней политики.

— Как ни говори, как ни расписывай, — заметил Аркаша, — а первый цветочек сорван.

— Довольно вам, — взелся на него Дыбовицкий, — это, наконец, пошло.

— Я вас не трогаю, — сказал Аркаша, но опасно замолчал.

Зискинд говорил долго и, собственно говоря, исчерпал тему, но сразу после него записалось больше десятка ораторов. Речи были нескладные, костные, в них пестрели и «акулы капитализма», и «обжирравшаяся буржуазия», — так выражались побывавшие на фронте, не сносившие обмундирования, — были и очень запутанные, туманные, хоть и состоявшие из простых народных слов. Но все они старались осмыслить одно — отношение к тому, что произошло в Москве у механического завода, к тем выстрелам, отзвук которых перенес всех, кто был с революцией, к постели раненого ее гения. Огромное напряжение чувства и человеческого участия пробивало несподручный набор слов, и если бы можно было слушать сердце только сердцем, а не ухом, то Аркаша вовсе ничего бы не услышал, — куда как не трудно быть тугим на этот счет, куда как легче, чем на ухо.

Ораторы требовали тягчайшего наказания виновных, грозили Пуанкаре и Чемберлену, призывали мировую революцию и на что только не обрушивались в своей жажде не оставить безответным нанесенный удар. Растерявшиеся вначале эсеры теперь перешептывались, совещались, выходили из зала и, видимо, выработывали план действий.

— Слово принадлежит товарищу Дорофееву, — объявил, наконец, несколько вопросительно запнувшись, Семен Иванович и, взглянув на записку, добавил, — выступающему от имени фракции левых социал-революционеров.

Появление оратора было встречено, как сказал бы парламентский репортер, очень сдержанно. Не знали, как отнестись. Слишком очевидна была непричастность к делу белоспасских эсеров, но слишком враждебным, подозрительным стало сразу самое название этой политической партии. Так же сдержанно приняли речь Дорофеева, в которой тот от имени фракции заявил о полном осуждении белоспасскими эсерами совершенного преступления, клеймил цека и организаторов покушения.

Едва Дорофеев занял свое место, как выступил Семен Иванович. Выразив удовлетворение по поводу заявления эсеров, он усомнился, однако, в достаточности его. «Повидимому, — говорил он, — покушение явилось следствием и завершением идеологических разногласий программно и тактического характера. Эти разногласия неминуемо должны были рано или поздно вскрыться. Партия большевиков, партия рабочего класса, ведущая революцию по пути ее завоеваний, слишком терпеливо относилась к деятельности эсеров, уже не раз дававшей поводы к тому, чтобы поставить вопрос о ее участии в деле управления страной трудящихся. Отныне маска со-

рвана. Пойти с оружием в руках для того, чтобы нанести предательский удар, вложить в револьвер пулю, предназначенную сердцу величайшего революционера и вождя, это значит быть заодно с буржуазией, это значит стать ее наймитом. Отныне революционные массы увидели подлинное лицо эсеров. Беспощадная месть всем предателям революции, беспощадная расправа со всеми, кто осмелится поднять руку на ее водителей...»

В Белоспасске не было газеты для того, чтобы описать, каким громом аплодисментов была покрыта речь Семена Ивановича. В отчете о с'езде газета привела бы резолюцию по внеочередному заявлению предисполкома и телеграмму, посланную в центр с выражением возмущения, позорного клейма заговорщикам, посягнувшим на жизнь неопределимого революционера, пламенного привета всем вождям пролетарской революции, здравницы мировому Октябрю. Газета описала бы, как, перейдя к текущим вопросам, с'езд занялся деловой работой, закончившейся только на следующий день. Представителями на губернский с'езд были избраны: председатель исполкома старого состава, уездный комиссар финансов Трунов, комиссар по борьбе с контрреволюцией Палаткин и двое крестьян, делегаты Мотызлеевской и Кустаревской волостей. Исполком пополнился семью новыми членами из числа волостных работников, но остались руководители комиссариатов старые, за исключением военного комиссара Дорофеева, смененного Зискиным, и земельного — Будилина, обязанности которого принял на себя предисполкома с сохранением руководства народным просвещением. С'езд окончился стройным пением «Интернационала», — отметила бы газета и была бы неправа, потому что пение было нестройное, многие не знали мотива и слов, а петь хотели, от этого припев каждый раз расстраивался. Но вырубал Хворов, не сбивавшийся с тона и затягивающий своим баском новую строфу твердо и уверенно.

Уходя со с'езда, Дыбовицкий покачивал головой и бормотал:

— Все это печально... Очень печально.

— Скажите, — спросил его Аркаша осторожно, — это не секрет, о чем вы говорили с Хворовым?

— Нет, — отвечал тот, задумчиво глядя вдаль сквозь пенснэ, — теперь не секрет. Он предлагал мне работу, нечто среднее между прокурорскими обязанностями и контролем.

— А вы?..

— А я... отказался, — подавленно закончил Дыбовицкий.

Аркаша понял его по-своему.

На следующий день, узнав об отъезде Семена Ивановича и о том, что впредь до возвращения его временное исполнение обязанностей земельного комиссара было оставлено за Будилиным, Аркаша решил осуществить, наконец, давно задуманную поездку свою по монастырям с целью превращения их в коммуны. Перспектива новых земельных конфликтов и необходимости расхлебывать их совместно с потерявшим в исполкоме остаток своего авторитета Будилиным ему совершенно не нравилась.

Заказав на утро лошадей, Аркаша начал свой вечер в балагане Аршалуиса, где по случаю болезни примадонны Эльги Скандинавской, анонсированной афишами, водевиль «Замужний брамин» был заменен дивертисментной программой, а окончил его у себя вместе с встреченной, как было условлено, Зинаидой.

## XXIV

Аркаша хотел хоть отчасти вознаградить себя за понесенные труды, а потому решил обставить свою поездку со всевозможными удобствами. План его был таков: выехав часов в десять утра, быть к половине двенадцатого в пригородном Питиримовском мужском монастыре, где провести время до обеда. Затем, пообедав и условившись с игуменом о дне и часе общего собрания, которое он рассчитывал провести на обратном пути, направиться дальше в женский монастырь Покрова Богородицы, стоявший среди лесов верстах в тридцати от Белоспасска и недалеко от большого торгового села, занимавшегося сплавкой леса. Аркаша признавался себе, что женский монастырь интригует его гораздо в большей степени, чем мужской, однако, считал, что мужской благороднее в деловом смысле.

Все шло гладко. Лошадей подали во-время. День был ясен, как добрый смех. Аркаша вскочил в тарантас веселым и радостным. Выехали из города, вехали в пойму, а он все еще не мог нарадоваться ни дню, ни своей затее. Переправились на пароме через Мокшу, все тот же богатырь-монах сторожил при нем лес и воду, но теперь обрывистый лесной берег не показался Аркаше ни мрачным, ни жутким, — так по-живому спокойно, гостеприимно встретил и обнял его сосновый мачтовый бор. Ямщик в ожидании монастырского обеда потрогивал лошадей, и скоро голубые купола, видные из города, поднялись над черно-зелеными шапками сосен, повисли, как пузыри, в ясном воздухе, заблестали рассыпанными на них золотыми звездами. Стволы поределели, расступились, и тарантас подкатил к узкому газончику, тянувшемуся вдоль фасада монастырской гостиницы, стоявшей на пригорке, недалеко от собора, впереди служб.

Монастырский служка, тощий, с жидкой рыжей гривкой, встретил Аркашу у входа поясным поклоном и принял его баул.

Аркаша прошел за ним следом по звонкому каменному полу во второй этаж. Гостиница была пуста, все окна ее были раскрыты, солнце и сквозняки сушили и без того веками высушенные стены замечательной толщины. В светлые, сводчатые, выкрашенные масляной краской коридоры выходили глубокие ниши номерных дверей. Служка отворил одну из них и ввел Аркашу в номер.

— Нет, — сказал Аркаша, наслышавшийся об удобствах гостиниц, — здесь мне не нравится. Нет ли у вас получше?

И, не ожидая ответа, он вышел, чтобы направиться туда, где за стеклянной дверью, разделявшей коридор, он заметил блеснувшее серебро зеркал. Служка забежал вперед и, умильно заглядывая Аркаше в лицо, проговорил:

— Занято, ваша милость. Со вчерашнего дня изволили там остановиться презжие.

— Не может быть, чтобы все было занято, — отвечал Аркаша, не обращая внимания и думая: «Запуганный народ, с ними надо побольшеви́стски».

Он опять опередил монашка, трепетавшего от растерянности не только всем своим лицом, но и кургузой ряской:

«Что у них там такое, блудят. что ли отцы? Чего он трясется?» — думал Аркаша с удивлением и, еще больше раззадориваясь мыслью застать монахов за срамным занятием, ускорял шаги.

Действительно, за стеклянной дверью все было богаче, с большим размахом. Это было «дворянское отделение» гостиницы. Ковровый половичок тянулся здесь по полу вдоль всего коридора, стены

были расписаны затейливым узором с позолотой, стеклянные граненые ручки дверей сверкали влажным ледяным холодком. Белые скамьи с мягкими красного плюша сидениями тянулись по стенам, зеркала играли в своей глубине переломами стенных плоскостей.

— Вот это другое дело, — сказал Аркаша и только было направился к полуоткрытой двери одного из номеров, как оттуда навстречу ему появилась пошатывающаяся фигура, босая, в нижнем белье, с низко опущенной взлохмаченной головой. И... Аркашка остолбенел.

— Семен Иванович, — пробормотал он, не зная, на что решиться.

Семен Иванович посмотрел на него совершенно стеклянным взглядом и вдруг заревел:

— Я сказал, чтоб никога не пускать!.. Тпррру!.. В пыль разотру!..

И он затопал босыми ногами.

— Сказывал, ваша милость, сказывал, — часто лепетал служка.

— Дать мне сюда игумена!..— все топал ногой Семен Иванович.— Я его, сук-киного сына... Чорта гривастого...

Служка согнулся в поясном поклоне, пятясь. Семен Иванович взглянул на Аркашу внимательнее, глаза его на миг приобрели выражение сознания, и тяжелая улыбка поползла по его лицу, раздвигая и шевеля одеревяневшие мускулы.

— Товарищ Мальчиков!.. — сказал он с оттенком приятного изумления. — Какими судьбами?

Оскалив желтые зубы, он полез целоваться, нещадно дыша перегаром спирта, слюнявя и царапая Аркашину щеку колкой щетиной небритого подбородка.

— А мы тут, понимаешь, заседание устроили, — продолжал он чудаковато и дружески, как-будто удивляясь своему рассказу, обняв правой рукой Аркашину шею, балансируя левой ногой в воздухе и увлекая Аркашу в номер.— Тебя только и не хватало. Ну, иди, что ж ты упираешься...

Но Аркаша вовсе не упирался, просто ему трудно было совладать с нестойким равновесием обмякшего Семена Ивановича. А тот, все держась за его шею и откинувшись назад, уже кричал службе грозным голосом:

— Самовар!.. В две минуты чтоб был на столе!

И вдруг, понизив тон, поманив служку поближе к себе пальцем, прибавил:

— Да вели казначею, чтоб прислал еще теплоты... Чтоб не стеснялся там... А то знаешь?!— снова рявкнул он.— Иди...

Наконец, они с трудом втиснулись в дверь номера.

— Вот, — сказал торжествующе Семен Иванович, — принимайте дорегого гостя!.. А я пойду пока — прогуляюсь...

И шлепающими шагами в том же костюме он вернулся в коридор.

Глазам Аркаши предстала большая, комфортабельно обставленная комната. Широкие окна, завешенные плотными, небрежно откинутыми и заткнутыми за случайные гвозди занавесями, проливали много света. Мягкие кресла, диван, лаковые комоды, пружинная кровать, белоснежный низкий фаянсовый рукомоЙник, платяной шкаф и большое трюмо составляли ее заурядную, но добротную и чистую обстановку, перемешанную с келейным духом красного угла, высившего три этажа икон, лампад на них, стульев, украшенных деревян-



ной резьбой церковно-славянского стиля и многочисленных цветных литографий, висевших на стенах под стеклом и изображавших библейского вида монахов, кротко вытаскивающих сети из озера палестинского колорита, ухаживавших за пчелами, незлобно ползающими по их рукам и бородам, благостно возделывающих злаки и плоды земные. Был тут и Серафим Саровский, с лицом человеческого зародыша, стоящий в беленьком хитончике среди леса на коленях и подающий воспитанному корректному мишке ковригу ржаного хлеба. Был и Питирим, в архиерейских ризах и митре, с лицом властительного изувера. Литографии Троице-Сергиевской и Киево-Печерской лавры изображали общий вид святых мест, с занумерованными храмами, домами и примечаниями внизу, дабы паломники в воспоминаниях не исказили бы истины.

Что ярче всего бросилось Аркаше в глаза, это три пятна: полутолая женщина, лежавшая на кровати, стол, заставленный пустыми бутылками, посудой и запятнанный лужами красного вина, и кресло около стола, на котором сидел полный человек без пиджака, оказавшийся при ближайшем рассмотрении Федоровым: лицо его было измучено и румяно, крохотные ножки раздвинуты в коленях и сцеплены ступнями, пухлые кисти рук лежали на ручках кресла. Вся поза была такая, словно он решил умереть на месте, не объясняя причин. При появлении Аркаши он прищурил глаза и слегка привстал.

— Мсье Пальчиков, кажется? Мы знакомы?

Руку он подал полусогнутой, отведя ее в сторону, как подбитое крыло, и, по своей привычке, не пожал, а ущипнул Аркашину.

— Садитесь, пожалуйста, — продолжал он. — Ах, что мне делать, что мне делать... Меня ведь дома ждет жена... Она, должно быть, голову потеряла. А я здесь с этой... тру-ля-ля...

Он сделал жест в сторону кровати, дернул глазом и углом губы, как-будто для того, чтобы заплакать, потом устало закрыл лицо руками.

— Вернитесь домой, — предложил Аркаша, — кто же вам мешает?

— Мсье Пальчиков, неужели вы не видите, — взвизгнул тогда истерически Федоров, — что я здесь в плену? Это ужасный человек!.. Он убьет меня, если я заикнусь об отъезде.

— Мне думается, что он не так заинтересован в вашем присутствии, — сказал Аркаша, кивнув головой в сторону кровати. — Я одного не понимаю — ведь он должен бы быть по пути в губернию.

Федоров закрыл глаза и замахал ручками в полном изнеможении.

— Они с этой весталкой, — выговорил он, наконец, — продержали меня вчера вечером целых два часа в темноте... Как-будто, — взмолился он, — мало им помещений здесь в гостинице, ба-аюшки мои, да что ж это такое!.. И при этом заставляли меня все время пить за их здоровье, для чего зажигали свет... так что я не мог даже передернуть... Ну, я понимаю, разврат и все прочее, сам был молод и прешен. Но эта тварь все время нюхала кокаин, который ей выписал из аптеки Семен Иванович, и пила. Теперь она совершенно невменяема... Бревно бревном.

Федоров опасно взглянул на дверь и продолжал патетически, с подавленным воплем:

— Он мучит меня!.. Ах, мсье Пальчиков, какую я глупость сделал, что пришел вчера к нему на квартиру! Я узнал, что он остается председателем совета и притом земельным комиссаром. Как же мне

было не пойти, не попробовать расположить его в свою пользу? А он заявил, что у него нет времени, так как он немедленно уезжает... Предложил мне проводить его до ближайшей ставки, чтобы дорогой я ему рассказал обстоятельства дела, и я имел глупость согласиться. А вместо этого — заехал за этой особой и прямой дорогой сюда. Вы понимаете, я как был, в чем был, даже не предупредив жены... Она, наверное, думает, что меня бросили в тюрьму.

— А что это за особа? — заинтересовался Аркаша.

— Да вот из этого кафешантана. Она называет себя Эльгой Скандинавской. Певичка... Вы понимаете, я не сообразил, куда мы едем, а когда сообразил, то было поздно. Он уверял, что только подвезет эту чортову Эльгу к лесу, землянику, видите ли, собирать, разумеется, я ждал, чтобы говорить наедине. И вот вместо этого... Он м-муучит меня!

— Чем же он мучит вас?

— Во-первых, он заставляет меня пить. У меня голова трещит от этого подлого кагора. К тому же он смешивал его со спиртом. Кроме того, он издевается надо мной, он уклоняется от разговора, с ним нельзя вообще серьезно говорить. И притом я знаю, что он меня может каждую минуту расстрелять, четвертовать, что ему вздумается! Да, невинного человека, от них станется. Но только, бога ради, ничего ему не говорите...

И Федоров с ужасом уставился на дверь, медленно скрипевшую и раскрывавшуюся.

— Ну, вот, — сказал Семен Иванович, входя, — познакомились? Пальчиков у нас, знаешь ли, герой, он у нас один на целые села с голыми руками выходит. Это он вашим братом, помещиками, распоряжается. Верно, Пальчиков?

В двери постучали, служка принес самовар.

— Тащи, тащи, — крикнул Аркаша, видя, что никто не обращает внимания.

Но служка не входил. Тогда Аркаша встал и вышел к нему.

— Соблазно мне входить, ваша милость, блудница у вас, — сказал служка. — Вот уж, прошу вас, принять, ради Христа.

Он подал ему самовар и пять бутылок красного вина: делать нечего, пришлось Аркаше взяться за хозяйство.

— Тогда, если что, — добавил служка, — если остынет, то кликните, свеженький подам. Три самовара враз на-кипу держим, для скорости.

Вернувшись к столу, Аркаша застал Семена Ивановича в кресле, раскуривающего папироску и с насмешливым любопытством поглядывающего на Федорова, в лице которого появилась отчаянная веселость.

— Напрасно вы думаете, Семен Иванович, — говорил Федоров, — что я такой заядлый контрреволюционер. Ей-богу, уверяю вас, что это совсем не так. Совсем даже напротив. Мой дядя был замешан в движении и сослан, а сам я в молодости пренебрег военной карьерой, не желая служить самодержавию. А в девятьсот пятом году я распродал половину земель крестьянам, оставил только столько, чтоб возможно было продолжать культурное коннозаводство. И вся моя родня, и я сам...

— Да тебя надо в Совнарком! — воскликнул Семен Иванович.

— Что ж, — отвечал скромно Федоров, — и я бы не ударил в грязь лицом. Вы думаете трудно управлять? Нужно только уметь расходовать. Ни одно правительство ничего не добывает, а только

расходует собранные налоги. Дали бы мне соответствующий штат сотрудников, и уверяю вас, я справился бы не хуже других.

— Вот это здорово! — вскричал Семен Иванович с восторгом. — Федоров — народный комиссар республики! Федоров — комиссар!

— Сергей Александрович, — добавил тот с неподходящей измененной веселостью.

— А против Колчака пойдешь воевать? А землю крестьянам раздашь? А учредилку разогнал бы?

— Да, да, только учредительное собрание подождать бы разгонять, потому что выборные от народа... Я удивляюсь вам, большевикам, вы сами за народную власть, а не допустили к управлению представителей народа. Ну, чем они вам помешали?

— Ха-ха-ха! — от души захохотал Семен Иванович. — Да тем и помешали, что все они из федоровской дальней родни... Ты знаешь, — прибавил он серьезно, — вот она, и то тебе объяснит, чем помешали... Вставай, Эльга, чай горячий!

Тут он откинулся и шлепнул лежащее на кровати тело по мягкому. Женщина слабо брыкнула ногой:

— Ну, пей, ребята, — командовал Семен Иванович, наливая в стаканы вина, — не задерживай других, может, люди хотят выпить.

Федоров обреченно взялся за свой стакан: Аркаша пробовал было отпереться, но Семен Иванович насел на него с такой настойчивостью, что ему поневоле пришлось сдаться.

— Пей, пей, — убеждал Семен Иванович, — какой из тебя инструктор по социализации, коли ты не умеешь по-социалистически дернуть... Как ты в Потьме-то агитировать насчет этого... ко-индента? А? Ведь загнет же человек. Но ты не смущайся, вали, действуй. Я тебе серьезно говорю, не как Федорову, будешь у меня комиссаром со временем, понимаешь? Хоть не республики, хоть белоспаским, но это не хуже, а? Можешь поверить. Мне такие нужны... тактические люди. А раз мне нужно — кончено!..

Семен Иванович трахнул по столу кулаком. Федоров моргнул и поперхнулся вином.

— Я знаю, — продолжал Семен Иванович, довольный произведенным эффектом, — от меня не скроешься... Против меня там склочничают. Сплетничают. Сговариваются. Подкопы... Семен Иванович, мол, зашибает, то, се...

Аркаша утвердительно кивнул головой. Семен Иванович широким жестом руки как-будто отвел его слова в сторону.

— Ты мне не говори... Сам все знаю... Сво-лочь!

Он опять хотел трахнуть по столу, но промахнулся, попал по краю, видимо, расшиб руку и не почувствовал спьяна боли, а только обиду.

— Я этих склочников всех разгоню... Тпррру... Мразь. Благим матом у меня завоют. Ты от них, Пальчиков, подальше... Слышишь?

В это время кровать затрещала. Эльга уже сидела, сбросив ноги, блуждающими глазами озираясь вокруг. Потом она, заломив руки за голову, потянулась, зевнула, поправила бретельки рубашки и сипло сказала:

— Вот черти, спать не дали... Чаю мне!

Ей дали вина. Она выпила духом и сказала, утираясь:

— Аптекарь ваш, когда давал мне кокаин, говорит: «Я фармацевт и Троцкий фармацевт, если хотите, так я могу весь исполком разогнать...» И развел руками.

— Это ты... Это ты в мой огород, — тяжело догадался Семен Иванович. — Ну и стерва же ты...

Он хлопнул ее по плечу, женщина отмахнулась и сказала, по-морщившись:

— Не тронь, мужик.

— Я не мужик, — поправил Семен Иванович, — а коллежский регистратор, значит благородный. Ты вот что, Эльга, ты там не болтай насчет исполкома и всего иного прочего... Пей, ребята.

Он помрачнел и посмотрел на часы.

— Еще осталось сроку два часа. Пей, ребята, чтобы ничего игумену не оставлять, что не допьете, то в карман суйте. А ты, Пальчиков, помни о разговоре! Помни...

Он принялся опять подливать всем вина, все пили, не закусывая, а Семен Иванович, приняв покровительственный тон, говорил:

— Интриганы кругом... А кому с Семеном Ивановичем плохо работать, спросите? Кто со мной работает, знает. И вам всем плохо не будет. Помни, Пальчиков... Семен Ивановича знают. На прошлом съезде губернском товарищ Гурвин говорил мне: тобой, говорит, весь Белоспасск держится. А почему держится?.. Скажи им, Пальчиков, загни им ко-инцидент.

Посоловший Аркаша отвечал:

— Кулаком стучишь.

— Стучу. И буду стучать. Какой-нибудь дуболом, в роде Хворова, смеет там своим рабочим происхождением козырять!.. Ты мне не тычь происхождением, а ты мне покажи, каков ты сам...

Такие и в роде этих разговоров длились не два, а добрых четыре часа. Аркаша потерял представление о том, где он, зачем он тут, вино с непривычки подействовало на него сильно. Он смутно вспоминал потом, что среди разговора у Эльги с Семеном Ивановичем произошло нечто в роде драки, их разнимали, мирили, служба приносил еще вина и тщетно отводил глаза от Эльги, выскочившей в полуголом виде в коридор только лишь для того, чтобы монашек впал в соблазн. Вспоминал он и Федорова, умолявшего его: «Ради бога, прошу вас, увезите меня отсюда... Честное благородное слово, я убежденный революционер...» Но крепче всего осталось у него в памяти, как Семен Иванович при отъезде, уже спускаясь с лестницы, повторил:

— Помни, Пальчиков! Помни...

И уже при посадке в тарантас крикнул ему вверх, в открытое окно:

— Помни!...

Аркаша проследил, как тарантас, нагруженный тремя седоками, скрылся за поворотом, и, сообразив, что теперь уславливаться с игуменом об организации артели было бы не слишком удобно, он только потребовал обед и велел одновременно запрягать лошадей. Отсыпался он уже в тарантасе и не заметил пути из мужского монастыря в женский.

*(Продолжение следует).*

# Четыре стихотворения

ВИССАРИОН САЯНОВ

1

Степан Поликарпов и Сидор Гладких,  
Седые друзья моего отца,  
Вы снова проходите в песнях падких,  
По-новому ваши стучат сердца.

Не только что ваши, и сердце века  
Стучит, задыхаясь во мгле сырой,  
Выводит оно от глухого штрека  
Кавалерийских дивизий строй.

Засучив рукава, по глухим болотцам  
История водит полки отсель,  
Забойщика делает полководцем,  
В четыре ромба метит шинель.

Путь их широк был — земной да водный,  
Пули и песни — все пополам,  
Гладких теперь комиссар народный,  
В тесной могиле лежит Степан.

А мы-то, подручные и подмастерья,  
Все поколение Здоровяков,  
Каждое этих времен поверье  
Водим по краю своих штыков.

И это, пожалуй-что, не укоризна,  
Мы все по-блатному болтали сплошь,  
Как память военного коммунизма  
Срывался в матлёте матросский клеш.

От кожаных курток, от утлых финок  
Ни синего пороха нет в глазу,  
На Марсово поле, на Ситный рынок  
Тогда разносило в разлом грозу.

Мальчишки семнадцати лет и старше,  
Вы снова со мною поёте в лад,  
Несносная полночь, срываясь в марше,  
Уводит дороги мои назад.

Ай да Москва, она бьет с носка,  
 А Питер бока повытер,  
 Какая тут к ляду возьмет тоска,  
 Надежен дорожный литер.

И то, что шумело и жгло тогда  
 В те ночи и дни бегущие,  
 Все запросто входит в наши года,  
 Как наши войдут в грядущее.

## II. Надпись на поэме

...Не сердись и за то, что изверься  
 В заклинанья любовной тоски,  
 Я тебя променяю на вереск,  
 На промозглый рассвет у реки,

На село, где глухой, как истома,  
 Ветер бьет, как подручный, в лицо,  
 На резное отцовского дома  
 Уходящее к полдню крыльцо.

На овраги, на тихие речки,  
 Где проходили, простор полоня,  
 На порывистый говор уздечки  
 Озорного, как вьюга, коня.

Я подавно не тех караюлю,  
 Чьи знамена мы смяли в бою,  
 Кто пошлет мне полночную пулю,  
 Как расплату за песню мою.

С юга к северу, вправо, налево,  
 С края в край тараторит жара,  
 С юга к северу подступы сева,  
 Задыхаясь, берут трактора.

Так по тракторам, по сивцевым вражкам,  
 От обочин дорог и равнин,  
 Ходит молодость, конным упряжкам  
 Подымая на смену бензин.

Пусть в древко ударяют дреколья,  
 Голос песен порывист и прост,  
 День кончается у многополья  
 Точно сверенных к полночи звезд.

Многополье души нашей тоже,  
 Словно песня, летя под уклон,  
 На поля этих весен похоже,  
 Сотни тракторных водит колонн.

В эти дни перестрелок и сева  
 Нет сердец, чтобы стыли в тиши.  
 Все, что против, то «к стенке», «налево»,  
 От бандита до бунта души.

### III. Разлука

(Песня)

С ветра, что ли, с ладейного поля,  
Будто конь мой, вскочив на дыбы,  
Бьется запросто дикая воля,  
Как тростники, шатает дубы.

С первой зорькой пройдут деревеньки,  
Где слепцы костылями стучат,  
Старики давней песней о Стеньке  
Там своих забавляют внучат.

Есть далекие заводы, тони,  
Соляные дымят промысла,  
В ломовые пласты на Эльтоне  
Вся судьба роковая вросла.

Ни ножом я тебя не зарежу,  
Топором его не зарублю,  
Только горло коню перережу,  
Оголтелую душу сгублю.

Лет пятнадцать пройдет или двадцать,  
В жестяном тароватом году  
Я с тобой навсегда расставаться  
В Нижний Новгород снова приду.

По заводам взлетают колёса,  
Слесарями твои сыновья,  
Иссутулился светловолосый  
Поседел и состарился я.

Разговор наш недолог и скучен,  
Ведь теперь не таясь, не любя,  
К дикой воле рыбачьей приучен,  
Я совсем не узнаю тебя.

Есть далекие заводы, тони,  
Соляные дымят промысла,  
В ломовые пласты на Эльтоне  
Вся судьба роковая вросла.

### IV. Пейзаж

Так тихомолком, ни шатко, ни валко,  
Редкие колки проходят, мельчась,  
Перепелов тормозит перепалка  
В этот сквозной замороженный час.

Часто погоня срывается в окрики,  
Волны и молния, грохот и сон,  
Небо, и то в этом сумрачном округе  
Нас с четырех обступает сторон.

Старого друга седеющий волос,  
Жимолость, жолоб, скользящий назад,  
Ветер, и с петель срывается волость,  
Сумрак и жалобно шурхает сад.

К берегу жмутся березы, но кроме  
Этой кромешной, отверженной тьмы,  
Глухо по каплям стекающей в громе,  
Что еще нынче запомнили мы?

В северно-русском дорожном ландшафте  
Странная есть пред рассветом пора.  
Скоро ли утро сойдет с гауптвахты,  
Сонные тучи возьмет на ура,

Скоро ли снова, сорвавшийся с петель,  
Здесь разгуляется северный ветер?  
Но тихомолком, ни шатко, ни валко,  
Редкие колки проходят, мельчась,

Перепелов тормозит перепалка  
В этот сквозной замороженный час.

---



# Гибель „Осляби“

Отрывок из будущей книги „Цусима“

А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ

Эскадренный броненосец «Ослябя», высокобортный, трехтрубный красавец нашего флота, водоизмещением почти в тринадцать тысяч тонн, к моменту сражения при Цусиме считался сравнительно молодым. Он был спущен на воду в 1898 году. Новое адмиралтейство строило его в Петербурге более семи лет, столько же лет он и просуществовал на свете, пока не нашел себе могилу в далеких водах Восходящего Солнца. Слабо и не весь защищенный броневыми плитами из стали Гарвея, он вернее представлял собою хороший броненосный крейсер, способный развить ход до восемнадцати узлов, но высшему начальству благоугодно было, на страх врагам, причислить его к разряду эскадренных броненосцев. Вооружение его, помимо пяти минных аппаратов, выражалось в следующих цифрах: четыре орудия десятидюймовых башенных, одиннадцать орудий шестидюймовых казематных и двадцать штук трехдюймовых; к этому надо еще прибавить двадцать пушек сорокасемимиллиметровых.

Командовал броненосцем капитан 1-го ранга Бэр. Это был пожилой холостяк, лет сорока пяти, среднего роста, с большой облысевшей головой. Широкий рот его густо зарос каштановыми посеребрившими усами, над которыми, сгорбившись, солидно примостился громадный нос. С подбородка, раздваиваясь на две половины, пенисто ниспадала длинная, седая борода. В общем, лицо у него было сурово-внушительное, но оно несколько смягчалось бледно-голубыми глазами. Любил он вкусно покушать, много курил, но совершенно не пил вина. Одевался всегда франтовато и не упустил случая, как он выражался, «разделить компанию с дамами нашего круга». Высшая морская власть считала его опытным и знающим моряком. Он отлично владел английским, немецким и французским языками. Лет за шесть до Цусимы был командирован в Филадельфию наблюдать за постройкой заказанных там судов — броненосца «Ретвизан» и крейсера «Рюрик».

К своим подчиненным, которых на броненосце насчитывалось около девятисот человек, командир Бэр был очень требователен и придирчив. С точки зрения отживающей военщины, помешанной на внешнем лоске, этот человек был вполне достоин похвалы. Свой корабль он держал в должном порядке, старался на все новости идеальную чистоту, не считаясь с условиями, при каких находился броненосец, и с тем, как это отзывалось на спинах команды. После каждой

погрузки угля матросы чистили и мыли не только судно, но и те мешки, с помощью которых грузили уголь. Каждую неделю он осматривал броненосец, заглядывая во все его отделения. Он даже спускался в кочегарку, вымытую к его приходу мылом, и в белых перчатках прикасался к переборкам, брал в руки разные предметы. Если только на перчатках оставался грязный след, то начинался разнос кочегаров.

— В карцер на трое суток! — в заключение кричал командир.

А это означало, что виновника сажали в канатный ящик.

Не спасала матросов и ночь. Стоило командиру заметить где-нибудь мусоринку на палубе, он сейчас же приказывал разбудить команду и заняться уборкой. Его мало интересовала доброкачественность пищи, но зато он много обращал внимания на медные баки, из которых команда ела суп. Эти баки так начищались, что блестели, как церковные сосуды.

Нельзя было отказать командиру и в храбрости. Он был вполне военным человеком. Но ему не удалось привить храбрость своим подчиненным, завоевать их любовь и доверие. Правда, пытался он это сделать, но вышло не совсем удачно. Однажды, задолго еще до сражения, он приказал собрать команду на верхней палубе и произнес речь, короткую и вразумительную:

— Братцы! Я надеюсь, что вы не пожалеете своей шкуры за веру, царя и отечество. Вы ведь русские матросы.

На это лишь слабо ответили унтер-офицерские голоса:

— Постараемся, ваше высокобродье.

Младшие офицеры, за небольшим исключением, выполняли волю командира, подделяваясь под его желания. Нижние чины для них были не в счет. Матросов можно было обкладывать, не стесняясь в выражениях:

— Скотина! Болван! Арестантская морда!

Все было построено на чинопочитании, на бессмысленной субординации, на показной стороне, как-будто «Осябя» шел не на войну, а на парадный смотр.

Разлад между белой и черной костью все усиливался. Плавание на таком корабле для матросов становилось настоящей пыткой. Не даром они так резко отзывались о своем судне:

— Пловучая тюрьма!

Матросы в свою очередь начали вредить своим начальникам, постоянно обманывая их, выполняя приказания из рук вон плохо. Были случаи, когда портили казенные вещи. Как-то, когда стояли еще у острова Мадагаскара, перерезали тали у парового катера, с целью разбить его. Тогда же, стоя во фронте на верхней палубе, команда освистала старшего офицера. Это было похоже на бунт. Приезжал сам Рождественский, жестоко изругал матросов, а несколько человек, на которых показали «шкуры», как на зачинщиков, отдал под суд.

Доведенные до отчаяния, некоторые из команды проклинали свой корабль с его хозяевами и не раз высказывали свои желания:

— Хоть бы скорее отправиться на дно, под флаг адмирала Макарова.

На броненосце «Осябя» находился командующий вторым броненосным отрядом адмирал фон-Фелькерзам. Матросы звали его между собою попросту «Филька». Человек он был добродушный и любил иногда покалякать с нижними чинами, но, занятый делами штаба, не вмешивался в судовые порядки и не замечал, что творится вокруг него на корабле.

Еще большей популярностью пользовался среди команды флагманский штурман, подполковник Осипов. Высокого роста, длинноногий, он, несмотря на свою старость, ходил быстрыми шагами. Голова его и худощавое, но вместе с тем красное, как распаренное, лицо заросли густой сединой, словно покрылись клочьями морского тумана. От долгого скитания по морям и океанам выцвели голубые глаза, а большой и прямой лоб избороздили шесть глубоких морщин. По характеру своему это был настолько добрый старик, что при нем офицеры стеснялись бить матросов. Все его любили и звали «борода».

Еще дружили с матросами молодые механики, но они не могли изменить каторжного режима на судне.

---

С адмиралом Фелькерзамом случилось в пути несчастье: в первых числах апреля он захворал. По мере приближения к театру военных действий болезнь его усиливалась. Наконец, 11 мая, за три дня до боя, он не выдержал и без японской помощи отправился в другой мир. О смерти его, не спуская с мачты адмиральского флага, уведомили штаб Рожественского заранее условленным сигналом:

— На броненосце поломалась шлюпбалка.

Рожественский на это ответил:

— Оставить до Владивостока.

Тело адмирала запаяли в цинковый гроб и выставили в церкви для доставки во Владивосток, где предполагалось погребение. Случили панихиду. Команда бледная стояла во фронте. Смерть адмирала накануне боя все приняли как роковое предзнаменование общей участи всего экипажа. Гнетущее состояние не покидало никого до самой встречи с японцами.

Офицеры и команда остальных судов, видя на «Ослябе» контр-адмиральный флаг, и не подозревали о случившемся. Не знал этого и неприятель, когда открыл по броненосцу сильный огонь. Простой лоскут материи, висевший на мачте, быть может, ускорил гибель корабля.

Со смертью адмирала командование вторым броненосным отрядом было поручено капитану 1-го ранга Бэру. Но он с появлением японского флота не сделал по своему отряду ни одного распоряжения. Каждое из его судов было предоставлено самому себе.

14 мая после перестрелки с неприятельскими разведочными крейсерами во втором часу дня показалась японская эскадра. На броненосце «Ослябя» пробили боевую тревогу. Все люди находились на своих местах—стояли чинно и парадно. Сам Бэр стоял на мостике около боевой рубки и, глядя, как с левой стороны приближается встречным курсом японская эскадра, курил одну папиросу за другой. Он был спокоен.

Но вот здесь-то и случилось то, чего никто не ожидал от командующего 2-ой эскадрой адмирала Рожественского, в боевые способности которого так слепо верили в Петербурге. С первого же момента благодаря несуразным маневрам адмирала «Ослябя» был поставлен в такое положение, что вынужден был застопорить ход, чтобы не протаранить впереди идущего судна. Противник воспользовался этим и, делая последовательный поворот на шестнадцать румбов и ложась на параллельный с нами курс, открыл по нем страшный огонь.

Попадания начались сразу же. Третий снаряд уже вlepил броненосцу в нос и, целиком вырвав левый клюз, разворотил весь бак. Якорь вывалился за борт, а канат вытравился вниз и повис на жвакгалсовой скобе. Японцы быстро пристрелялись к стоячей мишени еще на повороте, и передние корабли передавали расстояние идущим сзади. Каждый новый корабль, делая поворот, посылал броненосцу «Ослябя» свой первый жестокий привет. Снаряды начали сыпаться градом, непрерывно разрываясь у ватер-линии в носу. А броненосец покорно подставлял свои бока и ничего не предпринимал, стараясь только удержать строй. Когда представилась ему возможность двинуться вперед и когда внутри его заколотились все три машины в 14.500 индикаторных сил, а за кормой забурили все три винта, он уже имел несколько пробоин в носовой части, не защищенной броней. По кораблю пронесся призыв:

— Трюмно-пожарный дивизион, бегом в носовую жилую палубу!

Там, около первой переборки, у самой ватер-линии, разорвался снаряд крупного калибра и сделал в левом боку большую брешь. В нее хлынули потоки воды, заливая первый и второй отсеки жилой палубы. Через щели, образовавшиеся в палубе, через люк и в разбитые вентиляторные трубы вода пошла в левый носовой шестидюймовый погреб и в подбашенное отделение. От дыма и газов в этих отсеках не было видно лампочек накаливания. Пробоина была полуподводная, но вследствие хода и сильной зыби не могла быть заделана. Разлив воды по жилой палубе был остановлен второй переборкой, впереди носового траверза, а в трюмах она дошла до отделения носовых динамомашин и подводных минных аппаратов. Получился дифферент на нос. Как ни энергична была работа трюмных, с механиком Успенским во главе, броненосец уже нельзя было привести в равновесие. Только отчасти удалось им устранить крен на левую сторону, искусственно затопив коридоры и патронные погреба правого борта.

Главная электрическая магистраль, перебитая снарядом, перестала давать ток, вследствие чего носовая десятидюймовая башня вынуждена была остановиться. Она сделала всего только три выстрела. Хотя минеры и соединили перебитые концы магистрали, но было уже поздно. В башню попали два больших снаряда. Не выдержав их ужасного взрыва, она соскочила с катков и перекосилась набок. Броневые плиты на ней разошлись, а дула десятидюймовых орудий, как два громадных сухих пня, торчали под разными углами в сторону неприятеля.

Около этой башни еще перед началом сражения были поставлены два матроса нарочно на убой. То были Король и Сусленко. До самой встречи с японцами они находились в карцере. Сусленко был арестован за ограбление церковной кружки, а Король — за бунт на крейсере «Нахимов». Старший офицер, поставив их здесь, приказал: — В случае пожара будете заливать из шлангов. Никуда отсюда не уходить. Виновника пристрелю на месте.

Оба они были разорваны в куски.

Крышка с башни оказалась сорванной. Повидимому, один из снарядов разорвался в амбразуре. Внутри башни одному человеку оторвало голову, а остальных всех тяжело ранило. Послышались стоны, крики. Из башни вынесли потом комендора Бобкова с оторванной ногой. Когда его понесли на носилках в операционный пункт, то он, кого-то проклиная, ругался самыми скверными словами.

Верхний передний мостик был разбит вдребезги. Там стоял дальномер системы Барра и Струда, служивший для определения расстояния до неприятеля. При нем находилось несколько матросов и лейтенант Полецкий. Взрывом снаряда их разнесло всех в разные стороны и настолько изувечило, что никого нельзя было узнать, кроме офицера. Он лежал с растерзанной грудью и, умирая, вращая обезумевшими глазами, кричал неестественно громко:

— Идзумо... Крейсер Идзумо... тридцать пять кабельтовых... Идзумо... пять... тридцать...

Через минуту Полецкий был трупом.

Вскоре был разбит верхний носовой каземат шестидюймового орудия. В него попало два снаряда. Броневая плита, прикрывавшая его снаружи, сползла вниз и закрыла отверстие порта, а пушка вылетела из цапф. Затем замолчали еще две шестидюймовые пушки. Все мелкие орудия с левого борта были выбиты за каких-нибудь двадцать минут. Большая часть прислуги при них была выбита, а остальные вместе с батарейным командиром, не находя себе дела, скрылись на броневой палубе.

Разорвался снаряд около боевой рубки. От находившегося здесь барабанщика остался безобразный обрубок без головы и без ног. Осколки от снаряда влетели через прозоры внутрь рубки. Кондуктор Прокюс, стоявший у штурвала, свалился мертвым. Были ранены офицеры штаба и судовые офицеры. Некоторые из них ушли в операционный пункт и больше не вернулись на свои посты. Командир Бэр с бледным, обрызганным кровью лицом выскочил из рубки и, держа в руке дымящуюся папиросу, громко начал кричать:

— Позвать мне старшего офицера Похвиснева!

Кто-то из матросов побежал выполнить его поручение, а сам он затаился папиросой и опять скрылся в боевой рубке, чтобы управлять в последние минуты уже погибающим кораблем.

В левом среднем каземате осколки попали в тележку со своими патронами. Получился взрыв. Всю артиллерийскую прислугу здесь искрошило, а шестидюймовую пушку привело в полную негодность. Осталось с этого борта только два шестидюймовых орудия, но и те позднее были парализованы большим креном судна. Вообще нашей артиллерии пришлось действовать очень мало. Да и снаряды наши выбрасывались скорее на ветер, чем в цель, так как расстояние в это время никто не передавал.

Вся носовая часть судна была затоплена водою. Доступ к двум носовым динамомашинам оказался отрезанным. Находившимся при них людям пришлось, спасаясь от гибели, выбираться оттуда через носовую башню. Эта же вода, служа хорошим проводником и соединив электрическую магистраль с корпусом корабля, была причиной того, что якоря двух кормовых динамомашин сгорели. В результате не стали работать турбины, служившие для выкачивания воды, остановились лебедки, поднимавшие снаряды, и вообще все механизмы, приводимые в движение электрическим током, отказались служить.

На броненосце внизу, под защитой брони, было два перевязочно-операционных пункта: один настоящий, а другой импровизированный, превращенный на время в таковой из бани. В первом работал старший врач, а в другом — младший. Зрелище было ужасное. Всюду виднелась кровь, бледные лица, помутившиеся или лихорадочно-настороженные взгляды раненых. Вокруг операционного стола валялись ампутированные части человеческого тела. Вместе с живыми людьми лежали и те, которые успели умереть. Одурачивший запах све-

жей крови вызывал тошноту. Слышались стоны, жалобы. Кто-то просил:

— Дайте скорее пить. Все внутренности мои горят...

Строевой унтер-офицер бредил:

— Отбивай рынду! Видишь, какой туман... Не жалея колокола...

Комендор с повязкой на выбитых глазах, сидя в одном углу, все спрашивал:

— Где мои глаза? Кому слепой нужен?

На операционном столе лежал матрос и громко орал. Старший врач в халате, густо заалевшем от крови, рылся большим зондом в плечевой его ране, выбирая из нее осколки. Число искалеченных все увеличивалось.

— Ребята, не напирайте. Мне нельзя работать, — упрашивал старший врач.

Его плохо слушали.

Каждый снаряд, попадая в броненосец, производил страшный грохот. Весь корпус судна содрогался. Получалось такое впечатление, как-будто с огромнейшей высоты сбрасывали на палубу сразу по сотне рельсов. Раненые в такие моменты дергались и вопросительно смотрели на выход: конец или нет? Вот еще одного принесли на носилках. У него на одном боку мясо было сорвано, оголились ребра, из которых одно торчало в сторону, как обломанный сук на дереве. Раненый завопил:

— Ваше высокоблагородие, помогите скорее.

— У меня полно. К младшему врачу несите.

— Там тоже много. Он к вам послал.

Броненосец сильно качнулся.

Слепой комендор вскочил и, вытянув вперед руки, крикнул:

— Тонем, братцы.

Раненые зашевелились, издавая стоны и предсмертный хрип. Но тревога оказалась ложной. Комендора с руганью усадили опять в угол. Однако, крен суда на левый борт все увеличивался, а в связи с этим, наливаясь ужасом, расширялись зрачки у всех, кто находился в операционном пункте: не улыбнется им больше солнце, застилаемое черной тенью смерти. Старший врач, не взирая на то, что минуты его сочтены, продолжал работать на своем посту.

А наверху не переставали падать снаряды. По броненосцу стреляли не менее шести японских крейсеров, засыпая его градом стали. От непрерывных разрывов кипело вокруг корабля море. При попаданиях в ватер-линию по поясной броне, взъерошиваясь, вздымались огромные столбы воды вровень с трубами и затем обрушивались на борт, заливая верхнюю полубу и казематы. Стоны, предсмертные вопли, крики людей, искалеченных и обезумевших от ужаса, мешались с грохотом взрывов, завыванием разгулявшегося огня и лязгом рвущегося железа. Артиллерия, выведенная из строя, совсем замолчала. Командир одного из плутонгов, лейтенант Недермиллер, отпустил орудийную прислугу, а сам, видя безнадежность положения, застрелился. Все верхние надстройки корабля были охвачены огнем. Бушевал пожар под кормовым мостиком. На спардек из-под верхней палубы валил густой дым, а через люки и пробоины вырывались крутящиеся языки пламени. Горели офицерские и адмиральские помещения. Люди из пожарного дивизиона метались в облаках дыма, как призраки, но все их старания были напрасны. «Ослябя», зарывшись носом в море по самые клюзы, больше не мог отбиваться и, разбитый, изуродованный, продолжающий еще двигаться, только беспо-

мощно ждал окончательной своей гибели. Она не замедлила притти вместе с большой и роковой пробойной. Снаряд в двадцать пудов попал в борт в середине судна по ватер-линии, между левым минным аппаратом и банею. Болты, прикреплявшие броневую плиту, настолько ослабли, что от следующего удара она отвалилась, как штукатурка от старого здания. А когда это место совершенно оголилось, в него попал еще один снаряд, сделав в борту целые ворота, в которые можно было бы проехать в карете. Внутрь корабля хлынула вода, разливаясь по скосу броневой палубы и попадая в бомбовые погреба. Для заделки пробоины вызвали трюмный дивизион с инженером Замчинским. Напрасно люди старались закрыть дыру деревянными щитами, подпирая их упорами: волна вышибала брусья, и приходилось работать по пояс в воде. Запасная угольная яма оказалась затопленной. Крен начал быстро увеличиваться.

Броненосец выкатился из строя вправо.

По всем палубам, по всем многочисленным отделениям его пронесли отчаянные выкрики:

— Погибаем!

— Спасайся!

В это время на мостике находились лейтенант Саблин, старший артиллерийский офицер Генке и прапорщик Болдырев. К ним вышел из рубки командир Бэр без фуражки, с кровавой раной на лысой голове, но с папиросой в зубах. Ухватившись за тентовую стойку, он сказал своим офицерам:

— Да, тонем, прощайте.

Потом затянулся в последний раз дымом и громко скомандовал:

— Спасайтесь! За борт! Скорее за борт!

Но время уже было упущено. Корабль стал быстро валиться на левый борт. Все уже и без приказа командира поняли, что наступил момент катастрофы. Из погребов, кочегарок, отделений минных аппаратов по шахтам и скобам полезли люди, карабкаясь, хватаясь за что попал, срываясь вниз и снова цепляясь. Каждый стремился скорее выбраться на батарейную палубу, куда вели все выходы, и оттуда рассчитывали выскочить наружу.

Из перевязочных пунктов рванулись раненые, завопили. Те, которые сами не могли двигаться, умоляли им помочь выбраться на трап, но каждый уже думал только о самом себе. Нельзя было терять ни одной секунды. Вода потоками шумела по нижней палубе, заполняя коридоры и заливая операционный пункт. Оттуда, цепляясь друг за друга, лезли окровавленные люди по уцелевшему трапу на батарейную палубу. Отсюда немногим удалось выбраться.

Но хуже произошло с людьми, находившимися в машинных отделениях. Выходы из них на время боя, чтобы не попадали вниз снаряды, были задрены броневыми плитами, открыть которые можно только сверху. Назначенные для этой цели матросы сами от страха разбежались, бросив оставшихся внизу на произвол судьбы. Некоторые потом вернулись и пытались поднять таями тяжелые броневые крышки, но судно уже настолько накренилось, что невозможно было работать. Машинисты вместе с механиками, бесполезно бросая дикие призывы о помощи, остались там, внизу, остались все без исключения, погребенные под броневой палубой, как под тяжелой могильной плитой.

На верхней палубе происходила жуткая суматоха. Некоторые прыгали в море, не успев захватить с собою спасательных средств.

Другие бросались за спасательными кругами и пробковыми нагрудниками. Несколько смельчаков добрались до коечных сеток и начали оттуда выбрасывать утопающим койки, с помощью которых можно было держаться на воде.

На правом борту очутился священник из монахов. Это был мужчина средних лет, сытый, тяжеловесный. С развевающимися кочьями волос на голове, с выкатившимися глазами, весь натуженный, он напоминал человека, только-что вырвавшегося из сумасшедшего дома. Видя гибель броненосца, он надрывно заорал:

— Братия. Матросики. Я не умею плавать. Спасите меня.

Но каждому своя жизнь была дороже, и священник, сорвавшись с борта, сразу скрылся под волнами.

Вокруг «Осляби», отплывая от него, барахтались в воде люди. Но многие из экипажа, словно не решаясь расстаться с судном, все еще находились на его палубе. И это продолжалось до тех пор, пока стальной гигант не свалился совсем на левый борт. Плоскость палубы стала вертикально. Скользя по ней, люди повалились вниз, к левому борту, а вместе с ними покатались обломки дерева, куски железа, ящики, скамейки и другие предметы. И ломались руки и ноги моряков, разбивались головы. Бедствие усугублялось еще тем, что противник не прекратил огня по броненосцу. Вокруг падали снаряды, калеча и убивая тех, которые уже держались на воде. Мало того, из своих же колоссальных труб, лежащих горизонтально на поверхности моря, не переставал выходить густой дым, клубами расстилаясь понизу и отравляя последние минуты утопающих. От шлюпок, разбитых еще в начале боя, всплывали теперь только обломки, за которые хватались люди. Воздух оглашался призывами о помощи. И среди этой каши человеческих голов, разбрасываемых крупными волнами, то в одном месте, то в другом вздымались от взрывов снарядов столбы воды.

Командир Бэр, несмотря на разгорающийся вокруг него пожар, не покидал своего мостика. Для всех ясно стало, что он решил погибнуть вместе с кораблем. Казалось, все его заботы теперь были направлены только к тому, чтобы правильно спасались его подчиненные. Держась руками за тентовую стойку, почти повиснув на ней, он командовал, стараясь перекричать вопли других:

— Дальше от бортов! Чорт возьми! Вас затянет водоворотом! Дальше отплывайте!

Возможно, что и перед лицом смерти он не мог отказаться от парада, от красивого жеста, но в этот момент он был великолепен.

Броненосец перевернулся вверх килем и, задирая корму, начал погружаться в море. Гребной винт правой машины, продолжая еще работать, сначала быстро вращался в воздухе, а потом, по мере погружения судна, забурлил воду. То были последние судороги погибающего корабля.

Из машинистов и механиков ни один не выпрыгнул за борт. Все они, в числе двухсот человек, остались задраенными в своих отделениях. Каждый моряк может себе ясно представить, что с ними произошло. При спрокидывании броненосца они полетели все вниз вместе с предметами, которые не были прикреплены. В кромешной тьме вопли человеческих голосов смешались с грохотом и треском падений тяжестей. Но одна из трех машин и после этого продолжала некоторое время работать, разрывая попадавших в нее людей на куски. Водой эти закупоренные отделения наполнились не сразу. Значит, те, которые не были еще убиты, долго оставались живыми, про-



валиваясь в пучину до самого морского дна. Может быть, не один час прошел, прежде чем лютая смерть покончила с ними.

К месту гибели броненосца «Ослябя» подошли миноносцы «Буйный» и «Бравый» и стали подбирать плавающих людей. Им удалось спасти около четырехсот человек. А остальные все остались под водой.

И еще остался один — адмирал Фелькерзам в своем запаенном цинковом гробу. При опрокидывании броненосца гроб всплыл на поверхность моря. За него некоторое время, спасаясь от смерти, держался какой-то матрос. Он был подобран миноносцем. А гроб с мертвым телом продолжал плавать, одиноко качаясь на волнах, словно покойный адмирал решил до конца присутствовать при разгроме нашей эскадры.

---

# Санаторий

Повесть

НИК. АСЕЕВ

(Продолжение<sup>1</sup>)

В а с я

С лошадью ездит рабочий Вася. Ему года 23, он низкоросл, добродушен и недалек. Взъерощенная голова его рано наметившимися складками на щеках похожа на голову утенка, окунувшегося только-что и взъерошенного водой. Вася вечно мокрый от усилий, от торопливости, от напряжения. Манька кокетничает и с ним: «Здравствуй, Вася, ты меня любишь?» «Любить—это дело легкое»,—со смешком отвечает Вася. «Скажи, Вася, а я хорошенькая?»—«Какая же вы хорошенькая, когда вы туберкулезная».—Вася врет безбожно, потому что он на самом деле жалко вздыхает по Мане. «Вася, а я завтра домой уеду!»—пугает его Маша.—«Как, совсем?»—быстро ловится на удочку Вася: его голос звучит огорченно. «Ну да, совсем»—толкает легко в бок Маша.—«Вот какое дело,—тянет Вася,—куда же поедете?»—«Я-то?»—«Да, вы-то?»—«Я в Тамбовскую губернию».—«А-а-а! это конечно,—неопределенно бормочет Вася,—Тамбовская губерния, это самая»,—он не знает, как похвалить Тамбовскую, как выразить ей предпочтение перед остальными. «Да нет, Вася,—бузит Маня,—я в Москве буду».—«Ага!—не удивляется нисколько Вася.—В Москве. А где же это в Москве-то?»—«В Москве-то на Серпуховке».—«О! на Серпуховке, знаю, знаю,—поддерживает разговор Вася,—это вам на 10 № ехать надо или на «В», ну да, на «В»; прямо отсюда и на «В».

«Вася, а вы по мне будете скучать?»—«Мы-то? будем, конечно».—«Значит, я вам нравлюсь». Вася не выдерживает пытки и дипломатично отводит разговор в другую сторону. «Нравится! мне одна тут девчонка нравилась. Да не взумел я за нее ухватиться».—«Как же так не взумел, Вася?»—«Да так, закапризничал».—«Ну, ну, расскажите».—«Да вот видите ли, я мыло варил, жил у хозяина. А у него была дочка. Солидная такая барышня, семнадцатилетняя, кровь с молоком. А хозяин-то бессыновный, вот он и вздумал меня, конечно, к своему делу приучить. Ну, у него пять работников, кроме меня, а дочке я нравлюсь. Он меня и так и сяк, и жалованье прибавил, и за стол сажает. А я фордыбачусь все больше, требую то за сверхурочные, то за отпускные. Наконец, совсем закапризничал—расчет стал требовать. Ну, он видит, что я как в роде неблагодарный, и отпустил меня. Да. А я-то ошибочку маленькую дал. Мне бы за эту девчонку держаться, вот, может, и жил бы теперь сам хозяин. А тут, значит, и вышла ошибка. Теперь-то уж поздно. Я был у них. Другого нашли. Мыло все так же варят».—«Ну, ничего, Вася, зато вы рабочим остались, а не частником сделались».

<sup>1</sup>) См. «Новый Мир», кн. 8-9

— Да, это так, конечно. Ну, однако, я женился. Я ведь женат был.

— На ком, Вася, на той девушке с мылом?

— Нет, зачем; вам же я говорю, ошибочка вышла. А это, жена-то моя—по знакомству мне сосватали. Две недели я с ней прожил.

— Что же так мало, Вася?

— Да она ушла, обобрала меня, стерва, и ушла.

— Как же та-ак?

— Да так вот, по знакомству. Тоже молоденькая, лет 17. Солидная. Я очень люблю солидных, чтобы полная была.

— А я Вася солидная?

— Вы! Вы как бы в роде не поймешь. Однако, ничего.

— Ну как же, Вася, она вас обобрала?

— Да так. У меня комната три сажени, на втором этаже. Прихожу я вечером с работы, а дверь открыта и вещей нет. У соседей спрашиваю, почему дверь открыта и где, дескать, жена? А соседи говорят, да она у тебя увязала все и уехала на извозчике. Вот стерва какая. А я ее с тех пор и не видел. По знакомству.

— Вы, Вася, партийный?

— Нет, ну его. Я к этому не касаюсь.

— Почему же?

— Да так, пускай его. Я никого не трогаю и обижать не хочу.

— Да при чем же обижать. Ведь вы же рабочий, вот и должны быть за рабочую власть.

— За власть мы стоим, то-есть за государство. Тоже на заем я больше всех, на все жалованье подписался. Власть мы поддерживаем.

— Отчего же не в партии, не в комсомоле?

— Нет, я этого не касаюсь. Знаю сам, которые в партии, а он вот во время восстания с белыми был. Ну вот это нужно раскрыть, а то он может вреда наделать. Нет, этого я не касаюсь, никого обижать не хочу.

Так Вася и стоит на своем. Гроза ползет по небу, и дождь становится завесой между нами и Васей.

## К о л я

Постепенно, по мере пребывания больного в санатории, биографии раскрываются перед ним, как лопнувшие перекрученные стручки акации, без всякого усилия. Здесь, где страдание приняло форму общественную и затяжную, где с кашлем и хрипом давно примирились, как горожане со звонками трамвая, где для описания оттенков мертвенно-румяных лиц, румянец которых сразу наложен на смертную прозелень, потребовался бы новый Гойя, — привыкаешь к самым грозным маскам человеческого отчаяния.

Сейчас, когда я шел записывать рассказанную мне им вчера биографию его жалостной жизни, он проснулся и взглянул на меня круглым взглядом страдающей обезьяны, как-будто понимал, зачем я иду. Вообще он понимает гораздо больше, чем можно предположить, относясь к нему поверхностно. В нем, несмотря на косноязычие, на полуграмотность (он только в санатории начал учиться), есть какая-то врожденная интеллигентность.

И когда он ходит в своей черной распоясанной рубаше, уродливых галифе, сшитых из милости каким-то деревенским портным, в длинных и узких кавалерийских сапогах, натянутых на худые, не-

мощные ноги, все же в этом уродливом наряде он хранит в себе черты какой-то непокоренности, которую я бы назвал упорядоченностью человеческого одиночества и покинутости. Он и похож в своей одежде на Робинзона Крузо, вынужденного носить грубо сшитую одежду не потому, что он не умел носить другой, а потому, что другой не было. Так вот и этот Коля. Лицо у него намученное, без краски, даже губы бледные до синевы. Головка стриженная на исхудавшей шее. Крылья носа выворочены наружу. Вялые уши и отчаянно раскрытые глаза, — что можно отметить на этом бедном лице, пустынном и чахлом, как солончаковая степь.

Печаль, возбуждаемая его видом, была того сорта, что обязывает и поднимает в душе какой-то смутный осадок вины за изуродованную человеческую жизнь, что гниет рядом с тобою. Поэтому, я думаю, все относились к Коле с жалостливой внимательностью. Оля из женского отделения учила его грамоте, вся веранда оплачивала коллективно его расходы, когда ему приходилось принимать участие в экскурсиях. Жалел его и больной, дававший ему фрукты и конфеты, приносимые своими. Неизвестно, какими причинами руководился Коля, но только именно мне пришло ему в голову рассказать свою «жалостную и несчастную жизнь», как он определил ее сам. И, уведя меня однажды в парк, шопотом, точно заговорщик (ему было запрещено разговаривать громко из-за туберкулеза горла), волнуясь и сбиваясь, упрямо возвращал мое внимание к основной линии своего повествования.

Что осталось у меня в памяти от этой биографии? Начало, детство, завязавшееся под серым небом в слякотной убогости средне-русской деревни. Мрачный, как холодное печное устье, отец, возненавидевший из шестерых детей двух: Колю и следовавшую за ним сестренку, возненавидевший лютой ненавистью большого воображения неудачника, взревновавшего женщину прошлым числом, по смутным подозрениям, совпадениям, догадкам.

Нелюбимые дети, выгоняемые из избы на мороз во мреть, непогодь, неприятность и слякоть босоногих унылых дней. Отец жуток и черен. Он гонится с ножом за матерью и детьми. Мать из окна украдкой кидает выгнанным ломоть хлеба, быстро запрятываемый под рубаху скрывающимся за угол сыном. Отец его ненавидел все лютее. «Пастух» — так зовет он его, подзревая, что он — сын пастуха.

Нелюбимая дочка еще мала, чтобы выгнать и ее. Однажды Коля прибегает к избе, вокруг которой суетятся люди. Отец зарубил мать. Топором рассек ей плечо, перебил два ребра, отсек пальцы трехлетней дочери. Колю он не подпускает, говорит, что зарежет и его. Отца вяжут, сажают в холодную. Но это — время революционной сумятицы; отец скоро выходит из-под ареста. Коля уходит в батраки, а потом поступает на Кольчугинский завод подручным каменщика. На заводе же служит и его отец, который считается мастером первой руки. Так, в бараках живут отец и сын, не признающие права на существование один другого. Отец, зарабатывающий хорошо, не дает в дом ни копейки: болезненная запоздалая ревность рвет его сердце в клочья. Редко приходя с завода домой на побывку, отец устраивает дикие погромы собственного дома, выбивая стекла и рамы, круша и проламывая домашнюю утварь и посуду. Коля крадет за ним издали, наблюдая, чтобы притти на помощь родным в случае несчастья. Отец подозревает жену в близости со свекром. Он грозит убить девочку, якобы прижитую ею с его отцом. Коля стерег его каждую отлучку с завода. Однако, отец ушел один раз с завода

так, что Коля не заметил. Испуганный мальчик бросился расспрашивать соседей, где отец. Ему сказали, что тот выпил стакан вина, заплатив за него шинкарю пять рублей без сдачи, и ушел в деревню. Коля проселками помчался ему наперерез. Догнав его, он шел сзади него в десяти шагах, умоляя не трогать мать и сестру и не разбивать домашний скarb. Отец, оборачиваясь, бросался к нему, как волк к преследующей его собаке. Тогда Коля отскакивал в сторону. Однажды отец нагнулся к голенищу, вытащил из-за сапога финку и погнался за сыном. Так бежали они по вспаханному полю с версту. Хорошо, что сын догадался снять с себя сапоги, — это спасло его. Отец был в сапогах, и комья мягкой пахоти скоро облипли на них, отяжелив его бег. Отец прекратил преследование. Коля пробрался задами, опередив отца, предупредить мать. Та, забрав дочку, ушла к соседям. Отец перебил снова все в доме, грозясь так же поступить с женой и дочкой. Тогда Коля, забрав сестренку, пошел заявлять в соседнее село в милицию. Когда они шли по-над оврагом, краем которого вилась дорога, в стороне от нее, на зеленом бугорке, они заметили спящего после буйства отца. Они боялись пройти мимо него. И вот Коля отослал обратно сестренку домой, сказав, что он пойдет в милицию один.

Дойдя до этого места рассказа, Коля как-то особенно взволновался, посмотрел на меня испытующе, сказал тихо и грустно: «Ну, вы, должно быть, догадались уже, что я, значит, ударил его».

— Как ударил? — спросил я, — до смерти?

— Да, до смерти! Я как вспомнил мать и сестру с отрубленными пальчиками, как увидел, что он у меня на дороге лежит, так взял камень и ударил его.

Рассказывая об этом, Коля несколько раз повторил, что он ни в чем плохом не замешан, не воровал никогда и хотел жить «почестному». Это он подчеркивал особенно, очевидно, мучаясь, чтобы его не приняли за убийцу из низших побуждений.

Его судили, как несовершеннолетнего, осудили на полтора года, срок по амнистии был сокращен, а кроме того, судившие и в дальнейшем наблюдавшие, очевидно, поняли, что в первую очередь нужно не наказывать, а лечить это хилое, замученное тело, эту изуродованную психику, все же судорожно цепляющуюся за жизнь «по честности», за упорядоченное человеческое существование.

Зачем он мне рассказал все это? Он говорит, что ему тяжело то, что никто об этом не знает. Очевидно, его мучает совесть, ему хочется поделиться тяжестью давящих его воспоминаний. В санаторий он попал по путевке союза металлистов.

В Америке его посадили бы на электрический стул, как отцеубийцу. Во Франции сослали бы на галеры. У нас его лечат и учат грамоте.

Его койка стоит рядом с моей. Мне не страшно спать с ним бок-о-бок, потому что я вижу его несчастные широко раскрытые глаза, умоляющие разделить с ним тяжесть навалившейся на него судьбы.

Нужно что-нибудь сделать для него, так как 11 рублей социального обеспечения, получаемые им, конечно, не дадут ему возможности жить «по честности». К тяжелой работе он не пригоден со своим двусторонним плюс горловой процессами. Даже, если его вылечат, необходимо дать ему работу на воздухе: в совхозе или даже в городе, в газетном киоске. И тогда искривленная биография его, мне кажется, сможет выпрямиться. А санаторий, возвративший ему хоть частицу потерянной крепости и обучивший его грамоте, будет для него тем чистилищем, которого жаждет его душа.

## В о л к о в

Волков похож на младотурка. У него прекрасные черкесские грустно-лукавые глаза; из-под густых ресниц он бросает длинные смущенные взгляды, точно горная красавица. Рот его с полными красиво очерченными губами чист и опрятен; над верхней губой по-американски обстриженные усы. Волков — бывший меньшевик, рабочий того же Подольского завода. Но сейчас он мало активен и старается скрыть свою политическую искушенность. В деревне у него есть хозяйство, о котором по утрам ведутся споры с комсомольцами Сидоровым и Шишкиным. Волков доказывает, что хозяйство это убыточно и ведется только в силу привычки. Комсомол поднимает его насмех, вокруг образуется группа спорщиков, поддерживающих ту или иную сторону. Когда Волков волнуется, он чуть-чуть бледнеет, левая скула и левый глаз его подергиваются легким тиком, черные зрачки расширяются, и он становится похож на обиженного мальчика. Лет ему 40.

Но вовлечь его в имущественный спор удается редко. Чаще всего он скользит стороной, словно тень, в своих мягких туфлях, уронит несколько слов, разжигающих страсти, а потом, лежа на койке, начинает острить. Остроумен он очень, и это — его способ защиты и нападения. Остроты его в большинстве случаев солены и невоспроизводимы в печати, как и, впрочем, все почти разговоры «по душам» мужского населения санатория. Вот несколько разговоров его из наиболее приспособленных для печатной передачи.

Волков подшучивает над Витюшкиным, огромным обидчивым парнем, бывшим кучером, ныне кустарем, по поводу полученной тем телеграммы о родах жены. Нужно сказать, что такие телеграммы не редкость в санатории. Их дают приятели и родственники больных, чтобы тех отпустили на день домой «погулять», чего санаторный режим, конечно, не может допустить. Вот над одной из таких безрезультатных телеграмм и подшучивает Волков. «Витюшкин! Говорят, у тебя прибавление. Позови меня-то в кумовья!» Волков бросает по сторонам темные, лукавые взоры, как бы приглашая в свидетели окружающих.

Витюшкин раздражен отказом в отпуске, кроме того, он не признает шуток. Его деревянный голос грохочет над всем столом:

— Когда у меня кобыла ожеребится, тогда я тебя в кумовья позову!

Волков отвечает смущенно, как бы побежденный противником:

— Так-так! Ну вот спасибо. А ты запомнил, Витюшкин, срок-то, когда это будет? Т.-е., когда ты на кобыле-то женился?

Повальный хохот всего стола вознаграждает его находчивость. Слова он произносит певуче и округло, раскалывая слова, как каменные орехи, своими крепкими белокаменными зубами. Он чуть-чуть приоткивает, но выговор у него московский, легкий, плавный. Он любит иногда вдруг с необычайной чистотой произнести какое-нибудь иностранное слово. «Генияльно», — говорит он. — Это ты генияльно поступил! — при чем «я» у него звучит не мокро, а чуть влажно, лишь смягчая переходящее в него «а». Вспоминая окончившего курс лечения товарища, Волков говорит: «Он теперь уже на деревне реагирует!» Но неточность употребленного значения слова кажется им предумышлена. И он сам любит эффект чистоты своего произношения: «Реагирует теперь» — повторяет он, упирая на «г».

За столом он сидит прямо, по-мальчишески, искоса оглядывая ближних и дальних соседей, ища, на ком еще остановиться, чтобы

побалагурить. Чаще всего останавливается его взгляд на Артынове, сидящем напротив него раздатчике пищи. Это — здоровенный на вид парень с низко растущими волосами, приплюснутым носом, тот самый, у которого вытатуирован на грудях крест с ангелами. Он жаден в еде жадностью много голодавшего беспризорника. Он норовит всегда с'есть лишнюю порцию, несмотря на то, что ему и так дают усиленный стол с добавочным блюдом. Служит он шофером госспиртовского грузовика и развозит водку по району. Эта профессия как бы накладывает отпечаток на все его интересы. Он хулиганистый парень и сам рассказывает, как умирят они строптивых продавцов госспиртовских лавок, не желающих покрывать бутылочного «боя», который они должны зарегистрировать. На следующий раз такому непокладливому продавцу всучивается дюжина пустых бутылок с аккуратно вырезанными донышками. В суете проделка эта проходит незамеченной, а поплатившийся продавец в следующий привоз уже усмирен и подпишет любое, впрочем, строго нормированное количество «битых» бутылок, которые и поступают в пользу шоферов.

Несмотря на всю эту простоватость его природы, у Артынова задатки какой-то первобытной общественной, вернее, артельной ответственности. Как уже сказано, он раздатчик — один из распределяющих пищу по тарелкам с общего блюда. Стол разделен на десятки, и на каждый десяток обедающих полагается один такой раздатчик. Артынов всегда старается наложить тарелки верхом, наливает суп да краев, не оставляя себе. Правда, он знает, что ему принесут нехватившую порцию, но все-таки это придает его характеру какой-то оттенок заботы о других. Так вот, к этому Артынову чаще других обращается Волков.

— Артынов! — говорит он, сладко усмехаясь, но глаза его печальны и сосредоточены, — ты, Артынов, уже не забудь-то, пожалуйста, меня! Как выйдешь из санатория, с'ейчас же четверть с грузовика спусти, мы ее на лужайке и разопьем!

Артынов, красношей ломовик, ржет, звонко и высоко заливаясь детским смехом. Вообще темы о вине и женщине способны вывести из хмурости самых неподатливых. Стоит заговорить о водке, весь стол с интересом поддержит, деловито обследует вопрос, просмакует, процедит сквозь зубы невидимую влагу. О водке мучительно сладко мечтает Иван Николаевич. Ему пятьдесят лет, мечтает он о выпивке вслух, сквозь промоченные спиртом навсегда рыжеватые усы. Его голубые добрые глаза устремляются при этом вдаль, видя где-то в прекрасном далеке зеленые отливы очищенной, так, как некоторые видят в мечтах море. Он вспоминает разные случаи выпивок в своей жизни, сорта водок, закусок, пив. Он обтирает ладонью свои усы, как бы крякнув после опорожненного стакана, и начинает страдать по бутылке, как влюбленный о первой девушке, — застенчиво, ярко и сладостно.

Потому на Артынове и останавливаются так часто собеседники. Он как бы несет за собой веянье очищенной, голубые полосы фосфоресцирующей сивухи, этот спиртовой серафим района. Полбутылки, бутылка, четверть — наиболее употребительные имена существительные в разговоре Артынова. (И все-таки он добр).

Кроме спиртного и соленого юмора, за столом процветает юмор гробовой. Это — шутки насчет крематория, относительно экскурсии в него, относительно того, когда кому туда отправляться.

Находились на этот счет такие шутники, которые, будучи безнадежными по состоянию своего здоровья, держали с азартом пари, кто из них раньше попадет в крематорий. Выплата должна была производиться честно после смерти выигравшего по его указанию остающимся. Подшучивали еще друг над другом, завещая недоношенные чуваки следующему кандидату в мертвецкую. Но это уже происходило, конечно, не за столом.

За столом же Волков, подталкивая ножом Иванова, затевает рассказ об охотнике и портном. Это его любимый рассказ, он его начинает всегда, как только за столом накопится достаточное количество новичков, не слышавших его.

— А то вот-то был случай, оригинальный, — говорит он, раскаявая слово своими белейшими в мире зубами. — Шел портной по полю с аршином. Да. С аршином. И вдруг ему поперек дороги — заяц. Прямо шагов десять, не больше. Портной на него прицелился аршином, а в это время охотник из-за пригорка-то увидел тоже зайца да как грохнет в него из двухстволки, заяц так и покатился. Портной видит, заяц убит, да и говорит: «Вот, мол, мать честная, какое дело. Двадцать пять лет с аршином хожу и не знал, что он заряжен!»

Волков осматривается исподлобья на произведенный рассказом эффект и углубляется в тарелку.

Несмотря на все его симпатичные качества, Волкова цепко вяжет какая-то деревенская худоба, какие-то бревна, какая-то собственность. Владение этой собственностью делает его враждебным ворчуном по отношению к современности. И когда вспыхивают летучие споры о злобе дня, — непризнании нас англичанами или захвате Китайской Восточной желдороги, — Волков роковым образом остается на стороне сплетников и пессимистов. Их немного, но они сразу определились меж населения веранды. Некоторые из них — рабочие, как, например, Иван Николаич. Но они обязательно связаны с землей, с деревенским хозяйством. Другие — бывшие челядинцы богатых купцов либо помещиков, закостеневшие в каких-то своих обидах и убытках. Но им возражают низовые партийцы и беспартийные рабочие таким дружным смехом и возгласами, что они умолкают. Особливо звонко нападает на них наша комса. Они лежат на веранде бок-о-бок — Шишкин и Сидоров. В том, что их положили рядом, тоже видна забота санаторской администрации. Шишкин повзрослее и посолиднее. Ему лет 19, у него красивое мальчишеское лицо, горбоносое, крепкоскулое, продолговатое. Говорит он уверенно, с апломбом, московским акающим говором, интересуется политикой, читает аккуратно «Комсомолку», комментирует прочитанное очень грамотно, тянется иногда и за «Правдой», где отчеты и доклады изложены стенографически.

Сидоров газетами увлечен меньше. Он вообще мельче — и телом и чертами лица и интересами — Шишкина. Но он цепче. Его маленькая вихрастая головенка с незначительной детской рожцей вертится во все стороны, как бы в поисках наиболее интересных сторон жизни. Неожиданно он вдруг прочтет отрывок из Байрона. Он вообще знает много стихов. И читает он уединенно, «для себя», накапливая знания и строчки. Он — одиночка, из которых выходили раньше поэты и капиталисты. «Выходили» говорю я потому, что в дальнейшем их «выход» непродуктивен для нашего общества осуществленной пятилетки. Одиночки, рвущиеся, из ряда вон «выходящие», могут только нарушать порядок этих рядов. Сидоров и в самом деле носит в себе кой-какие хулипанистые задатки. Он, например, нервен, упрям. Норовит



иллюнуть мимо плевательницы. Норовит выбить мяч из рук волейболистов. Пока это все лишь мальчишеская резвость, но в дальнейшем это может перейти в обычай, стать чертами характера, — и тогда, кто его знает, во что выльется его безусловная одаренность и недоужинность. Сказать кстати, Сидоров — бывший беспризорник. Теперь он продавец в магазине МСПО и комсомолец.

Двое молодых особенно активно набрасываются на Волкова в случаях его воркотни и подковыривания «партийных». Они клюют его, как галку, он защищается слабо и неохотно. На него их нападения действуют, напротив, лучше всяких логических выводов: он чувствует свою неправоту перед ними и, как человек колеблющийся, готов сдаться перед их натиском. По крайней мере, когда делали сбор на танк имени «Правды», Волков не только пожертвовал свои полтора целковых, но и вошел в комиссию по сбору.

Вообще говоря, люди в одиночку мало интересны. Только в массе, вот хотя бы в таком общезитии, на виду у всех начинают проявляться их подлинная подкожная окраска, их действительные внутренние черты. Хитрить, лицемерить, укрываться долго на людях невозможно, и внутренняя жизненная основа человека проступает довольно быстро в условиях общественного бытия.

Тем-то и интересен санаторий, что жизнь в нем, помимо телесного ремонта, зачастую капитального, дает еще и безусловную общественно-бытовую зарядку, выводя людей из семейных ячеек, их домашней упаковки, из обертки привычек личного, индивидуального порядка в более широкое русло стандартизированного режима быта и постоянной оглядки на других, живущих рядом с тобой, к выравниванию своего существования в линию рядом с твоими стоящих коек и столиков.

Дед как-то хорошо сказал на этот счет. Задумчиво подняв палец и причмокивая по обыкновению губами, сложенными в хоботок, он размышлял вслух: «Ведь вот как это странно! Вот мы говорим об индустриализации, делаем ее, проводим ее. Не жалеем денег на машины и это очень хорошо. А вот на ту машину, — Дед начинал нажимать на слова, — на ту машину, которая все машины делает, мы денег жалеем!» И Дед разводил в недоумении руками. И действительно — живой человеческий инвентарь у нас все еще ценится плохо и отбирется плохо. Правда, отборка его идет.

Лесин ушел давно. Васильев Мих. Мих., — недавно, и теперь на их койке рядом лежит актер Скороспелов. Он был раньше в театре Мейерхольда, потом, очевидно, не поладил там и теперь работает в Аквариуме. Он обладает внешностью напудренного замоскворецкого паяца. Белый, почти-что альбинос, но альбинос не ярко выраженный, он словно сделан из мягкой, пухлой, осыпающейся пудрой резины. У него на лице какая-то сыпь, он вечно присыпает щеки и нос тальком, кроме того, его одолевают фурункулы. Тоненьким голосочком он нежно и удивительно точно выпевает мотивы из «Роз-Мари» и еще каких-то оперетт. У него жена, которой он стесняется и прячет, когда та приходит по воскресеньям: так она толста и аляповата по внешности. Глядя на нее, кажется, что человек сам из себя сделал на себя же карикатуру. Скороспелов — шалопай, без малейшего чувства интереса к жизни, к тому, что происходит в мире. Он объединяется с наиболее худшими и пустыми ребятами на веранде. Целые вечера раздаются треск и дребезжанье балалаек и гитар. Они ходят с вдохновенно бессмысленным видом, повторяя одни и те же бесконечные мотивы Ама-

джаза и еще каких-то бывших в употреблении фокстротов. Среди них — Мурашкин, монтер, сорочье лицо-яйцо.

Сидоров говорит: тебе добра желают, в воду пихают, а ты зло помнишь: на берег карабкаешься.

У Гаврилина распух нос. Он сделался сизый и большой, точно нос у маски. Гаврилин был виден сбоку горизонтально. Он лежал, обмотав голову полотенцем «от простуды». Был несчастен и противен. Николай Родионович Синицин расцвел, как созревший прыщ: сделался игрив и эротичен. Берет яблоко и выскивает на нем непристойные складки. Пристает к женщинам. Поливает кактус. Собрал яблок и сахару.

## С м е р т ь

Разговоры о смерти среди больных носят какой-то нарочитый ухарски-циничный характер. То ли потому, что, боясь ее в глубине души, желают показать свое равнодушие к ней, то ли просто по недостатку фантазии, но большинство разговоров о смерти имеет именно такой шутивно-гробовой оттенок. Существуют специальные термины для нее: когда хотят сказать, что человек умер, то никогда не скажут так, а описательно: свернулся или загнулся. Это неуважение к мертвецу, это молодечество перед смертью может иметь еще и другую подоплеку — полное отсутствие сентимента и мистического страха перед ней среди людей, собравшихся в одну кучу. Но иногда это напоминает и беззаботность обезьян, не обращающих внимания на только-что подстреленного товарища и продолжающих свою возню.

Шутки насчет крематория, насчет того, как будет гореть прибавивший в весе, насчет того, за кем придет карета из крематория раньше, относятся к тому же разряду ухарства, молодечества, заигрыванья с неизвестным. Они, фамильярничая со смертью, точно хотят освоить ее, ввести с свою среду. И тогда люди становятся похожими еще более на механических двигателей, у которых завод энергии вырывает из горла бессмысленные звуки, складывающиеся в раз навсегда заштампованные, навсегда приготовленные, бесконечно повторяемые сочетания слов.

Артынов — шофер госспиртового грузовика, парень с головой, выстриженной фашистской прической, с приплюснутым носом и нечистым голосом (у него туберкулез гортани) — стоит в умывалке и заливается счастливым хохотом, запрокидывая голову. Перед тем в ночь умерла больная, семнадцатилетняя, умная, красивая девушка. Умерла неожиданно от спонтана в обоих легких. Мартынов стоит, расставив ноги, и хохочет, будто горло полощет. «Чего ты ржешь, Мартынов?» — «Да как-же, эта-то, хо-хо-хо! Больная-то, Клара-то Ха-ха!»

— Что Клара? Клара же умерла?

— Ну да. Загнулась! Была, была жива и вдруг завернулась! — И Артынов продолжал сотрясаться в припадках отчаяннейшего одинокого веселья.

Когда после за столом видевшие это рассказывали про его странную манеру веселиться, говоря, что он смеялся оттого, что-де «жила, жила Клара да и умерла», Артынов хмуро, почти зло посмотрел на рассказывавшего и горячо запротестовал, очевидно, задетый за живое.

— Неправда! Ничего подобного, не так я говорил. Я сказал «не жила, жила да умерла», а — жила, жила да и загнулась! — Очевидно, в соблюдении терминологии и был тот оттенок юмора, который был понятен лишь несложной душе Артынова.

Когда над ним продолжали подшучивать и он понял суть отношения к нему, он возражал.

— Мой отец в мертвецкой работал, как дрова их таскал.

Так шофер госспиртовского автомобиля разоблачил культ почитания мертвых.

Но интерес к смерти все-таки был болезненный. И, несмотря на внешнее ухарство, люди с жутким любопытством прислушивались и присматривались к уторопленным шагам сиделок, озабоченным лицам врачей, разговаривали в случае, если к кому-нибудь приближалась смерть.

Облик Миликьяна впервые возникает в сознании, как облик кустаря-одиночки, или, пожалуй, даже мелкого частника, не очень сопротивляющегося госкапитализму и склонного перейти на службу к нему. Это был аккуратный черноватый человечек, с той медлительной томностью взоров, матовой бледностью кожи, смолистой чернотой волосяных покровов, которые свойственны народам юга. Но личной его чертой была именно эта какая-то умеренная аккуратность, некоторая вялая добропорядочность, которые как-то характеризовали его неуверенность в жизненных силах, слабую волю к жизни.

На свидание к нему приходили такие же красивые, но малорослые, как и он, люди, женщины с добродушными, матово-бледными лицами. Говорили, что он поправляется, что хочет скоро уехать на юг, в Сухум, закрепить лечение пневмотораксом. Он бродил по парку в трусиках и майке—летней одежде больных; играл в кружки и шашки, попал в стенгазету, где про него местный поэт сочинил четыре строчки, почему-то назвав его «Миликьяном из торгпредства», «прохватив» заодно с ним и легкомыслие двух юных существ:

Эльвира с Соней вон из детства  
Выходят прямо на глазах.  
За Миликьяном из торгпредства  
Бегут обнявшись впопыхах.

Из чего читатель должен заключить, что особа Миликьяна была располагающей.

И вдруг у Миликьяна начались кровохарканье и температура. Вначале на это никто не обратил внимания: на террасе часто бывало, что у того или другого больного шла кровь, и его укладывали на несколько дней в постель.

Несколько дней прошло, а температура не падала и кровь не останавливалась.

Среди больных начали сочувственно поговаривать, что Миликьяну плохо.

Вскоре его перевели с террасы в здание, в палату.

Второе впечатление от него — это подушка. Подушка с кислородом, с которой суетилась его сестра, узколикая, черная, как-будто прокопченная насквозь девушка.

Подушка была узкая, серая, с резиновой тонкой трубкой, идущей от одного из углов.

Когда больные увидели эту подушку, было сразу решено:

«Миликьян загнется».

Сведения, просачивающиеся сверху из здания, были плохие. Кровотечение у больного не останавливалось. Температура не спадала.

Из случайного отрывка разговора врачей до слуха донеслись обрывки фраз: «Жидкость в легких» и «пневмония».

На террасе сейчас же расшифровали это слово, и весть о воспалении легких у Миликьяна обошла террасу и павильон. Наверху в здании образовалось ежедневное паломничество больных из парка. Ходили по-двое и в одиночку по коридору, мимо места в нише, где за ширмами лежал умирающий. Дежурный врач и сиделки почти непрерывно находились при нем. Ширмы были старинные, еще времен прежних владельцев дома; наверху в красное дерево были вставлены дорогие граненые стекла. Через них было видно зеленоватобледное, почерневшее от небритой бороды лицо больного с огромными лучающимися темным антрацитным блеском глазами. Больных гнали от этого места, но они, как коровы на том месте, где пролита кровь, толпились, влекомые жутью близкого конца человека. Конца, который был недалеко от каждого из них, в котором они с мучительным любопытством разглядывали свою будущую судьбу.

Врач рассказал, что у больного воспаление легких, вызванное непрерывным кровотечением из лопнувшего кровеносного сосуда в легких, остановить которое не удается никакими средствами. Рассказывая это, врач — это была Л. М. — утирала украдкой покрасневшие веки.

Ее спросили: неужто она не привыкла к смертям?

— Каждый раз жалко! — ответила она отворачиваясь. — А в особенности жалко, когда человек-то уже поправился. Ведь мы его считали уже спасенным. Легкие уже рубцевались. Вдруг это маленькое кровотечение и — никакой сопротивляемости организма. Никакой.

Наконец, зябким дыханием по стенам прошло чье-то сообщение, что сегодняшней ночи Миликьян не выживет. Кажется, был запрос о его здоровье по телефону, услышанный кем-то из больных, и ответ дежурной сестры, что конец в эту ночь.

Над зданием, верандой, павильоном как-будто нависло серое, пыльное, огромное крыло летучей мыши.

Даже самые дубоватые присмирели.

Ранний вечер заполнил тьму коридоров и парка электрической мутью, но как-то не вытеснил темноты.

Люди овцами жались друг к другу, расхаживая и сидя группами.

Раньше, чем обычно, разбрелись по койкам.

Последним сообщением был чей-то рассказ о событиях наверху. Умирающий метался в бреду, благодарил врача за какой-то подарок, сжимая подушку с кислородом, призывал уничтожить каких-то генералов.

«Бейте генералов!» — кричал он истерическим криком и, сейчас же переходя на шопот, прижимался щекой к подушке, сжимая ее рукой и бормоча: «Вот спасибо вам, Николай Иванович, за подарок! Эту подушку я буду беречь, я повезу ее домой, это прекрасная подушка и вышита с таким вкусом!»

Сон на террасе в эту ночь был тревожный и прерывистый.

Смерть Миликьяна пришлась на дежурство неудачливого Н. И. Утром, когда больные проснулись, на дворе под ранним солнышком уже был разостлан матрас.

Его сразу узнали почему-то: это — матрас из-под Миликьяна.

А койка Миликьяна уже была убрана. Все стало на свои места. И следов вчерашнего беспокойства не было видно.

Сестры, дежурившие при нем, рассказывали, как он умер, не приходя в сознание, в тот самый час прошлой ночи, когда больные засыпали.

Как кричал и звал в бой каких-то видящихся ему товарищей. Как вызывал их по-одиночке, и сестра отвечала ему за них разными голосами.

Как Н. И. хотел ему вспрыснуть камфару, но по совету сестры вспрыснули морфий, чтобы не приводить больного в сознание. И Миликьян выбыл из списков больных санатория.

На другое утро в просмотровой еще лежала его подушка с кислородом.

Потом и ее унесли.

Да еще дня через два принесли письмо на его имя, которое кем-то из больных было предложено доставить «на тот свет».

Да Артынов еще захохотал как-то за обедом, вспомнив Миликьяна. Когда его спросили, чего он веселится, Артынов ответил по-своему логично:

— Вспоминаю Миликьяна, как он жил, жил, да и окочурился! — Ему сказали, что тут собственно смеяться нечего.

Артынов обиделся и возразил: «А что тут особенного? Жалеть его нужно было, как он живой был. А так — чурка и чурка. Разве кто насчет религии уважение делает. Ну, а я насчет религии не понимаю!»

Да Мурашкин — весельчак и председатель общества вралей — покрутив головой, как-то сказал с сожалением:

— Эх! Как вспомню я Миликьяна, как он со мной в шашки играл. Бывало, говорит: «Ты что, Мурашкин, все мать, да мать. Ты не говори мать, а то я играть с тобой не буду».

Затем память о Миликьяне замерла.

И смерть его прошла, как слабый след ногтя на коже, — царапина, постепенно сливающаяся с цветом остальной кожи.

И люди, как обезьянки, напуганные метким выстрелом смерти, вырвавшим из их среды товарища, поволновались немного, успокоились до следующего случая, который напомнит каждому о его собственном конце.

От иных фигур остаются в памяти только отдельные движения, жесты, выражения лица. К человеку нужен ключ: не подобрав его, никак не отопрешь и не поймешь механизма его внутреннего устройства. От Григорьева, например, осталось только движение котенка за клубком, каким он бросался на мяч, залетавший с волейбольной площадки к нам, в круг играющих в кружки.

Какой-то парикмахер проделывает наискось в памяти. Он курировал со штатным парикмахером «Высоких гор».

Киномеханик играл в пинг-понг. Медленными движениями, исполненными достоинствами, никак не попадал в шаг под команду на физкультуре. И еще и еще какие-то обрывки людей, а не самые люди. А вот учительница из страны Коми запомнилась вся. Муж зырянин. Трое детей далеко на севере. Ей нравится больше своя скучная природа и обстановка сказочной провинции.

Внизу были кабинеты врачей — бывшие гостинные и деловые кабинеты владельцев этого дома, Найденовых. В памяти больного отрывки событий и фамилий. Найденов был драматург, написавший пьесу «Дети Ганюшина». Очевидно, он был из этих Найденовых, и действие «Детей Ванюшина» должно было происходить в этом доме. Столы красного дерева и тяжелые стулья с запрокинувшимися спинками, крытые лаком, перемешались с белой санаторной мебелью.

## 4

Человек попал сюда в результате длительных и упорных схваток с жизнью. Его волосы побелели раньше срока, потому что он хотел ускорить этот срок. Человек был близорук и наивен, ему хотелось мыслимое и предполагаемое видеть за существующее. У него была дальнзоркость фантазии, если только существует такая болезнь. Позже, когда он узнал других «ближе, чем я», он восторгался всякой перемене, всякому слабому дуновению жизни, принимая его за уже пронсящийся вихрь освобождения и новизны. На самом деле жизнь изменялась туго и медленно. Старое перегорало тупо и упрямо, дымясь и сопротивляясь. Оно мстило за себя всякому, поверившему в его гибель. И в конце концов не побеждал никто. Старина сливалась с новизной, и пошлость становилась в соглашение со свежестью. При чем пошлость оказывается старинным словом, равнозначным традиционности. Пошлость это то, что «пошлѳ», повелось, установилось истари. Так что пошлым человеком был всякий человек, сохранивший связь со старыми обычаями, туго поддающийся новизне. А таких было большинство, большинство упорное и пугающее той самой своей массовостью, именем которой клялись на всех перекрестках критики и идеологи. Все это было так запутанно-непоправимо, что оставалось только ожидать «течения времен». А это была уже сдача на милость победителя. И вот этот санаторий, как бы в насмешку, тоже в традиционном доме стиля московского ренессанса, построенный архитектором Джильерди.

## 5

Но внутри санаторий был приветлив и чист. Сырость тяжелых сводов продувал сквозняк всегда открытых окон. Медперсонал был подобран кропотливо и внимательно. Сестры и врачи, няни-хозяйственницы, — все были приветливы и ласковы к больным; у всех у них за долгий опыт выработалась та особенная ровная заботливость тона, заинтересованность жеста, которая так нужна человеку, теряющему веру в жизнь, в здоровье, в помощь.

Да и вся жизнь в санатории текла равномерно, упорядоченно, как разворачивающаяся пружина стальных часов. Чистота кухни, палат.

Больные. Степа.

Степа, Степочка — эти ласковые, уменьшительные имена идут к его 20 лесным годам, к его ладной, хорошо развитой фигуре с крепко посаженной черепной коробкой. Круглоголовый, с приплюснутым носом, медвежьими глазами и наивными детским припухлым ртом, Степа неказист лицом. Но его добродушие и огорченно и быстро лопочущие губы привлекают к нему всех. Кожа на теле его чиста и бела, а на лице усажена такой густой рябью веснушек, что похожа цветом на шелушистую сосновую кору.

Степа — лесной сторож, а в прошлом пастух. Каким образом получил он туберкулез, все время проводя на воздухе, — загадка. Степа добродушен и безропотен какой-то детской безропотностью к внешним огорчениям и обидам. И вместе с тем он очень деликатен внутренне. Например, он беспокоился, спрашивая у врача, можно ли ему будет служить в пастухах. Когда врач спросил, почему же нельзя, Степа заявил, что он ведь переходит на довольствие с одного двора в другой и, значит, может заразить тех, у кого будет кормиться.

Врач ответил ему, что лишь бы сам он не заразился бытовым сифилисом, а ему заражать бояться нечего.

Утро. В умывалке стоит один Степа и быстро, быстро бормочет что-то. Я прислушиваюсь к его скороговорке, он повторяет: «Ах ты, Степка, ты, Степка — Степочка — Степа — Степа растрепал, губы растрепал и все растерял». Эта присказка должно быть говорилась ему в детстве материю.

Играют в домино. Степа долго думает, какую кость ему поставить, говорит сам себе: «Степа, думай, думай, пожалуйста! Будешь думать — картуз куплю!»

Рядом с ним лежит Иван Петров — инженер, как он говорит, один из трех спецов по подводке токов высокого напряжения. Он молод, недурен собой, но как-то странно бескостен. Он задирается со всеми, острит жалостно и неудачно. Ему приносят большие передачи, он вечно что-нибудь держит за щекой — то конфету, то кусок яблока. Степа любитель лакомств. Петров дает ему конфеты и фрукты «за кашель». Ночью, когда свет потушен, Степа должен кашлянуть 10 раз. За яблоко 5 раз. В случае несвоевременной уплаты, Степа встает привидением над койкой Петрова и требует скороговоркой, угрожая отобрать все свое заработанное. Здесь не помогают простоты дежурной сестры. Степа упорен: «Я ведь кашлял, чего же он не дает. Давай!»

Петров расплачивается всегда с небольшой задержкой. Его не уважают и называют двухорловым пяточком.

---

Фанни Моисеевна уходит в отпуск на месяц. Мне в санатории осталось быть немногим больше и потому я хочу описать ее маленькую упрямую фигурку. Это у нее на стене в кабинете, где она производит процедуры, висит изречение, уже приводимое в начале повести.

Повешено оно, конечно, по инициативе Деда, но живой иллюстрацией к нему является Фаничка, как ласково уменьшительно зовут ее больные. У нее стриженные, уже чуть тронутые пеллом седины волосы. Маленькое, худощавое, энергичное личико вспыхивает часто девичьим румянцем. Она не вышла замуж, думаю, потому, что всю свою жизнедеятельность, всю свою энергию перевела сюда, в санаторий, на бесконечные схватки с туберкулезом всех стадий и видов, однообразие и ударяющийся прибор которого в эти стены отражается о гранитное спокойствие, работоспособность, упорство, неистощимость энергии этих людей — медицинского персонала под руководством Деда. И точно для того, чтобы сбить глупые рассуждения о старой «русской» интеллигенции, выковывывавшей фигурки в роде Деда, вслед за ним встает фигурка Фанички. (Ее золотистые бакенбарды — кажется, предмет ее огорчений — говорят о большом мужестве). Впрочем, вряд ли они ее огорчают. Внешность ее хороша свежестью и какой-то особой атмосферой труда, окружающей ее. 140 рублей в месяц, работа с 8 до 10 вечера ежедневно; работа по собственной охоте, по доброй воле, до полной усталости, иногда до изнеможения.

У больной женского отделения к вечеру вскочила температура. Двухсторонний пневмоторакс, восемнадцатилетний возраст пациентки, кавернозный двусторонний процесс, все заставляло беспокоиться о положении больной. Ночью обнаружился спонтан — прорыв плевры — в левом боку. Воздух хлынул между плеврой и легким. Начали

откачивать воздух, как откачивают воду, хлынувшую в пробоину тонущего корабля. Фаничка, Наталья Константиновна, сестры не спали у постели больной. Пока откачивали левое легкое, взорвался спонтан во втором, правом легком. Такие случаи крайне редки. Но здесь был именно этот редкий случай. Больная стала задыхаться. До утра боролась за ее жизнь Фаничка. Но случай был слишком серьезен, сердце не выдержало чудовищной перегрузки, к утру больная умерла.

В женском павильоне на другой день властвовали страх, слезы, смятение. Да и в мужском чуть-чуть нервничали. Вечные шутки о «крематории» приняли какой-то озлобленный характер. Фаничка на другой день была на работе после бессонной ночи такой же ровной, спокойной, внимательной ко всем врачебным манипуляциям. Она совершала обход, двигалась легко и уверенно, высоко неся свою стриженую седеющую голову. Она сделала все, что было возможно, чтобы отвести смерть. Она не побледнела и не раскисла от бессонной и неудачной ночи борьбы: ее воля и закалка сильнее одной неудачи. Она распределяет их на сотни проходящих через ее крепкие руки больных, за которых она бьется с чахоткой.

Наталья Константиновна, заместитель главного заведующего санатория, — выше. Общая черта — спокойствие.

Поляна, на которой стоит веранда, окаймлена склонившимися шатром деревьями. Похоже на то, что веранда—деревянный навес над настилом—это пароход, заплывший в зеленую воду меж островов, с которых склонились деревья.

В центре, подпирая небесную палатку, стоит живой, зеленой трепещущей колонной высокий тополь. Его поджатые в боках ветви летят вверх, как-будто он был долго сжат в тесноте с другими подобными ему. Амфитеатром от него расходятся ветви дуба, восьмисотлетнего великана. У начала кроны он связан—так он стар—железными ремнями, четырехкратно скрепляющими его главные ветви. Издали непонятно, для чего это сделано. И только когда подойдешь совсем близко, заметишь в глубокие расщелины коры, что древесина могучего дерева вся выветрилась и раскрошилась. Как это ни странно, но от всего его ствола осталась одна кора в три с лишним охвата окружностью, кора, на которой и держится огромная раскидистая веселая шапка кроны. Кора бугрится крутыми желваками, она крепка и скрипуча, и кто знает, сколько времени продержит она вершину. Если бы я не боялся обидеть дуб сравнением, я бы вспомнил о веселом, шумящем и самодовольном европейском обществе, также не хотящем знать, на чем оно держится, также издали похожем на зрелую силу и крепость далеко раскинувшейся кроны. Но боюсь дубовых обид и насмешек над вульгарностью сравнения. А дуб—все-таки полезное животное.

За этим деревянным борцом стоит его сын, быть может, или внук, меньше его размерами и крепкий еще стволом. Дальше идет род пинии, вывезенной из далеких краев и выросшей в этом парке как бы в порядке соревнования с отечественной флорой. Четыре дерева эти амфитеатром окружают веранду. Они склоняются над ней, как няньки над колыбелью, над огромной общей колыбелью в 40 коек, где ночами кашляют, бормочут, вскакивают больные, где утра тихи, а вечера сумасбродны и по-мальчишески шаловливы, где люди в самом деле превращаются в детей, вскакивая с постелей



после того, как ударит гонг в последний раз за день, вскакивают как стадо встревоженных моржей под разнообразные, понятные только здесь возгласы: Митюшкин! Митюшка! Провокатор! Тетя! Тетечка, тетенька! Митюшкин!

Затем наступает ночь.

Пусть не досадует читатель за то, что он встречается то, что он уже как-будто прочел раньше! В жизни повтор впечатления закрепляет его. Мне в санатории то, что я видел, встречалось по многу раз. Я хочу, чтоб и у читателя хоть один раз или два встретилась эта возможность прочесть, закрепить уже раз воспринятое.

Дед говорит, пожевывая хоботкообразной губой: «Да, вот как странно: на машины не жалеют денег — на ремонт, на реконструкцию, а вот на человека, на производителя машин, денег в обрез отпускают».

Шарифулин на волейболе: он обезьяноподобен, длиннорук, ему хочется присесть на корточки. Мяча он боится, а если попадет ему удар в руки, то он запускает его куда-то далеко в сторону. При этом круглая шарообразная голова его вертится как у удивленной птицы, а добродушнейшая ухмылка темноватого татарского лица смягчает неправильность полета мяча.

Важный киргиз сидит и цветет, как аютины глазки. Его глаза прорезаны бритвой, а скулы расставлены так широко, точно голова сплюснута могучим ударом сверху. Он красив на своих кривых ногах красотой орхидеи.

Все они не герои. Они не делают ничего сверхъестественного; с ними не случается ничего необычного, за исключением того, что температура их постепенно приходит в норму, палочки Коха при анализе исчезают и количество волокон также падает до полного исчезновения. И это и есть самое замечательное, что случается с человеком.

Вначале больные обнюхивают местоположение санатория, как кошки, обходя парк и внимательно осматривая каждый уголок.

## И с к у с с т в о

Книга перелетает с полки на полку с быстротой бабочки, облетающей цветник. Едва успеешь прочесть, как уже к ней тянутся жадные руки, листают страницы, разглядывают обложку. Жалко глядеть на такой интерес к ней, не пустишь ее по рукам. Вот книга: «Бои слепых» Поль Ваян Кутюрье. Издана она Гизом. Автор ее — коммунист. Но как у всех мелкобуржуазных писателей, революция у него смешана с похотью. Вот, по какому признаку следует отличать пролетарскую литературу от мелкобуржуазного окружения попутчиков. Раз «революция пахнет половыми органами», знай, что автор работает на потребу мелкой буржуазии, какие бы он проф- и партбилеты ни носил на своей груди. На этот раз книжка Ваяна Кутюрье была именно такого рода. От нее за версту несло недержанием семени. И все это с обличением послевоенного «общества» в разложении и упадке. Все это, не без таланта написанное, не без наблюдательности поданное, способно было сойти за первый сорт французского остроумия и легкости необыкновенной, но в пропаганде коммунизма эту книжку обвинить нельзя. Наоборот даже, в ней, в рассказе, изображающем купе спального вагона, русская эмигрантка не без успеха соблазняет фран-

цузского коммуниста. «Соблазны» вообще наполняют книжку. Она пользуется успехом на веранде. Удел «беллетристики», очевидно, и состоит главным образом во всевозможных видах щекотки. Эротической преимущественно.

Книжка летает по полкам, как бабочка. Но эта — легкомысленная — не смущает длительного, солидного и фундаментального покоя классика в руках слесаря Станицына. Слесарь Станицын человек положительный и тонких вкусов. Он читает Лермонтова, по целым часам просиживая с ним в парке. Сам Станицын за полста лет своего существования сделал все, что мог, чтобы украсить свою душу и обезобразить свое тело. Голова его сидит чуть криво на шее, точно сразмаху надетая на туловище снегового горбуна. Лысина, идущая до половины лба, вдруг натывается там на узкий переулок растительности и, минуя его сбоку, переходит во внутреннее море. Лоб, щеки, нос Станицына сияют от выступающего жира, распределяющегося странно и неравномерно на его неказистом теле. Вся фигура его внешним видом напоминает плод во чреве матери — так сильно развиты его живот, голова в ущерб остальным членам тела. Лопатки его выдаются наружу, способствуя постоянной сутуловатости, в то время, как живот рвется вперед, как надутый шар на каком-то традиционном празднестве. Усы и брови Станицына грязно-рыжего цвета и усугубляют впечатление неправдоподобности всего его облика, делая его лицо похожим на неудачно загримированного под резонера провинциального актера-любителя. Все это сооружение, смазанное маслом глубочайшего самоуважения, движется на тонких сравнительно ногах, что при санаторской прозодежде — трусы и майка — производит впечатление свежее-ощипанного попугая, важно шествующего в полной уверенности в своем блестящем оперении.

Станицын не расстается с классиками. В его руках безбидно дремлет том Лермонтова. Читает он стихи медленно, под ряд и без пропусков, вникая, очевидно, в сокровенный смысл произведений. Иногда подходит к людям им уважаемым и тихо просит разъяснения: от лица кого это написана, например, песня русалки? Когда ему объясняют, что, очевидно, от лица русалок, он деловито спрашивается, где существуют русалки?

В особенности же затрудняли его цифры и пометки сносок первоначальных вариантов, которые он читал под ряд, удивляясь, что там отсутствует рифма. Что делалось в его голове от такого чтения, понять и представить оказывается затруднительным, но при виде его становится понятным, на кого рассчитан лозунг «назад к классикам». Этот тихий и аккуратный помешанный был бы образцовым рабочим для хозяев. Его кругозор не шел дальше русалок, а мировоззрение ограничивалось жадностью к «красоте искусства». Что он был ненормален не только в своем об'едании Лермонтовым, что его тихое поведение было лишь особым видом идиотизма, тому свидетельствуют иные факты. Его эпикурейское обожание красоты выражалось не только в приклеенности к тому Лермонтова. Он ставил к себе в стакан положительные, «реальные» цветы — пионы, герани, георгины — и сбрызгивал их по утрам водой изо рта, как прачка белье. Он любил приодеться по праздникам в скромную, но чистую одежду, начищал ботинки до зеркального глянца, фиксатуарил рыжие войлочные усы. Что же, скажете вы: этот человек вовсе не так уж плох. Он не хулиган, не бузотер, не похабник — он тихий и скромный человек с порывами к управлению жизни искусством и красотой. Нет уж. Пусть лучше хулиганство и крик, и свист, чем такая тишина за-

цветшей «красивостью» лужи. Пусть какое угодно движение, чем этот застой и масляные пятна на лбу и щеках.

Странность его поведения особенно сказывалась за столом во время еды. Ест он много и безразборно, так же как и читает. Но особо вкусные кусочки оставляет, держа за спиной и унося потом в свой столик. Так, например, когда бывают сладкие пироги или ватрушки, он пьет чай и кофе с хлебом, в изобилии подававшемся к столу. Чай и кофе он пил без конца с одним куском сахара, ухитряясь выпить три-четыре кружки. Сладкий же пирог он уносил с собой, доедая его тогда, когда у других его не было. Иногда забывал съедать эти принесенные в нору ломаные куски. И однажды в корзине у него были найдены и разложены по койке под матрасом завалявшиеся, зеленой плесенью покрытые припрятанные куски сдобы, полусгнившие фрукты, обваленный в крошки сахар. Кем-то значит были учтены его слабости: страсть к сладкому, жирному куску, вера лишь в собственную предназначенность для этого куска— будет ли он куском сладкого пирога или куском сладкого стиха.

Этот кривой, как бесплодная смоковница, человек находится уже 30 лет на производстве, из которых лет 25—мастером. Он должно быть был известен благонаравием и умеренностью своих привычек бывшим хозяевам и администрации завода; впрочем, это только догадки. А действительно его черты не так просты, как кажутся первоначально. Он вспыльчив и многозначителен в своем гневе. Так, например, когда разыграли его в кусочки, он вплотную подошел к виновнику этой затеи и, взбужая от ярости, погнал его от своей койки. «Уходи отсюда!— крикнул он неожиданно грозно.— Уходи, а то вот так и тресну горшок об голову!» и поднял обеими руками горшок с цветком, стоявший у него на столике—предмет его утренних забот. Поднял так решительно, что наשמешники перетрусили и отступили: видно было, что и впрямь треснет, и когда он, надев свои круглые железные очки, склонял свою увлажненную лысину над стихами, его уже никто не трогал. Он был послушен и исполнителен в соблюдении режима. Возможно, что он был в действительности внутренне интеллигентнее его окружающих. Но эта интеллигентность была так старомодна, себялюбива и консервативна, что опять-таки скорей хотелось повернуться к полной безынтеллигентности Артынова или к величавой ребячливости Савкина. И когда Станицын старательно проделывал гимнастические упражнения по утрам, надев для этой цели майку, трусики и носки с носкодержателями, когда его кривые ноги путались в счете, выделявая вольные движения, может быть, он и был похож на питомца поэзии, но на питомца такого устаревшего и поэзии такой старомодной, что лучшей карикатуры на них придумать было бы невозможно.

Это был потребитель искусства. А вот и его производитель. Человек с очень сильно развитыми ногами и немощной верхней частью туловища, бледно-бесцветный, прыщавый, анемичный по виду, он ходит, вечно подергиваясь и подрагивая от треплющей его внутренней чечотки, чечоточной лихорадки, чечоточной пляски Вита. На его лице точно раскрыты три рта, так жалобно, по-галочьи голодно и бессмысленно огибающе устремлены на мир его лихорадящие глазки. Ноги его белы, крепки и толсты от постоянного упражнения в фожстроте, чарльстоне, чечотке. Губы влажны и красны; они постоянно присасываются в поцелуях к рукам встречаемых им женщин. Кожа лица нездорова. В общем с виду это жалкое и жалобное существо. Но оно ничуть не сожалеет о своей внешности,

и если и пытается разжалобить, то лишь для того, чтобы в следующую минуту овладеть положением, выманив с позиции соседа.

Вещи, которые он берет в руки, он как бы нюхает глазами — так близко он их подносит к лицу. Руки его вертки и извиваются, как присоски спрута. Он музыкант по профессии и живет этой профессией, хотя достаточно странной жизнью. Из-за границы ему высылают (там пребывающие друзья) вновь выходящие романсы, фокстроты, чарльстоны, вальсы. Наиболее сладкие из них он слегка переделывает, изменяя тональность или внося два-три собственных такта. Армия халтурящих стихотворцев пишет к этому текст. И новый романс, чарльстон или вальс печатаются им под его фамилией. С цыганскими романсами, в особенности пользующимися успехом у служилого и торгового пореволюционного мещанства, дело обстоит так же: он их переписывает со старинных, забытых публикой нотных страниц, подновляя слова при посредстве все тех же безработных халтурщиков северянинско-вертинского фасона. Его продукцию запрещает по большей части главрепертком. Тогда он прибегает к трюку. Просовывает сладкую пошлятину для меццо-сопран и теноров где-нибудь в соседнем союзном Главлите, в соседней республике и, напечатавшись там, приволакивает весь тираж в Москву, где благополучно и распределяет его по нотным магазинам. И тот же товарец, который был запрещен центральным Главлитом, как вредоносный носитель гнилой культуры прошедшего, преспокойно распространяется государственными магазинами как продукт соседней республики.

Что может связывать его, целующего ручки, издающегося контрабандой, развившего лишь нижние конечности за годы революции, что может связывать его с его временем, с его современностью?

И, однако, что-то связывает.

Марашкин, электромонтер, отчаянный трепло и заливало, ходит за ним совершенно потрясенный. Чем он потрясен? Всем. Походкой того, очками, целованием ручек, уменьем брать аккорды и проделывать фиоритуры на рояле. Марашкин смотрит на музыканта, как на существо другой планеты, имя которой Искусство и, замолкнув от восхищения, ходит по пятам за тем, следя за каждым его движением. «Нет, что за человек! — потом умиляется он. — В уборной на стульчаке — и то одной ногой чечотку выбивает и сам себе мотив подпекает!»

Марашкин по своему характеру тоже не чужд искусству. Он играет на балалайке и мандолине, его артистичность сказывается в небрежной какой-то и вместе с тем тщательно отшлифованной манере рассказывать всяческую ерунду. Им основано на веранде «общество старых вралей», куда зачисляются все заливающие, загибающие и откальывающие. У общества существует почетное название «Оторви да брось». Его приветственный туш звучит приблизительно так: «И налево соврал, и направо соврал, во все стороны соврал!»

Марашкин живой, художавый, подвижной парень. Его худоба, кажется, связана с его подвижностью. Он не может сидеть спокойно и трех минут. Жажда внимания, погоня за успехом гонят его бескорыстно на авансцену собравшихся в кружок слушателей. Его прибаутки и присловья так же мало передаваемы, как и вообще все разговоры между больными. Смягчать их соленую остроту нет смысла, потому что в ней-то и заключены те чудовищные гиперболы, которыми поражают они слушателей. Одним словом, Марашкин, по его же

определению, парень огневой: «дорог на подхвате: только прикуривай!»

И вот он восхищен, подавлен, покорен вихляющимся музыкантом. Да и неудивительно. Когда тот грохнет по клавиатуре какой-нибудь застарелый фокстрот, выбивая одновременно дробь ногами, когда его очки сверкают над роялем, как глаза огневой змеи, завораживающей слушателей трансом своего священнодейственного служения чечотке,—люди, привыкшие к жиденькой дробе гитар и мандолин, падают ниц, как дикари перед пушечными выстрелами падали когда-то, отдаваясь на волю гордых колонизаторов. И вокруг Маршкина по вечерам всегда тесный круг слушателей, восхищающихся его техникой, его необычайностью, его юродством. Кто они, эти слушатели? Обычно это переходная ступень по условиям своего быта, повышенный заработок, как, например, у электромонтера или того техника, полуинтеллигентия, в роде сестры-культурницы или актера Аквариума,—все они очарованы музыкантом. Но есть среди слушателей и рабочие, тянущиеся в верхнюю залу на звук и на свет. Им тоже взуживаются в уши хлыстовские радения чечотки чарльстона. Они тоже поддаются дробь бледных дегенеративных пальцев по костышкам несчастного рояля. Администрация санатория также покорена музыкантом. Во-первых, его паточная липкость действует как-то обязывающе. Холодные востренькие глазки его четко различают производимое им впечатление.

И результаты своих наблюдений учитывают в ту или иную сторону для себя. В общем он делается «любимцем публики», как это всегда бывает с людьми, обращающими странность своего поведения, ненормальность его в оборотный капитал, проценты с которого для них не только всеобщее внимание, но (и это главным образом) успешность этого внимания.

Не даром в средневековье да и ближе к нам по времени человеки искусства были шутами, трактовались как прихлебатели, не способные ни на производственный труд, ни на цельность и ценность личных качеств.

Музыкант устраивал в санатории концерт. Как говорит предание, он — лежавший здесь и раньше — и тогда неоднократно «приобщал» публику к искусству. На концерт пришли, не считая сестры санаторного врача, обладавшей небольшим, приятным и хорошо разработанным сопрано, приглашенные музыканты, «его друзья». Певица приехала без его протекции.

Столовая наверху, как всегда во время лекции или концертов, превратилась в зрительный зал. Столы были вынесены, стулья поставлены рядами; рояль отвезен из угла на середину под пальму, и концерт начался.

Я не буду описывать этого концерта в подробностях. Не буду пытаться воспроизвести тот шабаш пошлятины, сладко-глюкозовой, фальшивой красоты, чудовищной, фантастической подделки под «душевность», которые его наполняли до краев. Как старый актер пел песню о паровозе для идеологии и романсы Вертинского — для чувства. Как выскочил на «сцену» человек, одетый под махновца и с неистовым искусством похабной развязности стал откалывать анархический танец с балалайкой, на скаку закидывая ее за спину, поднимая ее над головой, чуть ли не вытаскивая из уха. Нехватит у меня умения описать и позу смокингových «агитчиков», которые деревянными голосами отбарабанили куплеты на тему о займе и о чистке

и смыслись, блестя одинаковыми зализанными непристойно пробо-рами. Нет, всего этого не опишешь сразу. Что стоит описать, над чем стоит подумать, это — доверчивые, тянущиеся к зрелищу, почти за-гипнотизированные глаза, губы, головы зрителей. Жадно, жарко, как до воды в пустыне, тянулись они до этого похабного, проклятого, холодного, глеющего и разлагающего «массового» искусства... До за-гнивших об'едков, отбросов заплесневевших ошметьев, упавших со стола высокой буржуазной культуры. Якобы для «преодоления» ими его. А на самом деле для растления их вкусов, для отравы здоро-вого интереса ко всему, что ярко, пестро, звонко, быстро.

И тогда на этом концерте я понял, что мне болеть нельзя.

Нельзя. Нет времени.

Я понял, что каждый день, пропущенный здесь для лечения, — это день пропущенной битвы, день успеха врага, день его насту-пления вглубь и тыл пролетарского лагеря, вглубь и в тыл еще слабо укрепившегося социалистического искусства.

Санаторий, проверив и подтянув мой механизм физически, за-вел меня и на правильный ход своей системой, режимом, спокойным контролем, вновь поставив в границы реальных ощущений. Он на-помнил мне своевременно и о моем деле, профессии, о честном ее применении, таком же честном, как честна и упорядочена работа его медперсонала.

И я благодарен санаторию не только за физическую поправку, но и за то чувство рабочей ответственности, которое он внушает всякому своей непрерывной, будничной, размеренной, напряженной работой.

И в кадрах строителей социализма эта ремонтная мастерская «машины всех машин — человека» также сооружена, поставлена, пу-щена в ход рукой и волей класса, который всюду, везде, во всех ме-лочах строит жизнь, не похожую на бывшее.

Я выздоровел и закалился в санатории, попав в лад всеобщей огромной работы, кусочком которой является санаторий.

Я почувствовал здесь еще раз наново порячую ненависть к этому бывшему, которое пытается наложить ослабевшую лапу на все новое движение и становление жизни.

На этом кончается моя повесть о санатории.

1929. 25. VI.

1930. 5. III.

---

# Саранча

Очерк

В. КОЗИН

I

Летом тысяча девятьсот двадцать девятого года из Афганистана на территорию Туркмении налетели библейские полчища саранчи-шистоцерки.

Страна ахнула и на мгновенье растерялась—опасность встала перед глазами неожиданная, как смерть; многими овладели гибельные предчувствия. Первые инстинктивные движения по защите хлопчатника от саранчи напоминали судороги эпилептиков. Царила паника, прикрываемая энергичными воззваниями, отъявленное наездничество и партизанщина.

Не было людей: ни специалистов, ни инструкторов, ни техников, ни старших рабочих.

Оазис спал.

Под лунным диском томилась белая площадь базара. Вдоль арыка в загадочной неподвижности чернели деревья. Далеко на буграх плакал обиженный одиночеством осел. Мир был наполнен печалью: рядом с цветущим оазисом властно лежало уродливое тело пустыни.

Я дремал на кошке, на плоской кровле лебабской амбулатории.

Полнотелая луна выкатилась на середину неба, я вытер простынею пот с лица и стал засыпать. Тогда со двора выразительным шопотом окликнул меня предрик Донских.

— Оденьтесь, — загудел в кулак беспокойный администратор, — и спуститесь вниз. Очень важное дело.

В летнюю лебабскую ночь одеться недолго: я всунул ноги в бегунки и, поколебавшись мгновение, прыгнул с крыши.

Предрик был в таком же виде, как и я: сетка и трусики. На животе его чернела кобура с наганом.

— Идемте, — шепнул Донских, — будет срочное заседание тройки. Вы знаете... в гробину ее и небесную канцелярию... В Карабекауле саранча!

Историческое (в лебабском масштабе) заседание произошло на террасе ветеринарного пункта. Состав тройки оказался возведенным в квадрат: нас было девять, включая и любознательного санитаря Чары.

— Товарищи, — торжественно начал предрик Донских, и в голосе его звякнула тревога, — дело выходит маком, товарищи! Я предлагаю со всюю решительностью обсудить саранчевый вопрос.

— А чего обсуждать, — придирчиво сказал прокурор Шихниязов, недавно выпущенный из психиатрической лечебницы, — зачем

обсуждать, когда мы ничего не знаем? Лично я в жизни этой самой саранчи не видал. На кого она хотя бы похожа?

Тогда все девять голов повернулись к лебабскому агроному.

Белопузый агроном сидел на скрипучей койке и зевал в ладонь. Он подтянул ситцевые, женскими руками скроенные трусики и с неуверенной торопливостью бросил:

— Что значит похожа? Это не вопрос. На родителей своих похожа... Да. В музее есть красочный плакат. Пойдите и посмотрите.

— Дьявол с ней, — пренебрежительно заметил предрик, — пусть будет хоть на козу похожа. Весь вопрос, как нам бороться? — И внезапная напряженность мысли отразилась на лице предрика летучей гримасой.

— Пошлите завтра нарочного в Дивона-Баг, — посоветовал я, — пусть снабдят нас мышьяковисто-кислым натром. Забронируйте в Госторге жмыховую муку и ведра: будем с саранчой бороться испытанным методом отравленных приманок.

## II

В двенадцать часов следующего дня предрик Донских вызвал меня в исполком и молча протянул папиросную коробку.

Я приоткрыл. Из коробки вылез желтый саранчук с черными бусинками неподвижных глаз. Он держался спокойно и нагло: шевелил тяжелыми жвалами и расправлял надкрылья, источенные замысловатой клинописью. С этим видом исполинской саранчи я не был знаком.

— Принес пастушонок. Из кишлака Тильке. Говорит, там тучи... Овез! — звонко крикнул предрик старшему милиционеру, — давай лошадей. Едем!.. Ой, что же в кишлаке, наверное, делается!

Он закрутил головой, как конь, которого плетью огрели меж ушей. Прицепил на ходу шашку и бросился к крыльцу, вдохновенный необычайным событием. Мы дружно метнулись вслед за ним.

Лебабское солнце жгло и ликовало. Базар переливался и сдержанно гудел.

Мы влезли на глинянный бугор. Перед нами выгнулся полумесяц чалм и неопикуемых бород.

— Товарищи! — предрик Донских расставил ноги и ленинским жестом выбросил над толпой правую руку. Лицо его побагровело и взмокло от пота. — Товарищи, из Афганистана налетела на нас решительная опасность: саранча уже в Лебабе. Она угрожает вашим посевам. Но вы не предавайтесь панике, товарищи-деҳқане! В Лебабе организована чрезвычайная тройка, которая будет бороться с саранчой, как с злейшим классовым врагом. По аулам раз'едутся уполномоченные. На базаре вам торчат теперь нечего. Расходитесь по домам и сгоняйте саранчу с полей. Джафаров, переведи! Овез, закрой базар к чертям собачьим! Да. Объявляется мобилизация всех лошадей. Тамаша, забирай вон тех и веди к исполкому.

Нас выехало восемь человек: всех привлекала прелесть новизны и заманчивая неизведанность чрезвычайного события.

Из конской горячей толпы мы с предриком вырвались вперед: он — на пестром и непокорном жеребце ишана Худай Иль Ширнипеса, я — на громадном и пугливом карабаире Куль Мурад-бая. Сзади нас скакали врассыпную и легкомысленно пересмеиваясь видные представители лебабской общественности: черногорец и бывший террорист, ныне тракторист Злободжанский, длинноногий и злоязыч-



ный финагент Собакин, хитроумный шерикетец Айрапетов, председатель батрачкама Джафаров, милиционер Рахмет, всегда растрепанный и дикий. (Это был лебабский Пинокио. Жердь, многократно сломанная и небрежно связанная. Туркмены звали его «Тамаша», что значит зрелище). Вереницу лошадей замыкал раскормленный лодырь ветеринарного пункта; на нем прыгала врач Животовская — женщина ядовитая и любопытная до крайности.

Мы промчались через сонный кишлак Баят, мимо школы, в которой некогда учительствовала погибшая от руки отца-бая первая лебабская активистка Гюль Махтум Дурдыклычева; пересекли полноводный арык и в'ехали в кишлак Тильке, что значит «лисица». Тогда предрик Донских вытянулся на стремянах и закричал:

— Вот она! Летит... стерва непутевая.

Над изумрудной люцерной летал одинокий саранчук. Он ежесекундно менял направление: видно было, что он чувствует себя потерянным и незащищенным. Предрик помчался на него с поднятой плетью, — плеть свистнула, вздыбился непокорный конь ишана, саранчук поднялся в голубые просторы и исчез за арыком.

Дорога изогнулась и побежала влево. Из-за причудливой группы деревьев выглянуло черное и круглое око кибитки. Мы прорысили мимо и произвольным движением затянули поводья: над полем хлопчатника, над золотистым ячменем, над цветущей люцерной из-за дальней поросли гребенчука сплошным мигающим потоком летела серебристокрылая колонна саранчи. Ей не было конца, не видно было и начала. Отдельные саранчуки кружились и падали в люцерну, но вся необ'ятная масса безостановочно неслась в одном направлении — на северо-запад.

Я говорил предрику:

— Смотрите, идет массовое спаривание. Через несколько дней будет откладка кубышек. Потом саранча начнет дохнуть: цикл ее развития заканчивается. Она выполнит свой биологический долг, и на смену ей придет новое поколение. Думаю, что теперь она не так много принесет вреда посевам.

— Ого! — кричал в ответ предрик, — лезут друг на дружку, как окаянные. Я вам... наслаждаться! — Он прыгал с седла и плетью расшибал неподвижно слепленных саранчуков.

Но голова колонны летела все дальше. Мы теряли ее, из виду и вновь настигали, пользуясь указаниями дехкан. Солнце разбухало, становилось большим и красным, как зреющий нарыв.

Возле арыка Ябаны, за развалинами курганчи Кадыр Ия Батырбая мы нашли снизившуюся на ночь саранчу. Оранжевым налетом она покрывала поля пшеницы, глинобитные руины и листву разлапистого тутового дерева.

Тогда мы вернулись в Лебаб.

### III

На противосаранчевые работы мобилизованы все европейцы. С неуклюжей готовностью они суетятся возле арб исполкомовского крыльца. Они возбуждены необыкновенными сборами, беспокойным светом фонарей и своей многоголосостью. Их походные костюмы случайны и нелепы. Они на ходу обсуждают события исключительного дня. Весть о саранчовой колонне передается с возрастающими подробностями, — размеры ее, по последним данным, достигают уже бактериологической цифры.

Движения людей лихорадочны и напряженны. Голоса взволнованы и звонки.

Комсомольцы из Хлопкома воодушевленно смеются. Они водят в поводу игривых коней и с нетерпением ждут, когда можно будет лихо вскочить в седло и помчаться впереди «истребительного» обоза.

Застонали арбы. Заметались под осями боязливые отсветы фонарей. Зазвучали вдоль дороги дружные копыта. И собаки по всему аулу залаяли разрозненно и остервенело.

Вдали загромыхали «истребительные» арбы. В стороне вырос и стал приближаться пугливый огонь. Потом другой, третий: из ближайших кибиток к нам спешили толпы дехкан.

Они подошли и молчаливой массой облепили нас.

— Кто из вас видел саранчу? — спросил Айрапетов.

— Чикиртка! Чикиртка! — множество языков выстригло в легкой ткани ночи этот острый звук. Бороды и чалмы всколыхнулись. Длинные пальцы протянулись в сторону пустыни.

— Товарищ Козин! — предрик положил на мое плечо руку, пахнущую керосином. — Возьмите с собою Джуму и поезжайте к буграм на разведку.

— И я, — сказал Айрапетов.

Мы вскочили в седла и тронулись вдоль арыка прямо на Полярную звезду.

Перед нами расстиралось высеребренное луною пространство великих горбов, причудливо усеченных былыми ветрами. В голубом половодье луны дрожали вздыбившиеся увалы, словно уроды в припадке малярии. Неправдоподобна и мертва была пустыня.

Мы спустились с бугра и поехали вдоль культурной полосы.

— Скажите, — Айрапетов повернул ко мне свое сухое лицо, верхняя часть его была высечена твердыми линиями, нижняя дорисована с небрежной поспешностью, — вы верите в успешность борьбы с саранчой путем сжигания ее керосином?

— Конечно, нет! Но лучше керосин, чем безнадежность и отчаянье.

Кругом был сухой и жесткий ковыль пустыни, буйно разросшийся в приарычной полосе. Рассыпанными снопами он торчал из песка, и в этом месте бугры изреженной курчавостью своей напоминали голову бушмена.

— Джума, — сказал я, — слезь с лошади и посмотри.

Черный Джума Ит Алмаз-оглы, или иначе Пятница, сын Отвергнутого Собакой, прыгнул с коня, вломился в селиновую заросль и торжествующе закричал:

— Чикиртка!

В робком свете спичек видны были густо оцепленные саранчой кусты селина. Саранча отягощала их сонным и неподвижным грузом.

Мы повернули коней и подняли их на галоп.

Предрик Донских был до иступления вдохновен тревожными переживаниями фантастической ночи. Лицо его горело сосредоточенным восторгом, голос был суров, движения порывисты и властны.

Он подхватил полное ведро керосина и помчался к ближайшему кусту. Порывистыми движениями обрызгал стебли и песок вокруг. Зашуршали саранчуки. Вспыхнул от спички запал.

— Кет! Прочь! — И Айрапетов с маху всунул пылающий запал во влажный от керосина куст.

Как желтые сливы, посыпались со стеблей саранчуки. Опаленным и разворошенным полчищем запрыгали они по песку.

— Бей их! — застонал предрик.

Ветви гребенчука, мешки, халаты, ногайки, подошвы тяжелых сапог обрушились на движущуюся массу, похожую на стаю гигантских отяжелевших блох.

— Бей! Ур! Ур!

В остервенелом забытьи работали «истребители» до самого утра.

#### IV

Каждый день я выезжал на разведку.

Розовым и безмятежным бывал по утрам оазис.

Над арыками в предутреннем бездействии покачивались варварские «новы». Это были выдолбленные бревна, с первобытным остроумием приспособленные для выкачивания из арыков воды балансирующей силой одного человека. Купы деревьев, похожие на опрокинутый треугольник, древние водочерпалки и гробатые быки у деревянных омачей напоминали рисунки из сельской жизни Египта.

До полудня, а иногда и до глубокого вечера я рыскал на пугливом карабаире по всему оазису. Я доезжал до последних кибиток кишлака Золотая Нога, до опаленных солнцем бугров Красной Пустыни, блуждал в привольных джангилях и за развалинами Черной Крепости. Иногда я вброд переправлялся через стремительные рукава Реки Человечества и осматривал поросшие жесткой растительностью песчаные острова. Или, дивясь неожиданному великолепию столетних дубов, поил из колодца коня в священной роще Белый Нос.

Каждую ночь выезжали из Лебаба громыхающие «истребительные» обозы и полыхали в небо дымными хвостами гигантские костры.

Все меньше было саранчи: подчиняясь сложному рефлексу своего рода, она летела в пески откладывать кубышки и потом умирать.

И через три недели на оазис должно было двинуться из пустыни новое поколение неисчислимых и жадных саранчуков.

Это была самая грозная опасность. И мы должны были ее предотвратить.

#### V

Саранчовый фронт подействовал на худосочную «Туркменскую Искру», как неожиданная и удачная пересадка семенников. Желтоватые странички этой газеты, страдающей всеми признаками инфантилизма, напитались вдруг нервной силой и волей к борьбе.

Страна, оправившись от навязчивой растерянности первых дней и молчаливо пережив бред острых сомнений, трезвыми глазами взглянула на роковую опасность, желтым цветом окрасившую зеленую карту ее хлопководческих районов. На афганскую границу к Кушке и Тахта-Базару двинулись из городов навстречу странствующей саранче карательные полки рабочих-добровольцев. Были мобилизованы все члены партии, наркомземовские специалисты, учителя, работники профессиональных и общественных организаций. Отложены чистки, съезды и конференции. Отменены отпуска и командировки. Скорые поезда помчались с необычайным грузом жмыховой муки, оцинкованных щитов и мышьяковисто-кислого натра. Произошло короткое замыкание жизни: вся жизнь была переключена на борьбу с шисточеркой.

К концу периода борьбы с саранчой партизанским методом керосинового сжигания лебабская тройка получила с нарочным из Дивона-Бага приказ: прекратить хищническую трату керосина, произвести глубокую разведку в песках с целью регистрации залежей кубышек и подготовить место для посадки самолета, который должен был привезти из Дивона-Бага битоны с натром.

— Наконец-то! Очухались! — с веселой злобой закричал предрик, когда я поспешно вошел в исполком, вызванный Тамашою, — зашевелились, глоты! Аэропланом яды шлют... А по поводу керосина — нет, отставить! Мало мы ее, окаянную пожгли?

— Правильно, — ответил Злободжанский. — Хорошо мудрить под боком железной дороги, а ты попробуй за двести километров, когда не только саранчу, а самому травиться нечем!

— Ну, хай! Площадку для самолета устроим... Вот где, на «такыре», напротив бахши-читагского аулсовета. Там место такое ровное, закачаешься! И дымовую волну пустим, чтобы видали с самолета, в какую сторону ветер идет понизу. А насчет разведки в песках открываю, товарищи, заседание чрезвычайной тройки.

— Послать за агрономом?

— Не нужно. Я предлагаю эту сволочь с высшим образованием исключить из состава тройки: пользы нам от него, как кобыле от мерина. И передать о нем заявление прокурору: в такой момент эта гнида не только работать, даже подумать ни о чем не хочет... Так кого же пошлем в пески?

— Выбора нет, — промолвил Злободжанский, — крути ни верти, а ехать товарищу Козину, как единственному спецу.

## VI

Ранним утром мы выехали в пески.

Через розовеющий тутовый сад, мимо изумрудного клина люцерны мы вынеслись прямо на желтое безмолвье, к мертвому простору великих бугров.

— Ну, — сказал я, обернувшись, — прощайтесь, Абдулла, с зеленью и водой.

Переводчик Абдулла с досадной неловкостью сидел на туркменском седле: короткие ноги его болтались, как козьи соски, и тело нависало над конской шеей. Он ухватился рукою за ленчик и улыбнулся мне невеселой улыбкой.

Топот копыт вдруг смолк. Начались пески.

Через полтора часа лошади, преодолев громадный увал, ступили на твердый грунт, и рассыпчатый гравий с приятной неожиданностью заскрипел под копытами. Меж бугров легло ровное пространство узбоя — высохшего русла какой-нибудь доисторической реки. А может-быть, здесь некогда был скромный приток той могучей водоносной ветви, протекавшей через весь Туркестан, которая исчезла вместе с гипотетическим Монгольским морем и которая в библейские времена носила у древних евреев название «Гихон»?

Потом внимание мое привлекает караван, колыхающийся впереди нас волною груженных горбов.

Он идет из Секиз-Яба, не иначе: местные караваны — куцые и всегда с вожатым ослом впереди. Да и верблюды передо мной — не верблюды, а — дымчатые гиганты: могучее телосложение, громадные суставы, черные гривистые шеи. Представляю, какая грузоподъемность у этих животных.

Караван разукрашен: на верблюжьих мордах горделиво колыхаются цветные кисти и тугие стебли ковровых жгутов, с костлявых крестцов свешиваются древние паласы, под изогнутыми шеями качаются великолепные бидла, они членистовидны и издали похожи на гофрированные галстуки. Верблюды ступают с бесстрашной надменностью, их извечно оскорбленные морды плывут в голубом просторе, и бидла издают звуки, величественные и скорбные.

Мы поровнялись с головным верблюдом, под шеей у него, вместо бидла, висел стеклянный фонарь, на горбе сидел старик с лицом мумии, в синей нарядной чалме.

Мы обменялись с ним стереотипным выражением вежливости:

— Соранг.

— Соранг.

В переводе это означает «спрашивайте».

— Интересно, что они везут? — спросил я Абдуллу. И переводчик завязал медлительную и осторожную беседу по поводу массивных тюков, отягощающих верблюжьи горбы.

Караван вез из Секиз-Яба в Дивона-Баг небывалую партию караракулевых шкур, закупленных Госторгом у афганских купцов.

Караван остался позади. Впереди нас было все то же пространство желтых песков.

## VII

На колодце Янгикуи, где мы ночевали, чарводары сказали нам, что основная масса саранчи пролетела на север и запад, к колодцу Сорок Сажений, что мертвая саранча покрывает южные пески и равнину Черных Солончаков, что ехать в этом направлении опасно, так как там нет ни колодцев, ни стад, ни людей, что дорога туда им известна, но сопроводить нас они, к сожалению, не могут.

Я задумался.

В песках ни троп, ни дорог нет; нужно знать направление, его нам могут указать чарводары. Но не исключена возможность того, что мы заблудимся и попадем в зыбучие бугры. У нас один небольшой бурдюк с водой, если на сутки мы не выберемся к оазису, лошади станут, тогда положение наше будет опасноватым. Но не определять размеров и плотности саранчовых залежей в Черных Солончаках — значит ничего не сделать!

Мы тронулись в путь с рассветом.

Впереди бессмысленно горячил коня краснобородый Иль Мурад. За ним в высоком туркменском седле колыхался женоподобный Анна Бахим. Сзади меня, взбодренный свежестью утра, высвистывал неприличную песенку Абдулла. Солнце еще пряталось в песках, но облака над нами уж алели, как нежные груди розовых скворцов.

Я не успел выкурить и двух папирос, как слева от себя увидел святое место «аулия Шайдан», о котором нам говорили на колодце. Оно было бесцветно и сурово, как сама пустыня.

Из бугра торчал скучный шест, его окружали безлистные прутья, на них висели тряпочки, истрепанные годами и ветром. Вокруг по бугру во множестве валялись посохи, битая глазурь, кувшины с былыми подношениями и осколки пиал. Скучна и ленива на выражение была память кочевников об отшельнике Шайдане.

За святым местом на бледной равнине мы заметили желтые трупики саранчи. Они лежали разорванными пятными на буграх и во множестве под кустами верблюжьей колючки. Здесь должны были

быть и залежи кубышек: саранча закончила воспроизводительный процесс, рефлексы ее угасли, а вместе с ними угасла и она.

Мы спешились.

Я опустился на колени и начал внимательно рассматривать трупы насекомых.

Растянутый и высохший яйцеклад отдельных самок был глубоко вонзен в песок: саранчуки сдохли на месте отрождения, не вытащив его. Я раскопал почву и на глубине семи-восьми сантиметров с чувством удовлетворения нашел бледно-розовую кубышку: оголенные яички, похожие на малюсенькие бананы, плотно налегали друг на друга, образуя упругий и нежный огурчик. В кубышке я насчитал девяносто пять яичек, — из каждого должен был вылупиться саранчук.

Дальнейшие раскопки превзошли все мои ожидания: на одном квадратном метре залегало около ста двадцати кубышек. Следовательно, до двадцати трех тысяч саранчуков могли отродиться на площади обыкновенного письменного стола.

— Да они сожрут весь Лебаб! — в восторженном удивлении вскричал Абдулла.

Я послал его отыскивать кубышки по линии меж песков, а сам взял направление, перпендикулярное к началу его движения: таким образом можно было приблизительно определить зараженную площадь.

Мы разбудили проводников и поспешно тронулись дальше, держа направление на юг. Перед каждым мертвым скоплением саранчуков Абдулла слезал с седла и привычным движением выкапывал кубышки. Неправдоподобной плотности саранчовая залежь простиралась до самых солончаков.

Потом были: бугры, увалы, увальчики, гребни и знойные ложбины, покрытые девственными зарослями селина. Желтые горбы, голубая глазурь неба, безлюдие, дичь. Белобрюхие стада джейранов. Спокойная гибкость их движений, в которых было больше наивного любопытства, чем страха. Стремительная упругость прыжков дикой кошки (пепельная шкурка нежно рябила точками черных пезжин). Тугая медлительность черепах. Панические зигзаги розовых ящериц. Смехотворные позы варанов, которых туркмены зовут «зем-зем» и ликующие шкурки которых идут за границу для выделки «крокодильих» портфелей и дамских туфель.

Близился полдень.

На склоне уродливого бугра плотную массой желтели трупы саранчи.

— Товарищ... я сейчас... свалюсь, — прохрипел сзади меня Абдулла.

— Держитесь, — грубо сказал я, не оборачиваясь, — нечего хныкать: здесь не родильный приют! — Я боком повернулся на седле, развязал куржум и вынул мохнатое полотене. — Нате и обвяжите голову. А то еще удар хватит.

Кровь настойчиво била в виски. Пот слепил глаза и солонил губы. По спине и затылку прыгали огненные блохи. Голова тяжелела и казалась невообразимо большой.

Проводники остановились. Иль Мурад нагайкой тыкал вперед, Анна Бахим недоверчиво качал головой и пальцем показывал влево. Кони яростно крутились на вершине увала.

— В чем дело? — спросил я Абдуллу.

— Рыжий говорит, что нужно ехать в Бейк-Тепе, не сворачивая. А толстый боится, что мы попадем в непролазные Высокие Бугры, о которых упреждали нас чарводары.

— Пусть нас ведет Анна Бахим, — приказал я Абдулле, и мы свернули влево.

Сыпучий путь протянулся меж бугров, гладких и сверкающих, как пузыри. Потом бугры сомкнулись и встали перед нами. Мы приблизились к крутой их подошве и затагнули поводья.

Лошади, по колено погружаясь в песок, спустились с увала. И у подножья его мы увидели почки ослиного помета.

Это было откровение. Мы стояли неподвижно и наслаждались скромным видом естественных знаков, указывающих на то, что здесь проходили одомашненные животные, а следовательно, и человек.

И мы тронулись по этому овеществленному следу.

Бугры расступились. Перед нами открылась белая ложбина. Анна Бахим привстал на стременах, и чалый метис его перешел на галоп. Я обогнал этого цыбатого уroda и увидел впереди себя влажную яму, зияющую среди песков.

Это был кем-то разрытый и брошенный родник: подпочвенной водой из верхних слоев земли он наполнил яму до краев.

Лоснятся седла и качаются стремена. В сладком нетерпении лошади вытягивают шеи. Жадно глотает Могучий, потом внезапно задумывается, раскрывает рот, и вода через желтые зубы струится на песок. Я зачерпываю горсть и пробую: вода горько-соленая.

Покорно и молча мы едем дальше.

Не отехали мы и пяти километров от горького родника, как пустыня неожиданно вздохнула. Под конскими копытами зашептал стремительный песок. Мрачные клубы пыли метнулись в сторону.

Начинался черный вихрь пустыни.

Мы рысью прошли меж увалами разгулявшейся равнины и свернули вправо. Ветер с торжествующей радостью загудел и ударил в лицо. На зубах закрипел песок. Дышать стало трудно.

Сила ветра росла. Взмученные груды песка с металлическим свистом перемещались с бугра на бугор.

Солнце, истощенное мглой, умирало.

Лошади шли по запястье в песке. Они жадно дышали, вздымали натруженные бока, но шага не укорачивали: их гнало вперед, как и нас, одно нестерпимое желание — оазис, вода!

Солнце исчезло.

Впереди все потемнело. Черная полоса выросла перед нами. Полоса приближалась, плотная и загадочная. Верхняя линия ее была разорвана и трепетала. Новый влажный и тревожный шум ударил в уши.

Деревья!

Лошади подхватили галопом. Копыта с неопишуемой быстротой застучали по твердому грунту. Через великолепный сугроб песка мы въехали в кишлак. Над нами в бурной радости зашумели ветви. И справа раскрытою грудью сверкнула вода.

## VIII

Конский двор лебавской милиции был переполнен жеребцами.

Под навесом двора стояли предрик Донских, Злободжанский и я.

— Чортова сила! — с предельной выразительностью рявкнул предрик, — угробит нас этот раздерганный Дивона-Баг. Ни ядов, ни

людей!... Да о чем они думают, ссволочи? — предрик ударил кулаком по столбу навеса. Сверху на нас посыпались куски глины, пыль и саман.

— В песках началось отрождение, — сообщил я последнюю новость, — за буграми у Мамаш-кишлака чарводары видали кулиги. Недели через полторы Лебаб станет перед желтой опасностью...

— Что делать? — усталым голосом спросил невыспавшийся Злободжанский.

— Надо ехать в Дивона-Баг! — закричал предрик, — налетом! Вырвать из складов яды, грузить на арбы и мчаться в Лебаб.

— До часу будем ждать аэроплана. Не прилетит — плывем! И пусть я буду последней стервой, если мы не вернемся с ядами!

В двенадцать часов над Лебабом возник легкий тревожный звук.

На небе, со стороны Кизил-Кумов, чернела родинка самолета.

— Коня! — выдохнул предрик.

— Джума! — крикнул я, — седлай Могучего. — И побежал одевать сапоги.

За хаузом и бледно-рубиновыми зарослями гребенчука открывалось желтое пространство Кизил-Кумов. Перед пустыней лежала твердая равнина; в центре ее на шесте развевался флаг, и рядом дымили сигнальные костры.

— Сергей Лукич! — закричал я, галопируя по глиноземному аэродрому, — самолет все время кружится над исполкомом.

— Хрен с ним, — с лицемерным равнодушием в голосе ответил предрик, — пусть кружится! Не наше дело.

— Как... не наше?

— Так. Аэроплан не наш, — и дело не наше.

## IX

Предрик Донских один уехал песками в Дивона-Баг. В тот же день нарочный из Карабекула привез через Аму-Дарью «саранчовую» телеграмму.

Она была лаконична и выразительна: «Яды имеем ограниченном количестве вышлите твердую заявку самолета не ждите немедленно приступайте рытью ловчих канав».

Злободжанский снял с головы кожаную фуражку и, страдая, сказал:

— Донских был прав: они нас угробят!

В два часа ночи мы создали расширенное заседание чрезвычайной тройки вместе с приехавшим из Дивона-Баг уполномоченным по содействию тройке Мирзою Садыховым. Заседание длилось до утра. За это время мы переругались с Садыховым, потом помирились и, наконец, решили: мобилизовать мирабов и все взрослое мужское население на хошарные работы по рытью канавы. Канава должна опоясывать весь оазис по линии песков. Глубина — полтора метра. Ширина по верху — метр, по дну — метр с четвертью. Поперечный разрез канавы должен иметь вид усеченного конуса для того, чтобы саранча, попав в канаву, не могла вылезти обратно. Для проведения работ назначить комиссию в составе двух членов тройки и гидротехника Невзорова. Уполномоченному Мирзе Садыхову выехать по аулсоветам для организации разъяснительной кампании.

Мы разошлись, когда пели петухи и бугры пустыни нежно атели.



## X

Базарная площадь была запружена ослами, чалмами и кетменями. Баятский аулсовет выслал на хошарные работы по рытью канав 500 человек, бахши-читагский — тысячу. Култаский — две. С зарею носились по кишлакам и аулам уполномоченные.

Наконец, между аулсоветами на линии в шестьдесят километров были установлены точные границы, указаны обходные пути в местах естественных препятствий, разбиты участки, заданы уроки, назначены надсмотрщики со старшими и младшими мирабами. Толпа вздрогнула, зашевелилась, и белая пыль поднялась над площадью.

Часов в одиннадцать выехала на линию песков хошарная комиссия.

Была тишина.

— Я предлагаю тройке стать более суровой, — неожиданно сказал Собакин, бледный от жары и мучительной суетливости дня, — я понимаю, что заняты вы все нечеловечески и многое воспринимаете бесознательно. Но помните, граждане, что у вас на носу в каждом кишлаке бай, муллы и ишаны. Это — классовая опасность! Особенно сейчас, когда начал из ряда вон выходящий хошар... Почему исламский аулсовет не выставил полностью всех дехкан? Потому что там духовенством с утра посеян преступный шопот. В кишлаке Багир муллы и ишаны царствуют безнаказанно.

Впереди нас ехал старейший мираб Омар-Ях-я Гундогды, единственный из туркмен Лебаба, хорошо знающий русский язык.

— Это верно, — обернувшись и вежливо улыбаясь, подтвердил слова финагента Омар, — муллы говорят: «Аллах на крыльях саранчи написал проклятие русскими словами». Я еще скажу, чего вы не знаете: ни один человек из кишлака Халач не стал на хошар. Муллы говорили им лишних слов, и они теперь боятся рыть канавы: они верят, что это грех.

Чаща кончилась. Открылись бугры и ряды безостановочно изгибающихся дехкан.

Перед желтым оскалом пустыни кипел необычайный хошар.

Широчайшие штаны и рубахи туркмен белели под солнцем, как осколки фарфора, разбрызнутого мгновенным ударом. Сотни спин изгибались тяжело и враздробь. Нестерпимыми фокусами сверкали кетмени и лопаты. Рыжими языками вываливались из канавы пласты земли. Торопливо рос со стороны оазиса защитный вал.

Мы спешили. Подошли. Сказали «селям» и «соранг». Дехкане оставили работу. Старики-мирабы окружили нас. Возле сжатого люцерника затрещал костер, и кумганы с водой были поставлены в жар.

— Вот, товарищи комиссия, — Невзоров, пальцем указал на дехканский двор, вклинившийся в пески, — как быть в этом месте? Не сносить же кибитку и половину дувала? Но, с другой стороны, нельзя и канаву рыть в песке!

— Да, — сказал в тупом раздумье Злободжанский, — выперло ее боком... Действительно!

— Кибитку надо разрушить. Думать и миндальничать не придется: в общем деле всегда кто-нибудь страдает.

На взмыленном жеребце под'ехал уполномоченный по Баятскому участку Петя Быстрицкий. Опаленное солнцем лицо его и открытая грудь багровели. Губы растягивались в задорной улыбке. Тело с молодцеватой строгостью держалось на вытянутых стременах.

— Ну, как? — закричал он, — идет дело? Пусть мне наплюют в рожу, если я первый из всех уполномоченных не закончу свой хошар!

— У вас легкий участок, — заметил Невзоров, — вы попробовали бы поработать в джангилях или у Черной Крепости. Там на каждом шагу такие заросли, что плакать хочется.

— А канава у вас, Петя, не из блестящих: стенки слишком отвесны, да и глубина — тогó!

— Ничего нельзя сделать! Измучились, как черти: земля осыпается. Как только косишь стенку, так сверху и рухнет... Такая здесь проклятая почва! И копать глубоко невозможно: грунтовые воды выступают.

...Вечером, когда небо над оазисом было зеленым, как тина, и из-за бугров глядел рыбий глаз луны, мы с Злободжанским сидели на ковре возле чайханы Хаджи-бая. Мимо нас на ишачьих ножках проносились горбатые силуэты дехкан, спешащих с хошара в родные кибитки. Был слышен шорох потревоженной пыли и лязг лопат.

Один из дехкан повернул своего ишака и под'ехал к нам. Перекинул ногу через голову осла и прыгнул на землю. Подошел, вынул из халата записку и молча протянул мне. Хаджи-бай принес «летучую мышь»; мрачный свет фонаря упал на мои руки. Я сразу узнал изысканную вязь невзоровского почерка.

Гидротехник писал: «Пред'явитель сего тайный ишан и симулянт Каландар-бай самовольно ушел с хошарных работ, сманив с собою несколько дехкан-бедняков и нагрубив мне при попытке его вернуть. Прошу его посадить в наказание и чтоб другим повадно не было. Еще прошу прислать в мое распоряжение в Каланджи-Култак одного дельного милиционера».

Я передал записку Злободжанскому и стал рассматривать Каландар-бая. Он спокойно опустился на ковер и на цыпочках держал свою внушительную тушу, повидимому, он и не подозревал, что вручил нам донос на самого себя.

— Ну? — промычал Злободжанский, — что делать?

— Нужны показательные меры: иначе канаву мы не выкопаем!

— Ясно. Значит, в конверт?

Через несколько минут пришел по нашей просьбе начальник лебабского УРО Рыбак. Злободжанский передал ему записку Невзорова.

— Да, конечно, — сказал Рыбак, — пусть посидит дня три. Потом уплатит рублей сто штрафа... Овез! — крикнул он, — эй, Овез!

Старший милиционер Овез торжественно вытянул из кобуры наган и повел Каландар-бая в арестную кибитку.

— Первая байская ласточка, — прохрипел Злободжанский.

— Много еще будет, — утешил Рыбак.

## XI

С утра на площади возле ханской мечети волновалась и сдержанно гудела неожиданная толпа дехкан. Часов в восемь нас вызвали. Мы вышли на крыльцо исполкома и остановились в изумлении.

Толпа была сурова и бесшумна, словно глыба, готовая к обвалу.

Перед толпой размашисто и мягко, как верблюд, двигался необыкновенный человек: он был уродливо высок, тощ. Рядом с ним семенял ножками отвратительный жарлик, — люетик, торгующий мясом на пятничных базарах.

Толпа остановилась. Из гущи ее вырвался молодой эрсаринец с бронзовым лицом и плечами атлета. Белый офицерский китель и шапка из серого каракуля сверкали на нем. Он вбежал на крыльцо и задохнулся в злобном волнении.

— Бугда! — прохрипел он, — пшеницу!

Мы вызвали на помощь секретаря исполкома Худай Расул Ибрагимов и батрачка Джафарова.

— Что им нужно? — спросили мы, озлобленные непредвиденным событием.

Джафаров несмело вышел вперед и обратился с вопросом к толпе.

Тогда вперед вышел Собакин и грубым голосом закричал:

— Саранчовая тройка запретила Хлопкому выдавать пшеницу до тех пор, пока не будет кончен хошар. Отправляйтесь на работу: иначе хлеба не получите. Ибрагимов, переведите!

Но не успел Ибрагимов перевести, как толпа ахнула и сжала крыльцо.

Толпа кричала: «Хлеба! Шерикет должен нам выдать пшеницу под хлопок. В кибитках наших нет ни фунта муки. Где пшеница? Давай!»

— Если начать выдавать, — шепнул сзади Злободжанский, — они сейчас же расплзутся по кибиткам. Пройдет еще дня два, пока мы их соберем.

— Бугда! Мы не уйдем отсюда. Хлеба!

— Давай! Пшеницу! — красавец-эрсаринец истерично взвизгнул и схватил Злободжанского за грудь.

— Ты, мать твою... Ты кто? — растерялся Злободжанский.

— Это сын Шукур-бая, — отчеканил Собакин.

— А, байская морда!.. — Злободжанский ударил кулаком по рукам эрсаринца и оттолкнул его в сторону. — Товарищи! — закричал факторист в неистовом возбуждении, — вот провокатор! Эта вонючая печонка — байский сынок — опутал вас, как паук. Гоните его от себя в три шеи!.. Джафаров, переведи.

— Да чего переводить: они не слушают.

— Пока не будут закончены хошарные работы, пшеницы никто не получит.

Ибрагимов перевел. Собакин расставил длинные ноги и застыл на крыльце. Под грозный гул толпы мы ушли в исполком.

Через час площадь опустела. У Собакина шла носом кровь и лицо было багровым, как лебабское солнце.

## XII

В полдень из кишлака Куланджи-Култак прискакал милиционер Рахмет. Он привез от гидротехника записку и пакет с ритуальной надписью: «Весьма срочно и секретно». Пакет был перевязан шерстяной веревочкой и хранил на себе следы грязных ладоней.

Записка содержала ядовитый упрек, облеченный в броню блестящей вежливости. Невзоров писал: «Любезно присланный вами по моей просьбе милиционер Тамаша, к сожалению, оказался не в состоянии выполнять преподанные ему инструкции. Этот вечно взволнованный идиот обладает способностью налетать на дехкан, как глупый пес на домашних кур. В остальное время он пьет чай. Нельзя ли будет этого кретина заменить нормальным человеком».

Рахмед следил за выражением моего лица, пока я читал записку, и симпатично улыбался: очевидно, он предполагал, что его хвалят за необузданную суетливость, которой он был неисправимо подвержен и которая всегда вызывала среди туркмен восторженное к нему внимание.

В пакете лежал протокол заседания тройки аула Култак, написанный червеобразной вязью арабского шрифта и скрепленный, вместо подписей, «бармаками» — дактелоскопическими отпечатками больших пальцев, к протоколу был приложен список фамилий, против каждой из них стояла отягчающая пометка: бай, ишан, мулла.

Роковой список был составлен на двадцать три человека: они отказались выйти на «саранчовый» хошар и открыто уговаривали дехкан не безумствовать перед волей аллаха, премудро отраженной в таинственных знаках на крыльях саранчи. Это было восстание людей, исключенных из жизни, бунт обнаглевших лишенцев, мятеж упрямых и злобных стариков.

— Довольно пустозвонить! Выносите решение.

И мы решили.

Через час начальник УРО, прокурор Шихниязов, Злободжанский и двое милиционеров выехали в Култак.

...Вечером из исламского аулсовета вернулся уполномоченный Садыхов.

— Здравствуйте, — сказал он к моему удивлению простым человеческим голосом, — ну, как, значит, ваши дела?

— Не важно, — с самокритическим стоицизмом ответил я, — недостает как раз того, что является содержанием вашей миссии.

После этой фразы я вежливо предложил ему пиалу зеленого чая, шпроты и окаменелые ломтики голландского сыра.

Садыхов благосклонно улыбнулся и сел к столу.

Освободив стол от закусок, Садыхов вынул из нагрудного кармана спичечную коробку и молча протянул мне. Я осторожно высунул содержимое коробки в банку с притертой пробкой.

— Ого, — сказал я, — уже с надкрыльями... эти во второй стадии. Но больше в первой. А вот только-что отродившиеся, видите, еще белые? Часа через два под влиянием света они почернеют.

— За Мамаш-кишлаком отродившейся саранчи — полная масса.

— Во что бы то ни стало нужно кончать канаву. Как у вас в Исламе с хошарными работами?

— Можно сказать, что работают. Но медленно, потому что дехкане явно саботируют, и потом там выявлена контрреволюционная пропаганда.

— Что вам удалось сделать?

— Я, значит, как приехал, послал вам информационную сводку...

— Не получал.

— Да... Потом созвал собрание и вел по всем директивам агитацию. Но тут выявилась болезненная неувязка, ибо, значит, во многих местах преступно отсутствуют кишлачные уполномоченные. Да... В кишлаках Багир и Халач свила осиное гнездо байская гидра. Там мулы и ишаны ведут открытую пропаганду против директив партии и советской власти. Я, значит, сделал соответственный нажим на аульную тройку. Мы выявили все злостные элементы. Вот список — пятьдесят восемь человек. Есть один сардар — бывший офицер эмира бухарского. Теперь, значит, надо пресечь в корне, иначе они сорвут хошарные работы.

— Но людей! Где же взять людей?

— Надо посылать срочную телеграмму в Дивона-Баг.

— Надо что-то делать немедленно. Вот что, товарищ Садыхов! Возьмите с собой Айрапетова, двух караул-милиционеров из чарвударского товарищества и поезжайте ночью обратно в Ислам с тем, чтобы утром все без исключения дехкане вышли на хошар. Несколько ишанов и баев арестуйте и отправьте с милицией в Лебаб. Помните, что в Мамаш-кишлаке саранча уже во втором возрасте, — исламская канава должна быть закончена в первую голову!

### XIII

Психический профиль предрика Донских не отличался строгой законченностью линий: черты его духовного лица были выточены не из целой болванки, а сплавлены из осколков различного качества и удельного веса. Его внутренний мир представлял собою интересную, но не всегда полезную смесь вдохновленной мужественности и вздорной настойчивости ребенка. Подобно недовытренному рысаку, он не умел сдерживать свою ретивую энергию и часто «закидывался на сторону». Отдельные «сбои» ему прощались. Но, когда дело доходило до грубых «проскачек», предрика с вежливой решительностью выводили с круга.

Биография Донских зияет такими грустными провалами. Поэтому я не был удивлен, когда получил из Дивона-Баг телеграмму неожиданного и обидного для предрика содержания. Она гласила о том, что по распоряжению центра все тройки на территории Туркмении ликвидируются и для борьбы с саранчой выделяются чрезвычайные уполномоченные, — лебабским уполномоченным назначается Садыхов.

Вспомнили все: его (Донских) телеграммы, похожие на письма запорожцев турецкому султану, психоз керосиновых идей, лихую самостоятельность и необузданное самовластие, подумали и свели с круга. Период «саранчовой» партизанщины подходил к концу, — нужны были твердое управление, организованность и дисциплина, новые идеи и новые люди.

### XIV

К Чумкерской переправе срочно выслано двенадцать арб: на берег Аму-Дарьи прибыли оцинкованные щиты, бидоны с мышьяковисто-кислым натром, «саранчовые» техники и старшие рабочие.

На белой базарной площади собрались взволнованные и голосистые лебабцы. Вдоль стены амбулатории ходит кудрявоволосый и задумчивый Злободжанский. Скалят друг другу зубы циничный Рыбак и добродушный Овез. В шумной кучке, где Айрапетов, Невзоров и Животовская, критикует последние события финагент Собакин, мрачно сияют стекла его очков и ископченное оспой лицо. Батрачком Джафаров с откровенным восхищением следит за комсомолочкой Гюль-Чуль, пробегающей через площадь к чайхане: у Цветка Пустыни ноги темные и строгие, маленький живот и стремительно вздрагивающая грудь.

Из-за дувала, гонимые навязчивыми клубами пыли, показываются арбы.

Впереди арб плывут шлемы, и нежными бликами различаются мелькающие краги. Молодые лица, опаленные солнцем и знойной

пылью, надвигаются на нас. Это — «саранчовый» молодняк, смена нам, пережившим тяжелую и слепую героическую партизанщины. Мы окружаем их.

Среди них техники-студенты Средне-Азиатского государственного университета и старшие рабочие-комсомольцы из Дивон-Баг. Комсомольцы — в трусах, голубых майках и красных повязках поверх непослушных волос, техники — в белых штанах и горделивых шлемах. Мы здороваемся и с веселым любопытством ощупываем друг друга глазами.

Скрипя и звякая металлом, остановились арбы. Они были перегружены пузатыми бидонами, щитами, ведрами, фонарями и мерными кружками. Это был тот полновесный и блестящий набор для борьбы с саранчой, о котором мы когда-то лишь неистово мечтали с предриком Донских.

---

# Б. М. Маников и работник его Гриша

Повесть

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

## I

Встрече Бориса Митрофановича Маникова с его бывшим работником Гришей предшествовали многие размышления. Размышления эти особенно остры стали с того дня, когда он однажды, идя по Москве, подумал, что люди, населяющие сейчас Москву, для него существуют, а он для них — нет. Может быть, они замечают его тело, которое говорит, питается, спит и которое они иногда могут даже назвать Борисом Митрофановичем Маниковым, но понять его или даже попытаться понять они не могут. И он ощутил, проходя по этим знакомым с детства улицам, что улицы вот уже десять или пятнадцать лет как заселены иным народом и от прежнего города остались только здания: так же мало меняется посуда, когда в нее наливают разноцветные жидкости... Борису Митрофановичу было уже свыше шестидесяти лет. Сухой и жилистый, он походил на гребенку с поломанными зубцами; громадные и прозрачные уши делали его лицо внимательным, приглядывающимся даже как-им-то, а на самом деле он был рассеян и видел и слышал очень мало. Он жил за городом, в подмосковной деревне, вместе с сестрой своей Натальей Митрофановной с востреньким лицом и черными бровями, и хотя она совсем стара, на много старше Бориса Митрофановича, часто прихварывала, любила знахарок и бабок, но по-прежнему в ней было много властолюбия, по-прежнему она любила думать и была уверена, что в теперешней жизни к богатству и славе все же можно найти, если поискать внимательно, ловкую лазейку и что ей еще не поздно найти эту лазейку!

Прежде, в прежней знакомой Москве Борис Митрофанович Маников содержал «семейные бани» недалеко от Арбата, в одном из переулков. Дело это приносило большой доход и почет, да и отец передал ему это дело в исправности и без долгов. Борис Митрофанович выгодно женился, выгодно и быстро выдал сестру за торговца мебелью, почтенного и богатого человека. Этот почтенный человек и во времена нэпа лавировал вначале весьма искусно, но времена уже были не те и он умер, говорили, от водки, но надо думать — больше от огорчения, что не может угнаться за более молодыми и беззаботными. Имел этот торговец и зять Бориса Митрофановича забавную семейную тайну, которая и переехала даже с Борисом Митрофановичем в подмосковную деревню: как-то еще до революции приобрел торговец редчайшую кровать с редчайшими четырьмя

миниатюрами по углам, а затем так ее ловко закрасил, так приbedнил, что десятки опытейших финансовых инспекторов, много раз описывавшие его имущество, на эту кровать не обращали внимания, а один даже спросил презрительно: «И зачем вы такую дрянь держите?» И сам торговец смеялся, и жена его Наталья Митрофановна смеялась, и когда-то смеялся Борис Митрофанович!

Неподалеку от улочки, на которой они жили, протекала под мохнатым обрывом Москва-река, напротив стояла каменная церковь, а мимо в дачные местности проносились автобусы, а если взять от улочки влево, то сразу развертывались лиловые картофельные поля, и когда поднимался туман или метель, то не видно было Москвы, ее дыма и света, и казалось, что они живут далеко в провинции. Наталья Митрофановна, поглядывая на эти поля, любила упрекать Бориса Митрофановича в бездеятельности, а он хлеб свой действительно добывал с большим трудом, перепродавая различную чепуховину на толчке с лицом и взором аристократа, а больше всего он любил сидеть у окна и маленькими ножницами вырезать коньков из газетной бумаги, а затем, подрисовав им красным карандашом глаза и брови, уходил гулять и там незаметно разбрасывал этих коньков по дороге или по берегу Москвы-реки.

Весной тысяча девятьсот двадцать девятого года сидел, как всегда, Борис Митрофанович у окна и вырезал своих коньков. Конек за этот день был уже десятый по счету, когда он увидал подле палисадника человечка в стежном картузе, с коротенькой ищущей походкой. Сестра сразу же догадалась, у кого может быть такая походка и сразу же скрывающе заворошилась в спальне, а Борис Митрофанович отложил ножницы.

## II

Борис Митрофанович вначале подумал то же, что подумала и его сестра: это новый, назначенный на место прежнего, видимо, непригодного фининспектора, потому что тот, прежний, с белокурым чубом, похожим на крендель, даже сам любил говорить: «Возможно, что и, учитывая вас, ошибаюсь я, граждане». Но прежде чем Борис Митрофанович успел сложить свои мысли в одну фразу с тем, чтобы их передать сестре, он с острой неприязнью вспомнил длинную и волосатую шею человека, стоящего подле палисадника. И еще больше неприятно ему было вспомнить свою гордость, которая так выпукло обозначилась в этом деле с наглым и самолюбивым номерным Григорием Гуциным. Гриша Гуцин был нагл и скуп, он получал отличное жалованье и все же, несмотря на запрещения Бориса Митрофановича, подрабатывал с гостей, приводя им в номера «девиц». И вот никому иному, как этому Грише, он, Борис Митрофанович, предложил отдать замуж племянницу свою Веру, которая воспитывалась у него в доме! А пожелал он отдать ее Грише, а не чиновникам-женехам, обильно посещавшим его дом, потому, что Вера была «опозорена». Она возвращалась от подружки как-то домой одна. Подле «семейных бань» строился чей-то громадный дом, стояли леса, и пьяные хулиганы затащили ее на постройку. Вера была сильна, висока, она лихо отбивалась и кричала, о лицо какого-то хулигана она сломала зонтик свой. Ее изнасиловали. Позже на крики ее прибежал полицейский, засвистал, — и дело огласили! Стыд упал на дом Бориса Митрофановича! Женихи и раскрашенные открытки, которые посылались ей во все дни двенадцатых праздников, исчезли. По-



други покинули ее. Она сразу стала шлюхой, сразу же в ее походке и в ее сильном теле, которым раньше так восхищались, увидели похоть и сластолюбие! Знакомые отворачивались от нее.

Борис Митрофанович вспомнил, как его мучала гордость, некудышная гордость, которая и посейчас мучает его сестру, и она так же, как и он тогда, думает, что способна и своей гордостью и своим умом пересилить весь мир. Страдая этой гордостью, он подумал тотчас же о Грише. Гриша, наглец и жулик, один мог без спора и разъяснений понять его. Грише Гущину было лет тридцать, он уже подумывал о возвращении в деревню, на покой и на солидное хозяйство. Борис Митрофанович призвал его и предложил ему получить две с половиной тысячи денег и Веру в жены. Гриша, погладив свою длинную и волосатую шею, склонил голову и со вседашней своей привычкой прибавлять почти к каждой фразе «да», тоспешно проговорил:

— Когда прикажете благословляться притти?

И еще горшее вспомнил Борис Митрофанович: как они пришли благословляться. Вера, рослая, грудастая и с розовыми щеками, которые за месяц сплошных слез все же не побледнели, стояла шага за три от своего жениха и все отодвигалась еще дальше, подергивая левым плечом. Был морозный канун нового года. В окно Борис Митрофанович видел, как на углу переулка извозчики из торб, подвешенных к оглоблям, кормили коней овсом. Овсинки, окруженные пушистыми каплями пара, катились из розовых морд коней. Голубой, звенящий, как новая сбруя, снег крутился над окнами и над крышами! Борис Митрофанович передал задаток полторы тысячи и сказал, что остальные получит Гриша после венчания.

У ворот толпились номерные, приятели Гриши, они смеялись, подталкивали друг друга, но, когда Гриша шел мимо со своей нареченной, сутулый, хмурый, в новом пальто с барашковым воротником, номерные не осмелились пошутить и как-то неумело замолчали. Невеста посмотрела на них смело. Они ушли в ворота. Невеста махнула рукой. Извозчик, натягивая большие, похожие на чемоданы, рукавицы, подал им коня.

### III

Борис Митрофанович знал, что племянница ничуть не осуждает его, — для нее все исчезло: и женихи-чиновники, и наследство от Бориса Митрофановича, который не имел детей, и легкая жизнь, которую она вела до этого, и тогда видеть это ее понимание было приятно и лестно даже Борису Митрофановичу, но теперь вспоминать об этом ему было стыдно. Вспомнил он и то, как он радовался, что люди теперь уже не осудят, что испорченная девушка живет в его доме, и как ему было приятно узнать, что он был прав, она и, впрямь, дурна: повенчаные Вера и Гриша часто ссорятся, Гриша пьет и чуть ли не поговаривает о разводе. Слухи эти достигали к Борису Митрофановичу стороной, так как Вера, приходя, сама никогда не жаловалась на плохую жизнь и попрежнему была румяной и стройной. Затем она забеременела и перестала посещать дом Бориса Митрофановича, а еще позже слышал он, что Гущины переехали в Самару и что родила она мальчика. В Самаре, говорили, Гриша открыл чайную, стал спокойнее, а мальчишка рос лихо. Тем временем Борис Митрофанович тоже рос капиталом, строя дом и бани. Он ходил на биржу и

с несколькими друзьями разрабатывал планы постройки огромных бань на манер римских, и даже очень умный архитектор подыскался... но тут подспела война, революция... «И сами мы попали в баню» — как любили он и его приятели подшучивать, сидя за чаем и обсуждая свои проекты, в начале революции, но шуточки эти продолжались недолго...

Во время нэпа несколько раз неудачно пытался подняться до прежних своих под'емов Борис Митрофанович и во время одного из этих под'емов он узнал, что племянница его Вера умерла здесь, в Москве. Какой-то прыщеватый мальчонка в лохматой бараньей шапке и коротком тулупчике принес ему записочку от Гриши, который приглашал на похороны. Борис Митрофанович торопился куда-то с ходатайством, прочтя записку, он попытался вспомнить походку, лицо и голос Веры, — и ничего не мог вспомнить, кроме широкого румянца на щеках. И о записке он забыл через полчаса, — а сейчас, глядя на Гришу, рассматривающего палисадник, и на свою сестру, суеотящуюся в соседней комнате, он вспомнил эту записку: написана она была карандашом на листике, вырванном из тетради «для арифметических упражнений», и Борис Митрофанович, дабы забыть эту записочку и свою тогдашнюю ничтожную суеотливость и дабы освободиться от зрелища теперешней ничтожной суеотливости сестры, пошутил:

— Ты вот, Наталья Митрофановна, хвасталась ты, что удачно обвела фина, а смотри, на его место нового назначили! — и он указал на Гришу.

— Так я же тебе об этом и говорила! — ответила она, пугаясь того, что даже и незадачливый Борис Митрофанович догадался о новом финае.

— Ты нашего Гришу помнишь, Наталья Митрофановна?

— Который Верку взял? Злодей был мужик, — ответила она, еще более пугаясь своих слов о злодействе, сказанных только потому, что лицо нового фина показалось ей знакомым, а знаком, значит, потому, что он мог когда-то и где-то их весьма успешно притеснять!

— Ну так ты и присмотришься, Наталья Митрофановна, Гришу-то этого и назначили нам в фина!

Она так и ахнула. Тотчас же она вспомнила, что покойный ее муж рассказывал еще при Грише, какую он замечательную и бесценную кровать купил. Она, охая и потирая по привычке своей ладонью отвисшие и дряблые свои щеки, подбежала к окну. Точно, там стоял Гриша Гуцин. Та же у него отвратительная и волосатая шея и тот же наглый и в то же время светлый взгляд, и нового в нем была только какая-то неошутимая пустота, та страшная пустота, которую, как думала Наталья Митрофановна, она много знала в людях, поднявшихся высоко.

Борис Митрофанович, накинув ватную свою тужурку, сшитую из солдатского сукна, вышел на крыльцо. С крыльца видна Москва-река, тающая и блестящая тем напряженным блеском, которым блестит олово, начинающее расплавляться. Деревья в палисаднике были тоже блестящи и как бы готовились к прыжку... Борис Митрофанович глубоко вдохнул воздух.

— Входи, что ли, — сказал он Грише.

## IV

Да, несомненно, это был Гриша!

И Гриша, видимо, сразу же узнал своего бывшего хозяина. Гриша не глядел ему в лицо, он касался своим взглядом только края, его взгляд скользил где-то подле прозрачных и больших ушей Бориса Митрофановича, и этот взгляд первые мгновения был очень неприятен Борису Митрофановичу, но дальше он понял, что не только взгляд Гриши, но и вся их последующая и замечательная беседа происходила не здесь и не для Бориса Митрофановича и Натальи Митрофановны, — происходила она и производилась она у кого-то и для кого-то в пространство, и эта манера и это скольжение разговора и путанность хотя и сильно раздражали Бориса Митрофановича, но в то же время неудержимо влекли его за собой. Он тоже, как Гриша, заговорил быстро, путаясь и волнуясь!

Но прежде чем начался этот примечательный разговор, Борис Митрофанович и его гость прошли мимо церкви на высокий берег Москвы-реки. Здесь подул им в лицо весенний ветер, пахнувший тающим льдом; низкие горы, видневшиеся вдали, как бы раскрывались от солнца, и лес на горах весь дрожал и поднимался на цыпочки... Но они, не замечая ничего этого и не видя, как Наталья Митрофановна машет им рукой и кличет их в дом, подготавливаясь, как бы разбегающаяся для будущей беседы, быстро миновали ограду, каменную и потрескавшуюся, потрогали чугунную плиту на могиле какого-то почтенного протоиерея, умершего, как сообщала плита, совершенно в неправдоподобно преклонном возрасте. Правую руку Гриша постоянно держал за пазухой, а левой поглаживал свою шею, и рука эта у него была вся обветренная, красная и в дегте.

— Постарел ты, Гриша, — сказал Борис Митрофанович, и Гриша обрадованно как-то подхватил:

— Да ведь как же, да, пятьдесят пять, да, пятьдесят пять!.. — И он улыбнулся длинной своей улыбкой, которая вначале всегда казалась жалобной, но совсем неожиданно переходила в наглую, и тогда глаза его светлели... Борис Митрофанович вспомнил эту улыбку, — но наглости у Гриши не вышло, и тогда Борис Митрофанович сам улыбнулся и подумал, что улыбается он тому, что, как и двадцать лет назад, Гриша все еще повторяет эти свои приставочки «да, да», и Борису Митрофановичу подумалось: а ведь может статься, что Гриша не фининспектор, да и почему они решили, что он фин, формы же на них пока нет... просто Гриша впал в бедность и явился за помощью, и здесь-то вот нужно ему сказать с большим умением, что дать они ему ничего не могут и самое большое их угощение: морковный чай! И сказать это лучше всего сразу, чтобы Гриша не стеснялся и мог сразу же проявить свою злобу или радость, смотря по тому, каков в нем теперь преобладает характер!

Гриша вдруг широко раскрыл глаза, и по лицу его стало понятно, что он только теперь увидал Москву-реку; что он не знает, что это за река, и у него даже губы раскрылись, чтобы спросить: какая и почему здесь река, но тотчас же весь внешний мир спутался, и выбирать слова для этого внешнего мира ему настолько было тяжело, что шея его туго налилась кровью, потемнела, и он быстрыми шагами направился к палисаднику, возле которого его и окрикнул Борис Митрофанович и возле которого он, Гриша, приготовил уже все, что ему нужно и должно сказать и сделать.

## V

Когда они входили в дом, Наталья Митрофановна припрятывала последние свои тряпки, те, которые она считала своим долгом спрятать, и в поисках места для их укрытия она бегала все время, пока они гуляли, но более надежного места, как под кровать, она не могла найти, — она и укладывала их под кроватью. Она вылезла потная, багровая, тупо уставилась на Гришу, и то, что он ее не узнал и даже не смотрел на нее, испугало ее невероятно. Гриша быстро опустил на лавку и заговорил так, как-будто он давно уже начал:

— Ну вот, плывут они среди лесов один день, другой плывут, а кругом берега с церквями, а народу нету и нету армий...

— Кто плывет? — спросил Борис Митрофанович.

— Ну, флотилия плывет. Сын-то мой, звали его тоже Гришей, поступил матросом в флотилию, которую, слышь, прозвали волжской и направили против Казани, в которой, говорят, весь наш золотой запас хранился и на который, говорят, все буржуи мира сбегались! Плывут они, говорю, и плывут они не больше не меньше как в подводной лодке прямо по Марининской системе из Петербурга. А из плавания этого, Борис Митрофанович, получал я в эти времена от Гриши очень многое объясняющие письма...

— От Веры сын-то, что ли, был? — спросил Борис Митрофанович, волнуясь.

— Как жэ, от нее, в Самаре родился! Рослая была женщина и все любила с палочкой ходить, и сын получился рослый и тоже с палочкой в матросы пошел, а тогда дисциплина свободная была, лишь воюй, а там с палкой ты ходишь или с бревном,—безразлично, однако, какой-то главнокомандующий похохотал над ним: «Ты, говорит, молодой и революционный матрос, почему у тебя, как у старика, для выхода палка?» И он и ему ответил, и нам в письме написал, что палку ему для революции бросить не трудно, что он ради революции не только палки, но и жизни своей не пожалеет. И кинул он тут на глазах всего флота палку в Волгу и поплыла она в Каспий!.. Очень трогательно! А я, как вам известно, Борис Митрофанович, бани к тем временам бросил и промышлял извозным, и чайная у меня в Самаре на берегу Волги была! Самара — город отличный, хотя и запьянцовский. Сам я никогда, как вам известно, не пил и сына приучил, и сын только, действительно, признавался, что когда подводная лодка опускается в воду и как весь инструмент и весь воздух и все стены вокруг начинают по мере опускания холодеть, то тогда даже и непьющему выпить хочется... Кончатся это наши чайная, извозные расчеты, выйдем мы с женой на берег и думаем, что стала для нас с некоторого времени Волга как бы страшным синим морем и что никогда мы не думали, что она настолько страшна может быть, а течет она в те времена пустая, и разве только щелка с какого-нибудь потонувшего парохода мимо нас проплывет. А ведь раньше, бывало, стоишь в праздник, так ведь от большого чая до обеда мимо твоих глаз пароходов пятнадцать проплывает. И чем ближе наш сын подходит к Казани, тем больше мы думаем: есть в этом Ленинове что-то такое от справедливости, и касательно того, что буржуев было необходимо уничтожать и уничтожать окончательно, то всегда он был в этом прав!

Здесь Наталья Митрофановна не удержалась. Она приоткрыла дверь и, просунув голову, боязливо и в то же время стараясь быть веселой, спросила:

— Ты что же по финансам работаешь?

Гриша встал, поклонился и ответил с торжественной и жалкой улыбкой.

— Нет, я в полной и откровенной отставке! Да, да... Я грудь сломал на своем ломовом деле, да и действительно поступать так азартно на старости лет не годится. Заспорили мы, слышишь! Я им говорю, что подниму пятнадцать пудов, и верно, поднять-то поднял, но тут произошло в груди встрясение и стало мне как-то тесно дышать...

— Что же с твоим матросом-то? — спросил Борис Митрофанович. Ему хотелось и узнать, зачем пришел Гриша, и не любил он разговоров о болезнях.

— С матросом-то нашим? Известно, что может произойти с матросом! Идут они ночью и наткнулись они ночью на мину и взорвались и кончились с того дня письма от него... Год с той смерти или три, я уж не знаю, мы все в чайной своей орудовали, и кони наши ходили по Самаре, так вот через год, что ли, выходим мы с Верой Ивановной на волжский наш берег. По нему пароходы идут, как и раньше, народ в буфетах стерлядей ест, а мы перед самым нашим выходом на Волгу письма Гришины перечитывали. Очень, скажу вам по совести, возвышенные письма и даже, если их с площади прочесть бы вслух, как теперь есть такое вслух говорящее радио, многим бы пользы дали... Рассуждаем мы и дальше: вот, мол, Вера Ивановна, сын-то наш шел правильно, за спасение погибающих, а мы живем как-то не точно и вот ведь и женился-то я на тебе, говорю, Вера Ивановна, тоже не точно, не по любви, а потому, что банщик Борис Митрофанович дал мне за тобой в приданое или, лучше сказать, чтобы успокоить свою банную гордость, две с половиной тысячи рублей. Купил, одним словом, говорю, мужа тебе, Вера Ивановна!

Борис Митрофанович сказал мучительно и торопливо:

— Ну, о чем говорить, Гриша! От этого же никакого вреда не произошло. Если сын твой умер, то он, наверное, не знал же обстоятельств твоей женитьбы.

— Сын не знал, конечно, Борис Митрофанович.

— Да ведь и прошло этому двадцать слишком лет, и что вспоминать то, что было двадцать слишком лет, а?

— Двадцать слишком лет прошло, верно, Борис Митрофанович. Но вот двадцать-то слишком лет спустя и началось самое мое от этого главное несчастье.

— Двадцать лет, Гриша?..

— Да, двадцать лет, — ответил Гриша с болью и гордостью.

## VI

Гриша заговорил плавно и быстро, и Борис Митрофанович понял, что Гриша теперь только подошел к тому, что уже давно и плотно засело в нем, в чем уже нельзя изменить или переставить слово и что есть то главное, до чего он добирался с такой, явной всем болью и трудом... «Так вот и путник, — подумалось Борису Митрофановичу, — долго бредет топями, болотами, пока не выйдет на ровный и чистый луг, и здесь перед ним внезапно и плавно катится река, гудят пароходы, и плоты весело несут весенние свои бревна, и на бревно опускается синица, бревно влажное, на него только-что накатила волна от парохода, оно блестит, и синица, подрагивая хвостиком, оправляет свои перья...»

— Да, Борис Митрофанович, так вот мы и рассуждаем с Верой

Ивановной! Говорю я ей: живем мы с тобой в отличном Самарском городе, и большое у нас с тобой хозяйство, и четыре громаднейшие, может быть, самые громаднейшие и выносливые ломовые во всем самарском крае, и работники у нас к этим коням замечательные, и живем мы с тобой замечательно, и чай у нас по всему волжскому берегу самый крепкий, и при чайной у нас квартера из двух комнат с отдельной кухней и даже, как у любого попа, есть у нас собственный комод и буфет. «И верно, — отвечает мне она, — замечательно живем» — и сама смотрит в землю, а немного погодя поднимает меня глаза и говорит: «Думать ли нам об этом?.. Борис Митрофанович как следует наказан за свою гордость!.. Вот кабы сынок вернулся, узнав это, и мог бы тебе что посоветовать, а сейчас я не думаю: вот мы с тобой, муженек, продержали весь военный коммунизм вплоть до свободной торговли четырех лучших коней в городе и самых лучших работников и дальше теперь хотим свое дело развивать, и правильно ли это?» Я ее еще тогда не понял, сознаюсь, я ответил, как, мол, теперь не развивать! Теперь овес куда легче, чем при военном коммунизме доставать! Она тут сразу замолчала и только румянец у нее вековой так и полыщет по лицу. Она это молчит, а я говорю: «Очень мне нехорошо, Вера Ивановна, думать я не привык, а главное придумаешь, только бы сказать, — а тут вместо настоящего слова либо обругаешься, либо выпить захочется, но только смотрю я на свое развивающееся хозяйство и полагаю, что купленная у меня жизнь». Она мне и говорит: «Полагать мало, надо делать...» — И сама отошла как бы обиженная.

— На что же ей обижаться, Гриша? — спросила Наталья Митрофановна.

— ...И очень сильно с того разговора затосковал я, Борис Митрофанович, так затосковал, что откровенно и сказать-то неловко: и по сыну так не тосковал. Все бывало в кровати ворочаюсь, а кровать у меня богатая, с металлическими шишками и на пружинах и с замечательным богатым ситцевым пологом. И вот раз вскакиваю я, под рукой умыть не мог, а на дворе еще темно и дождичек такой осенний, на всю жизнь, кажется... Говорю я: «Вера Ивановна, решил я и телеги и коней, и работников рассчитывать!» Жена это на меня смотрит и говорит тихо: «Что же, сколько на конях ни вози, сколько ни скачи, а от своего сердца не ускачешь и горя своего никуда не увезешь. Продавай!» Отправился я на базар, кони тогда в цене были да и народ видит: коней привел продавать Григорий Гуцин, разорился, и каждому, конечно, лестно меня унижить и коней моих купить. Продал я и в своей чайной какое есть снаряжение и посуду, рассчитал своих работников и кухарку, и осталось у меня тогда ровно девятьсот сорок рублей. Выложил я эти деньги перед женой и говорю: «Вот, мол, и деньги за коней моих и за телеги, и выходит по этим деньгам, что ты сама немногим была дороже моих коней и моей чайной». Она опять молчит и только дня через два так, мельком, сказала, что верно, тяжело дожить до старости и понять вдруг такие мысли... Но и тогда-то, Борис Митрофанович, не дошли мы до самой главной нашей думы, что и мою жизнь загубила и Веру Ивановну свела в могилу. Подожили мы деньги те в сберегательную кассу, перебрались в Москву и поселились в Петровском парке, поближе к Савеловскому вокзалу, там много в улицах нашего ломового брата живет. Сарай есть в одном дворе, раньше лес, что ли, там сушили, а теперь на жилье переделали, нагородили собачьих конур, перегородки досчатые, глиной обмазанные, сырость, мороз, зато дешево...

## VII

— Глупости это, — сказал, несколько оправляясь от своего волнения, Борис Митрофанович, — глупости это: деньги копить!

— Зачем глупости? — еще больше заволновался Гриша. — Мученье никогда не глупости. Переселились мы в эти сырости; только расставили наше имущество и стол клеенкой накрыли, так и понял я: нехватит нам уже сил из этой комнатешки выбраться и нехватит еще и потому, что если мы друг другу свои мысли полностью не откроем и что если открывать, так поскорей. Дрова я в эту минуту накладывал в печку, Борис Митрофанович, так я бросил дрова, встал и говорю: «Завтра мне на работу уже простым ломовым итти, Вера Ивановна, с завтрашнего дня мне от усталости, может быть, али от злости уже и говорить-то будет трудно, так я сегодня скажу. Я так думаю, Вера Ивановна, что те две с половиной тысячи, которые мне за мою совесть дал Борис Митрофанович, мне эти две с половиной тысячи надо ему вернуть целиком».

— Отдаст она, Верка-то, как же, — отозвалась из-за дверей Надежда Митрофановна, — жадна она была всегда, как чорт!

Сказала она это не оттого, что действительно была уверена, что Вера жадна, — Наталья Митрофановна всегда была занята главным образом только собой и если думала о том, каковы люди, то она их всех, кроме себя, считала дураками, — а сейчас о жадности Веры она сказала потому, что ей хотелось поскорей узнать: почему же, если они согласились вот уже как три года возратить своему бывшему хозяину его деньги, которые она теперь уже считала долгом, и на невозвращение которых она бы теперь очень обиделась?.. Борису Митрофановичу было стыдно смотреть на ее потный и жадный старческий лоб, покрытый седыми и редкими волосами. Она отстранила Бориса Митрофановича и села перед Гришей к замасленному и грязному столу. В комнатах была пыль, слякоть, никак не хотели убрать, почистить, все надеялись на лучшее будущее. Наталья Митрофановна смотрела прямо в рот Грише, но тот попрежнему ее не видал.

— А она еще раньше меня, надо думать, возмечтала столь же гордо. Как я ей только сказал эти мои слова, так у ней лицо-то еще больше вспылало, и она мне быстро, так быстро, сыпет: «Отдать, отдать непременно, Гриша». А у меня от тех ее слов даже как-то дышать тяжело стало, сел я на табуретку, а она сама начала дрова в печку кидать. Я на нее смотрю и вслух думаю: «Позволь, Вера, мой сын буржуев уничтожал и лодку в том уничтожении и свою жизнь потопил, а тут выходит, что мы им поможем вновь на ноги подняться, когда мы их обязаны топить, как они нашего сына утопили?» А она мне напротив тоже вслух думает: «Я у них воспитывалась, жила и ими благодетельствована, я их жизнь прекрасно, лучше своей понимаю. Они эти деньги получают и верно употребят их на свое возвышение и поднятие, а этому возвышению никогда уже в нашей стране не быть, и получится им от этого еще большее уничтожение, а нам полное освобождение наших мыслей». И так меня ее слова разожгли, что я обошел комнатешку нашу, и без того пустую, с мыслями, что бы еще продать, и вышло так, что сундучки и чемоданчики наши, в которых мы наше барахлишко привезли, вполне продать можно, так как никуда нам уже из этой комнатешки не выехать! И верно, выручил я с этой продажи пятнадцать рублей, которые и отвез на книжку. Пошла моя Вера приходящей прислугой;

ночами стирала артистам, которые снимаются в бывшем Яру, а живут неподалеку от нас, а я днем в ломовых ходил, а вечерами, вспомнив детское свое обучение, — мой батюшка-то из сапожников происходил, — починял ломовикам и валенки и сапоги, одежда, сам знаешь, у ломовиков как огонь горит, брал я дешево и было у меня заработков достаточно. А в хибарке нашей холодище, ветер; вечером натопишь, а к утру, смотришь — и выстыло, а я поспать люблю, а Вера-то, обо мне забота, поднимется раным-рано, затопит печку, чтобы мне на работу из тепла итти. А стены, как я вам говорил, у наших казарм глинобитные, и от глины по утрам уничтожительный и мерзкий запах идет, и я из запаха-то на какой-никакой чистый воздух выхожу, а Вера перед тем, как находящую уйти, еще и кушанье сготовит и починит для меня что... Вот захватил ее этот запах, который, знаешь, пошел на сердце, а с сердца в кровь, что ли... подлинно мне вся тонкость эта докторская неизвестна, но начала моя Вера Ивановна сначала покашливать, с румянца спадать, а там и чахнуть. Доктора пришли, которые к нашему ломовому делу приставлены, но только у нас, у ломовых, болезни грубые, им, докторам, лечить их трудно, иной, смотришь, даже в слезу пробьется, а ничего с нашей болезнью понять не может, мы больше сами лечимся, есть у нас и такие разные знахарочки, из цыганок, которые петь по случаю революции прекратили. Пришел такой доктор один, посмотрел; пришла попозже и цыганочка, тоже пощупала и посмотрела. Жалостливая такая цыганочка и с голоском, как весной сосульки ледяные на землю падают, и оба они сказали: «Выздоровеет!» А моя Вера Ивановна все чахнет и чахнет и только мне не забывает повторять: «Ты, говорит, деньги копи, а я и так поднимусь, самое главное человеку — захотеть подняться, а он уже поднимется, сколько бы ни лежал». Ну, как она ни хотела подняться, как ни отрывала голову, а прошлой осенью вернулся я это как-то с работы поздно, смотрю: нет у ней больше румянца, и лицо от этого хоть и страшное, но легкое какое-то, как-будто зимой лист вынесет когда из-под снега и поднимет ветром. Посмотрела она на меня и, как вам известно, будучи прославлена своими улыбками, улыбнулась мне по-знакомому и говорит: «Сколько у тебя скоплено, Гриша, на сберегательной?» А я ей отвечаю, что, мол, Вера Ивановна, скоплено нами очень много: без малого две тысячи. Тут она подумала и говорит: «Ты, Гриша, на мои похороны больше полтораста рублей не трать, ты пышность любишь. Я, Гриша, теперь скажу тебе по правде, плохо вижу, но все-таки тебе советую и на себя как-нибудь хоть в осеннюю лужу посмотреть, если зеркала не подвернется, и по виду тому своему ты и поймешь, что едва ли ты больше двух тысяч скопишь, да и, кроме того, времена, как мне известно по приходящей службе, такие для буржуев подходят, что лучше с ними сейчас рассчитаться, пока с ними окончательно кто-то за нас не стал рассчитываться...»

— Я говорю, злюка! — сказала Наталья Митрофановна.

— ...И верно, израсходовал я из тех денег почти что полтораста на похороны и то ли от ее слов, то ли верно, пора ко мне такая подошла, но по утрам всё вставать труднее и труднее стало, и решил я тогда навалиться на работу. Ну и навалился же! Пар от меня за версту идет, мяса я с'едал по три фунта и хлеба почти по пять за день. Ребята мне: «Куда ты рвешься, старик?» А я им: «поддай», да вот, как я вам уже и изволил говорить, Борис Митрофанович, чтобы не столько удаль показать, а чтобы назначили меня на самые труднейшие работы, на которых я смог бы побольше заработать, и



произошло у меня от под'ема пятнадцати пудов внутреннее расщепление груди. Послушал меня доктор через такую трубочку с двумя резиновыми концами, головой качает в шаг того, как я грудью свищу, и сказал этот доктор: «Старик ты резкий, так и я с тобой резок буду и говорю тебе: махни на все и кончай скорее все свои земные дела». Вот это доктор, настоящая душа! Он, оказывается, военным был, оттого у него и понятие жизни такое справедливое. Сильно я его поблагодарил, пошел в тот же день в кассу и взял оттуда все, что там нами скоплено, а оказалось этого всего две тысячи сто десять рублей. Сильно мне хотелось накопить до полной суммы, и тут бы я мог и справедливому доктору не поверить и работал бы до суммы, но сказал тут один человек: «Больно некрасиво живет Борис Митрофанович, под Москвой и без дела, как бы он в другие места не уехал...» А где мне вас искать в других местах, Борис Митрофанович? Как-никак, а у меня злостное расщепление груди!

И он больше из вежливости, чем из своего суждения, разворачивая грязный пакет из газетной бумаги, сказал о здоровье и о жизни Бориса Митрофановича:

— Однако же, соврал человек, живете вы отлично и собою все здоровы. Получайте, пожалуйста!.. да, да...

Но здесь на деньги навалилась всем своим рыхлым телом Наталья Митрофановна. Пришепечывая, путая слова, то говоря, что пересчитает, то, что считать некогда, она закутывала деньги опять в бумагу. Бумага у ней ползла меж рук, она сорвала рваную и грязную шаль с головы, седые и жидкие ее волосы на висках были мокры. Нестерпимое отвращение овладело Борисом Митрофановичем!

## VIII

Борис Митрофанович понимал, что он не должен и не может принимать этих денег, но он чувствовал и знал, что он не скажет этого. Он отвык от ссор, от брани по денежным делам! Он понимал, что это слабость, но от понимания этой слабости он и ненавидел эти комнатенки с их запахом картофеля и кошек, с киотом в углу и с плохими и некрасивыми иконами. Он ненавидел и Гришу, который, высказав все, что его томило и влекло сюда, сидел теперь, тупо и бессмысленно улыбаясь, и когда Наталья Митрофановна, несколько поуспокоившись, начала пересчитывать деньги, он следил за счетом, и губы его безмолвно двигались за губами Натальи Митрофановны.

Борис Митрофанович поднял свою тужурку из солдатского сукна, и здесь Гриша, торопливо сказав Наталье Митрофановне: «правильно, все правильно сосчитано», торопливо схватил стежонный картуз и пошел за ним. В тужурке этой, вымененной на барахолке за отличные серебряные часы, всегда Борис Митрофанович чувствовал себя уютно и тепло. Ее никто у него не отнимет, ей цена самое большее полтинник, но она удивительно греет и бережет тело. Гриша сломил веточку из палисадника, но держать ее он не мог: по-прежнему он совал правую руку за пазуху, а левой почесывал волосатую свою шею. Он испуганно как-то оглянулся, видимо, отыскивая столб, подле которого останавливается автобус, нашел и радостно замычал. «Зачем, — думал Борис Митрофанович, — я, старик, не отказался от денег, которые мне совершенно не нужны, а этот, другой старик, отдал все свои деньги, на которые он мог бы жить отлично, лечиться и не страдать, и зачем третий старый человек, На-

талья Митрофановна, думает, что Гриша принес эти деньги, чтобы поддержать прежних хозяев и даже думает, что и Вера-то не умерла! Подошел автобус, синий, высокий со светлыми окнами. В этом автобусе сидели веселые и молодые мужчины и женщины, они ездили снимать дачи, чтобы летом ходить при луне, целоваться, говорить глупости и плакать от этих глупостей. У них быстрая и широкая жизнь! Кондуктор взмахнул сумкой. Гриша с осоловелыми глазами, не попрощавшись, вскочил на подножку и дернул внутрь дверь. И в автобусе он так же, как и все прочие, сел бочком, голову откинул назад!.. Долго стоял подле остановки Борис Митрофанович. Несколько автобусов промелькнуло мимо него.

Стыдно и скучно возвращаться ему домой!

И тогда его посетила мысль, которая ему показалась сначала чудовищной и нелепой, но по мере того, как он подходил ближе к домику, в котором он жил, и по мере того, как солнце согрело его спину, эта мысль уже не казалась ему столь грубой. Он подумал, что Гриша никогда бы не мог и не принял бы обратно этих денег и тем нелепее принимать им эти деньги, так как ни по каким законам они не могут принадлежать Б. М. Маникову и его сестре, и еще более — нет и нельзя придумать такого оправдания тому, чтобы на эти деньги опять пытаться кого-то обманывать и с кем-то плутовать. Но Наталья Митрофановна будет на эти деньги плутовать и кого-то обманывать! И еще более укрепило его мысли то, что, когда он вошел в дом, его сестры там не было. Она, наверное, ушла прятать полученные деньги. Она испробует несколько мест, ей придется вырыть несколько ямок, прежде нежели она решится закопать эти деньги. Она устала, она стара, ей тяжело копать кухонным ее ножом, она с усилием роет мокрую весеннюю землю... Омерзительно!

И Борис Митрофанович направился к фину! Фин жил рядом со школой. В сени к Борису Митрофановичу вышел рослый, немного заспанный человек с белокурым чубом, похожим на крендель. Он вежливо — как он уже привык разговаривать, и как это льстило и ему и другим, — спросил, что желает от него гражданин Маников. И гражданин Б. М. Маников с огромными ушами и сухим телом, расставив широко ноги, стоял перед ним и безмолвно смотрел, как фин зажег папироску, быстро искурил, посмотрел в сених, нет ли пепельницы, и погасил папироску о подошву своего сапога. Подошва эта была новая, и то, что фин помнил о ней, так как иначе он не стал бы гасить о нее папироску, а погасил бы, скажем, о порог, показало Борису Митрофановичу, что ничто в жизни не изменилось и мир попрежнему не понимает и не замечает его. Что может сделать старуха на эти две тысячи, столь нелепо приобретенные ею? Да и никто и ничего не сможет сделать на эти две тысячи! И здесь уфина, если он, Борис Митрофанович, попробует рассказать о двух тысячах, то фин решит, что Б. М. Маников просто выдает сестру из мести, или что, может быть, еще хуже, решат, что у них скрыты еще большие деньги! И Борису Митрофановичу стало жалко того, что люди, отлично понимая друг друга, все же не могут понять его, Бориса Митрофановича, и что он не может и не знает того, что есть в нем такого, что люди должны понять! И ему стало нестерпимо жалко себя. Он зарыдал. Фин подхватил его под руку, свел с крыльца, наивеличнейше пожал ему руку и сказал, что просит зайти попозже, успокоенным.

Борис Митрофанович пошел. Но он скоро понял, что идет от своего дома в другую сторону, и это его огорчило, но не остановил.

ся, потому что, чем он дальше шел, тем все легче и легче ему было. Он дышал быстро и ровно. Он на ходу отломил ветвь березы, но оторвать от этой ветки более молодые побеги было уже трудней, и он буквально их отвинчивал. Они были очень забавны, эти побеги, мягкие, налитые жизнью, молодые. И ему было и страшно, и легко, и смешно подумать, что он никогда уже не возвратится домой! Странно, — ведь ему за пятьдесят! Смешно, что к этому решению он пришел на пороге смерти! Легко, так как в той, иной жизни он даже и подумать бы не мог об уходе, а теперь он идет веселым в молодой и широкий мир.

Он шагал долго. Уже далеко остался позади город; уже давно, с какой-то горы последний раз он увидел купол Христа Спасителя, похожий на золотой набалдашник трости, и обозы крестьян уменьшились, и реже стали попадаться деревни, и усталость стала овладевать им, и он подумывал о ночлеге, как его обогнал какой-то бродяжка, очень легкий по ходу, с припухшим, бородатым лицом и голубыми глазками. Бродяжка пропустил его, опять обогнал, закурил папироску, свистнул, высморкался и заигрывающе спросил: «Куда направляетесь, дяденька?» «В Самару» — почему-то ответил Борис Митрофанович, и так как ему это слово понравилось, то он подумал: а ведь действительно неплохо пойти в Самару. Город хлебный, течет там Волга, да и давненько он не видал больших и за зиму сияющие отремонтированных пароходов, которые весной похожи на вставшие дыбом льдины и дым их похож на остатки зимних метелей! «В Самару» — повторил Борис Митрофанович. Бродяжка кивнул головой и тоже, должно быть, подумал, что Самара хороший город, и сказал: «Что ж, и я, пожалуй, дяденька, могу направиться в Самару, а вот только...» Он прошел несколько шагов рядом и затем спросил быстро: «А вот только, много ли ты, дяденька, денег имеешь, чтобы с тобой итти не страшно, а то, знаешь, то-сё, бандисты, отберут!». «Полтинник имею» — ответил Борис Митрофанович. Бродяжка подпрыгнул, обрадовался необыкновенно, полез в карман и, вытаскивая чудесно замасленный рубль, воскликнул: «Ну, я же куда тебя, дяденька, богаче! Качаем, что ли». И они шли, равномерно и весело раскачиваясь.

---

# Гидроцентрль

Роман

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

(Продолжение<sup>1</sup>)

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Проект Мизингеса

1

**Б**олее неподходящего времени для частных справок и найти было нельзя, но учительница Аннуш Малхазян, как и все люди с сильной волей, всегда натыкалась на неподходящее время, и каждая вещь вырастала перед ней барьером. Таким барьером выросла простая дверь в канцелярию, когда калоши ее, наследив мокрыми пятнами по лестнице, отерлись о половичок. Ранний зной в городе Масиса сменился снегопадом. Погибая от нежности, в лохмотьях снега стояли тысячи садовых деревьев, — фарфор лепестков, розовое и белое пламя персиков и абрикосов боролись со снежным пухом и умирали под ним, а солнце топило снег под ногами прохожих и топтало его, как саранчу. Если не сетовать на убытки, — а убытки были громадные, под снегом гибли не только сады, но и незащищенный, едва народившийся овечий и козий приплод, — то в ранней весенней вылазке и в том, как зима нашлепала весну, было чистое наслаждение.

— Вы обождите, товарищ, или вам лучше пройти этажом ниже, в управление строительства, там тоже могут дать сведения, — сказав это на ходу, служащий человек пробежал мимо учительницы в соседнюю комнату, на двери которой красовалась надпись: «Зам. Зав. Отдела Водного хозяйства». В сущности отдел водного хозяйства мог и не переживать так взволнованно событий, согнавших со стульев служащих и остановивших жизнь учреждения, как останавливается жизнь улицы под дождем: опустели столы, молчит клавиатура ундервудов, надрывается от плача телефон, и никто к нему не подходит, — а зато в комнате зама собрались все, кроме зама (зам вызван свыше), и обсуждают свежие новости: назначение заведующего отделом и гидростроем товарища Манука Покрикова на другой, более важный, но тыловой пост.

Настойчивая Аннуш Малхазян может ждать сколько ей угодно сидя или стоя, — люди заняты. Но учительница, обдумавшая свой визит в учреждение за неделю до этого, не так-то расположена уступить. Медленно сняв в углу калоши, она отряхнула большую плюшевую, облезлую муфту и положила ее на стул. Потом размотала шар-

<sup>1</sup>) См. «Новый Мир», книги 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 с. г.

фик с шеи и вместе со свернутыми перчатками тоже положила на стул. Самой ей сидеть не хотелось, и, чтобы разрядить возбуждение, она принялась ходить из конца в конец комнаты, разглядывая, что висит по стенам и стоит за стеклом в шкафу. Она пришла сюда обобщить и собрать в систему свои материалы по водному хозяйству, да заодно уж узнать и про «электричество», потому что обещанный ребятам «урок про воду» комом стоял у нее поперек горла и лихорадил ее, покуда не придет минута отдачи. А Малхазян по опыту знала, что минута отдачи — особенная минута, требует полноты знания, той окончательной, последней нагрузки, какой у нее, — чувствует она, — нет еще, самую малость нет. Разгуливая по комнате, она нетерпеливо разглядывала все, что тут находилось.

В этой общей канцелярии неизвестный чиновник из плеяды «первослужащих», когда новизна учрежденья еще охотит людей, словно молодость до нарядов, к приукрашеньям, расстановке и уборке, развесил вдоль стен все полагающиеся плакаты, диаграммы и графики, снабдив их каллиграфическими надписями во всем позабытом уже искусстве «чистописанья». Большая, розово-зеленая карта Армении с черной сетью каналов висела на одной стене. К ней прежде всего и подошла Аннуш Малхазян. Своеобразная старая культура была в этой карте. Она противоречила сборному виду канцелярии и ее наивной деловитости. Чувствовалось, что чиновником, управителем, начетчиком, статистиком народ стал недавно и ~~не~~ приобрел еще навыков, — об этом рассказывали детская несложность диаграмм и родоначалие цифр, еще очень молодое. Но родоначалие каналов, — черненьких черточек, бесчисленными штрихами избороздивших карту, — было несравненно почтеннее и отдаленней. Иные датировались временами персидского владычества. Иные уходили еще дальше, в незапамятные времена. Пунктиром шли каналы древние, засыпанные и заброшенные: от них осталась местами каменная кладка, намек на древнейший шлюз, высокое искусство трассы, известное в старину. Зубчатой линией были помечены каналы еще не заброшенные, которыми население до сих пор пользуется. Двойной колеей лежали каналы новые, созданные революцией, и своего рода праправнуками нарождались двухцветные линии, — это были запроектированные каналы, которым предстояло сказать свое слово в будущем. Между сетью линий вставали особым треугольным знаком водокачки и прочие хитроумные сооружения, подававшие воду путем электроэнергии снизу вверх или размещавшие ее ступенчато сверху вниз. Словом, чем больше глядеть на эту карту, тем виднее было, как изучена здесь, в этой маленькой стране, вода, и какая строительная культура связана с ней, во всей неосознанности ее для населения, передававшего из поколения в поколение искусный опыт водопользования, подобный строительному опыту бобра.

«До чего все-таки своеобразна страна наша; — вздохнула она, отворотившись, наконец, от карты. — Египет, — не Египет, Голландия — не Голландия, а так, смесь огня и воды, и не забыть, кстати, разницу»... Здесь учительница полезла в муфту и достала большой, внушительный блокнот с заткнутым в него карандашом. Надлежало отметить для детей разницу, дать им пережить вот это раздвоение физического тела страны. — север и юг. Разница между севером и югом была огромная, и еще не нащупала учительница, как сказывалась она, в какой связи была с хозяйством. Если глядеть на карту, север лежал густой зеленой полосой, покрытой штрихами гор. На севере было много лесов, много возвышенностей и рек. На севере

глаз не разыскивал меж густотой речных и железнодорожных отметок никаких признаков канала и искусственного орошения. Но под зеленым севером на карте лежал розовый юг — пустынная плоскость Араратской долины и Котайка, где каждая пядь земли пересечена каналом или арыком.

Не успела она условным знаком для памяти поставить в блокноте пометку, как в канцелярию вступил еще один, по внешнему виду такой же несвоевременный посетитель.

Вошедший был уже десять дней в городе Масиса и пригляделся каждому беспризорнику, словно первомайское карнавальное чучело, — это был член заграничного комитета, целью которого по всем правилам и вкусам уже забытой нами буржуазной филантропии было: дать деньги. Соответственно своему заграничному званию прибывший напоминал в городе Масиса приемами, поступью, палочкой с монограммой, бриллиантом в галстукe, нафабренной горсткой усов, сжатой под самым носом, шиком пиджачных отворотов и белым взмахом искусственной челюсти актера, только-что во всем, в чем был он по ходу пьесы, неизвестно для какой надобности сошедшего со сцены и пустившегося в настоящую жизнь, не жалеючи казенной спецодежды.

Там, на сцене, все это было сущей реальностью: тугой крахмал манишки, выпученный на груди, как рыбе брюхо, и проткнутый большим солитером — запонкой; тугой голос, выходивший несколько с запасцем, будя мысль о заложенном носе или плохо отхаркнутой мокроте; тугая поступь во всем величии заграничного лака и резиновой подошвы. Всем этим там жили люди, и человек, приехавший дать деньги, был «цвет интеллигенции», реальная личность, внушившая доверие капиталу. Через него, через эту манишку и заложенный нос, протягивал капитал деньги советской республике. Но, приехав в советскую республику, достойный человек почувствовал вдруг бутафорию своих агрибутов. Он ходил по улицам, подкидывая набалдашником палки совсем как-то иначе, нежели делал это в Европе, а мальчишки все-таки улюлюкали, и не было знатока, способного отличить от стекляшки актера настоящий, чистой воды солитер.

Человек, приехавший дать деньги, вошел сюда вместе с обязательным мосье Влипьяном. Вот уже десять дней, как он ходит по учреждениям и наркоматам, присматриваясь, куда эффективнее применить благотворительность. Весь город Масиса с его беженцами, беспризорниками, бездомниками, жестоким жилищным кризисом, домами, работающими в три смены, подпертыми снаружи по ветхому фасаду балками от нежелательного разрушения; больницами, где койки, как начинка из пирога, лезли, не помещаясь, из переполненных палат; нескончаемым топотом очереди, гуськом, еще с ночи становившейся у водопроводного крана на улице, чтобы собрать к утру драгоценное ведро влаги, — криком кричал о помощи. А если выбраться вон из города, там стонала земля о дорогах, там археолог развил руками над дивными камнями развалин, — охране их по бюджету текущего года ассигновывалось одиннадцать рублей; там посевы требовали тоже охраны, — градобитной пушки, да мало ли что было там! Откашливаясь и шевеля в крахмале воротника внушительным «адамовым яблоком», посланец капитала чувствовал себя мухой в меду — так много вокруг деятельности. Но только один мосье Влипьян знал досадную подробность, еще не сообщенную человеку в манишке. Мосье Влипьян страдальчески переживал ее. Он остановил сейчас друга-приятеля, быстро переходившего канцелярию, чтоб войти в заветную

дверь к замку, и об руку втиснулся с ним туда же. Комната была в табачном дыму. Говорившие рты служащих плавали в этом дыму, как трубки громкоговорителей, — они пересушивали ведомственную новость.

— Да ты понимаешь! — судорожно шептал мосье Влипьян своему приятелю, пока тот еще не вырвался, — они нам деньги дают, миллион валютой дают, и условие пустяки, ну так, ерунда какая-то: поставить на мраморной доске, что имени такого-то... И нет же, уперлись наши, а человек ходит, ищет, куда миллион сунуть. Сделай милость, расскажи ты ему о каналах, он каналами интересуется.

— Некогда, — отрезал приятель, — иди вниз, на строительство, хотя там тоже некогда.

## 2.

Новость, снявшая людей со стульев в обоих этажах здания, — наверху, где был водный отдел, и внизу, в управлении Мизингэса, — была только на первый взгляд обычная, ведомственная новость. Всякий раз, когда в городе Масиса снималось и уходило — по восходящей, но тыловой линии — лицо официальное, это не только оно одно снималось и уходило. Уходили с ним, на взгляд обывателей, и свояки официальных лиц, дамы свояков, племянники дам и проекты племянников, но и не это обывательское ухождение было главным. С каждым официальным лицом снималось и уходило нечто побольше самих людей: словно гигантский подъемный мост разводился над страной в такие минуты, пропуская в страну заждавшиеся корабли. Разводясь и повиснув в воздухе, мост справа и слева задерживал потоки людей, повозок и мотоциклетиков, добивавшихся перехода со стороны на сторону в налаженной житейской спешке. А внизу, как заждавшиеся корабли, торопились пройти папки, лежавшие под сукном; назначения, сорванные зря; дела, задвинутые в тыл; направленья, осмеянные критикой. Артель инвалидов, кооперация, профсоюз, частники, строительный материал, будки газетчиков, — да, впрочем, нельзя перечислить, кого и что задевал так или иначе подъемный мост, заставляя чувствовать движение кораблей. Куда и в какую сторону — об этом шли волны высокой политики на вершинах, доступных только антеннам. И в первую минуту обыватели не улавливали направляющего хода, пока вещи, дела и люди, — папки, инвалиды, профсоюз, кооперация, частники, строительный материал, будки газетчиков, — рыбьим скопом не проплывали к шлюзам, давая уже самым скопом почувствовать, где лежит направленья. Сильнее и громче всех из плывущего скопа заговорил уже камень, дав знать обывателю о готовящемся перевороте. Камень был в городе Масиса свой, традиционный, крепко связанный с прошлым, с матерями подрядчиками, с потной и египетской работой каменотеса, трудившегося над ним в одиночку и с глазу на глаз, — туфовый рыжий камень, тут же неподалеку добываемый из карьера. Из этого камня воздвигались испокон веку дома, по дедовским правилам, с деревянными верандами во двор и пухлым однообразием фасадов снаружи. Но под разведенным мостом уже начали плыть первые воинственные натиски бетона, — сперва в мальчишеских и срывающихся голосах молодежи, требовавшей «итти в ногу», потом в бурном нашествии новых элементов стиля, — казалось, в строительстве один угасающий древний род сменяется новым, нарождающимся. На эстрадах клубов, в табачном дыму собраний, перед сотнями возбужденной молодежи, изумляя город Масиса невиданным разгаром

страстей, кричал и жестикулировал художник Аршак Гнуни. По некоторым безошибочным приметам угадывалось, что художник-леф был предтечей или, вернее, первую ласточкой надвигающихся событий и что художник-леф дождется-таки своего часу. Экстренно мобилизовавшись, профессора и академики засели за новые томики литературы.

— К чорту камень, — орал леф, несясь с эстрады вниз бледным лицом в ореоле черных с проседью, давно невымытых волос, и руками, десятирившимися от жестикуляций: — я утверждаю — камень дала нашему жилью церковь! Теперь фабрика, завод, промышленность дают нам бетон. Всюду, где идет промышленное строительство, там и новый стройматериал. Почему мы должны отставать? К чорту камень, дорогу бетону!

Вооружившись литературой, профессора и академики, поблескивая в сторону залы успокоительными улыбочками, всходили на эстраду. Они начинали негромко, обращаясь к первому ряду, где сидел и накручивал ус полноватый мужчина в пенсне, товарищ из наркомпроса. Их доводы блистали деловитостью, — один высмеивал идею дорогого бетона в стране дешевого собственного камня; другой скромно и с цитатами защищал национальный стиль и тесную спаянность его с туфовым камнем; третий, хитро усмехаясь, тоже цитировал, — кого только не цитировал третий, безошибочно указывая на буржуазность и капиталистическое происхождение бетона: почему, — взывал третий, — мы должны плестись на поводу у капиталистического Запада?..

Но художник Аршак Гнуни дрыгал на своем стуле, и перхоть сыпалась на бархатную куртку. А поглядеть в залу, что только было в зале на этом невиннейшем диспуте об архитектурном стиле, устроенном обществом помощи беспризорным! На знаменитом Вормском соборе, где отрекался Лютер, или же в историческом зале *jeu de romme*, — только там, может быть, нашли бы, порывшись в пыльных полотнох истории, этот судорожный трепет лицевых мускулов, зажженную силу глаз, магнетизировавших оратора, хрустенье сжатых кулаков, хрипоту от волнения, топот ног, — страсть сотен молодых жизней, еще недавно мирно и сонно сновавших взад и вперед, начистая сапоги и пригладя волосы, по главной улице города Масиса. А сейчас, вливая всем существом происходящее, они судорогой реплик твердили ораторам, что спор протекает глубоко под спудом, глубже сказанного, острее названий. Спор был, в сущности, о борьбе прошлого с будущим.

Бетон протянул свою щупальцу и в управление Мизингэса, куда сейчас, ничего не добившись наверху, спускались втроем учительница, человек в манишке и мосье Влипьян. На стройке уже давно шли работы с бетоном, а сейчас из центра приехал инженер, организовать полевую лабораторию по бетону. Он тоже попал не вовремя. Он бродил из комнаты в комнату, не видя нужного человека, потому что в управлении происходил кавардак еще больший, чем в отделе водного хозяйства.

Здесь ни до стенам, ни вдоль стен никаких трудностей не чувствовалось. Учреждение было молодо и откровенно пусто, — в новеньких комнатах новенькие столы в ожидании новых служащих были голы, словно земля под паром. Ни стопочки бумаг, ни обкусанной ручки еще не взошло над чистой суконкой, ни даже кляксы. Впрочем, на содержательного человека и тут была пища. Учительница Аннуш Малхазян, куда шли они пустынными дырами комнат,



заглядывая во все двери, внимательно, как рекламу, запоминала вывески: «Гидротехнический отдел», «Электромеханический», «Рационализации», «Снабжения», «Линий передачи», «Исследовательский», «Секретный», — при желании можно было представить себе жизнь учреждения по этим вывескам, как представляют люди с воображением роман или фильму по названиям глав. Начальник над этой армией призраков, товарищ Манук Покриков заканчивал разговор с замом, обращаясь преимущественно к завхозу. Как и все, кто в городе Масиса уходил на более высокий, но тыловой пост, товарищ Манук Покриков испытывал некоторое стеснение сердца перед завхозом и несносную потребность услышать от него лишний раз преданные и привычные речи, которых — опять же как и тысячи других завхозов в подобные минуты — стоявший в дверях усатый человек не говорил. Завхоз непривычно молчал, он непривычно принял бумажку, он непривычно выйдет из комнаты и в безмолвии коридора обрушится на желтогубую уборщицу-армянку, мокрыми пальцами пересчитывающую куски сахара на подносе — такова природа завхозов. А давно ли, — мог бы подумать, почти как романс переживая это ничтожнейшее обстоятельство, товарищ Манук Покриков, — давно ли блокноты и ручки, тяжелая кожа английских кресел, бронза вождей на столе, часы — без стрелки, но из черного мрамора, нарядный дамский портфель вызывали даже теплый укор со стороны начальника: «Ну, уж это, Минай Иванович, баловство!»

Через коридор, в длинном проектном бюро, где столы синели от чертежей, толпился почти весь штаб Мизингэса — главки пустых отделов, намечавшие учреждение, как булавки держат в узловых точках выкроенное, но еще не сшитое платье. Это был цвет закавказного инженерства. Кто знал страну до революции, тот мог бы, заглянув в комнату, назвать почти каждого из присутствующих; среди них, — среди позеленевших от краски седин путейца, обветшалых усов гидравлика, блеска холерических лысин, немодных швов на спине тужурок и перхоти на полустертом сукне, среди этих мешков под глазами, похожих на сточные желоба, куда стекает возраст, и алого румянца губ под усами, — музыкой отдельных черт и черточек вставало нечто общее, нечто присущее старому инженеру, ландскнехту нашего времени. И совершенно по-ландскнехтски обсуждали сейчас эти люди, работавшие десятки лет на самых разных хозяев: концессионеров, капиталистов, чиновников департамента, а нынче — на советскую власть, новую перемену в штабе, где — они знали — вопрос состоял вовсе не в одном только уходе товарища Манука Покрикова. Каждый из них чувствовал новый крен, словно был на борту парохода. Уже несколько дней в Мизингэсе кривили губы над местной выделки анекдотами: рассказывали, как гидростанции, стоившие миллионы, стоят без потребителя, как спешно выдумывают потребителя в виде галетной фабрики или механических прачечных, и как в свою очередь спешно приходится озачинчивать потребным количеством грудных детей для галет и грязного белья для прачечных, но, посмеиваясь и внося лепту в безымянное творчество анекдотов, инженеры были спокойны, как выдавший виды ландскнехт. Они знали, что все пойдет своим чередом: проект перепроектируется, деньги отпустят, стройку закончат и потребитель найдется, — хотя глубже и дальше этого инженеры не видели и не судили. Из всех видов людей, способных на панику, к ней менее всего склонен ландскнехт.

Но сегодня выдался не совсем обычный день, и спор, занимавший людей в проектном бюро, был не совсем обычный спор. Тот

самый вихрь, что развел над страной Масиса гигантский мост и снимал сейчас с поста их начальника, пригнал к ним с севера тоже снятого где-то за что-то с поста и назначенного в Мизингэс поставить отдел рационализации беспокойнейшего человечка. Покуда спутники ее проходили в кабинет начальника, учительница Аннуш Малхазян, не желая по некоторым причинам встречаться с Мануком Покриковым, замедлила перед этой комнатой, где гул голосов прорезывал тонкий фальцетик, и сейчас же увидела человечка. С пальцами в подбородке, где он раскапывал прыщик, рационализатор чистойшамосковским говорочком на «а», мягчайшими «скушна» и «конешна» вплевывал в остроугольную атмосферу комнаты. Одет он был несколько странно и даже напоминал слегка синим бархатом штанов и рубашкой без пояса, сборчато собранной вокруг кокетки, мягким шуршаньем сандалий «скорохода» на очень уж маленьких, почти детских, ногах полотера. Когда он вставал, заложа руки за спину и шурша мягкой подошвой, так и казалось, что вот-вот рационализатор пустится по полу, мяся пяткой справа налево и ходуном ходя плечами в рубаше в классическом танце полотера. Именно этот человек в мирной беседе напал вдруг на Мизингэс со скандальной горячностью, избобличавшей в нем предвзятую точку зрения.

— А конешна, — доканчивал он речь, обращаясь к старому и осанистому путейцу, — во всех однородных случаях ищите одинаковую причину. По-вашему мелочи экспертизы виноваты, по-моему нет. Я работу в моем отделе шире и глубже беру, чем другие берут, и если проект провалился, я ставлю первый вопрос: из каких источников возник проект, чем он вызван, где его предпосылки, почему именно могло случиться, что экспертиза ошиблась?..

— Вздор, — пробасил инженер, — проект, как проект. Сколько ни высасывайте логику, вы же не можете отрицать! Логически все было сделано в свое время. Изыскания были? Были. Сам Графтио на Мизинке работал. Обработаны изыскания? Обработаны. Вон шкаф, ройтесь, пожалуйста. За десять лет данные выверены, обработаны, никто Мизингэса из головы не выдумал. Там еще французы строить хотели. Уж если ставить вопрос, я вам прямо скажу: обоснованней Мизингэса мало найдете проектов.

Но рационализатор критически дергал себя за прыщик.

— Насчет нарузки — тоже вздор, — спокойно продолжал инженер. Он был тем спокойнее, что защищать Мизингэс приходилось ему, как лечить чужого ребенка, — без кровного страха и без волнения; глубочайшее равнодушие к Мизингэсу читалось сейчас в мнументальных чертах инженера и его обвисших, как у бульдога, нечисто выбритых щеках. — Вот вам мнение опытного человека: потребитель растет, как молоко в груди матери, в природе вещей, если можно так выразиться. Вы только родите ребенка, а уж молоко само делается, — пожалуйста кушать. Лет эдак через пять хоть все реки застрой, — помяните меня, не хватит энергии, а вы панику разводите.

Маленький человек исподлобья глядел на путейца. Он еще не открыл рта, но в блеске глаз и в дрожании пальца на подбородке было больше интереса к теме, нежели ко всей тираде его собеседника.

— Факт тот, что Мизингэс не зажег вас, товарищ. Плох тот проект, который общими фразами защищают... Да и не в том дело. Я прошлое не отрицаю, только прошлое прошлому рознь. Волховстрой и Днепрострой тоже достались из прошлого, но там напряженнейшие узловые проблемы, над которыми целые десятки лет голову ломали, — Волховстрой решил задачу судоходную и энергетическую,

Днепрострой решает задачу судоходную, энергетическую и отчасти оросительную, а какую, позвольте спросить, Мизингэс задачу решает? Французы турбину поставить хотели для своих заводов? Или местность под плотину напрашивается, пейзаж подходящий?

— А какую Загэс решает, Азгэс решает? — взвился выведенный из себя инженер. — А белый уголь сам по себе не задача? Дешевая энергия не задача? Химическая промышленность...

Дверь в комнату стремительно отворилась.

## 3

Товарищ Манук Покриков уже собирался бежать на очередное заседание и одной рукой втискивал в дамский портфель бесчисленные доклады, а другою придерживал у рта чубук, чтоб отвести его, словно соску, и выпустить, покашливая, дымок крепчайшего сухумского табаку, когда мосье Влипьян с фамильярной почтительностью представил ему денежного человека. В былое время Манук Покриков чрезвычайно любил визитеров. Он знал наизусть, как учили мы в молодости таблицы силлогизмов в учебнике Челпанова, проект во всей его звонкой технической терминологии, с колоннадой цифр и блеском различных ссылок. В столе у него лежали альбомы со множеством фотографий, газетные вырезки и собственные статейки, потому что товарищ Покриков, любитель литературы, и сам пописывал. Но сегодня завхоз испортил ему настроение, и мнительный Покриков не доверял посетителям.

— Занят, занят, — откашлялся он, — вот я могу, если хотите... основной докладик... а впрочем, мои инженеры...

Тут он встал и, широко шагая полноватыми ножками в крагах, похожими на бутылки из-под шампанского, стремительно отворил дверь в проектное бюро: — товарищи, будьте добры!

Здесь Манук Покриков сделал пояснительный жест рукой. Он очень спешил. Он со своей стороны снабдил гражданина докладиком. И, предоставляя мосье Влипьяну в десятый раз рекомендовать и, объяснить положение, куда гражданин в манишке, подняв брови, прочитывает докладик, товарищ Манук Покриков так же стремительно вышел, отложив в комнате солидный запах кожи и сухумского табаку.

Появление грузного посетителя с котелком в руке среди спора и трагический шопот мосье Влипьяна загнали рационализатора на подоконник. Он с живейшей любознательностью поглядывал быстрыми глазками оттуда на колоритную фигуру приезжего. Неуловимое нечто, чувство стиля отмечало силуэт гражданина в манишке, его эспаньолку и пухлые пальцы, листавшие докладик с важностью церковного попечителя. Гражданин был доволен. Впервые за десять дней пребывания в городе он почувствовал себя уверенно, — перед ним в докладике, отстуканном на машинке, были знакомые, в высшей степени знакомые вещи.

— Вы, господа, — проговорил он тугим голосом, будя мысль о заложенном носе или же неотхаркнутой в горле мокроте, — как я вижу, воспользовались данными нашей харибовской комиссии?

— Что за комиссия? — шопотом справился рационализатор. Ему объяснили. Впрочем, вряд ли бы новичок в этой стране мог сразу понять любопытнейший штрих из прошлого, где особенности и характер работы, где даже формы общественности рождались при по-

мощи благотворительности, на пожертвование капитала. Харибов, богач, в дни февральских свобод заказал лучшим умам республики: создать статистику. Материалами этой статистики, изолированной, как башня Эйфеля, и почти столь же бесцельной, как башня Эйфеля, все еще пользовались, потому что богатства ее в бесчисленных папках достались большевикам.

— Да, если хотите, — ответил инженер-путеец, — вот тут первый вариант проекта, он целиком из работ комиссии, а вот наш вариант. Тут видите какая разница: вы знали французский проект, концессионный, на маленькую, местного значения, а мы строим большую районную станцию на солидную мощность.

Он взял несколько чертежей со стола. Здесь был старый вариант станции с маленькой плотиной и второй, грандиозный, менявший всю местность, — пальцами инженер указал высокую точку в ущелье, где должна была быть плотина в тридцать семь метров. Оживившись слегка, он штрихами набросал озеро, какое зальет постепенно... залило бы, впрочем, если бы был осуществлен проект. Но сейчас дело несколько меняется, вместо плотины мы ставим шлюз. Заминка? Да, заминка была, осторожность, вот чем она вызвана. Будут ли строить? Ну, разумеется, будет строить. Главный инженер в Москве перепроектировал узкие места, риску ни на копейку.

Он говорил сейчас ровным, приятным, солидным голосом. По-своему, по-ландскнехтски, он был на высоте и выполнял свою роль с безупречным тактом. Его спокойный, обыденный тон внушал доверие к фирме, доверие к знанию, к долголетней культуре лиц, взявшихся строить, к тому таинственному немножко миру наивысшей квалификации, за какой он сейчас, здесь, представлял. Но маленький рационализатор хоть и чувствовал себя мальчишкой, не мог воздержаться от вылазки. Перегнувшись, он вытянул из рук прилежного докладчик.

— Дайте-ка... Неужели вы все тут всерьез убеждены, что данные... как ее, комиссии этой пошли нам на пользу? А я начинаю подозревать, что дефективность проекта...

Путеец взглянул на него, подняв брови. Глубокое, искреннее изумление выпадом, этой вылазкой на-авось, неуважение к мальчишеству даже и строгий призыв к дисциплине здесь, в стенах общего для них учреждения, — вот что было во взгляде старого инженера. Под этим взглядом маленький человек утих было, но тотчас снова заерзал и, шурша пятками, соскользнул с подоконника. Он был сейчас одинок в этой комнате, он был почти без оружия. Он знал, что Мизингэс и десятки Мизингэсов строились вот так, по наследству от прошлого, и не мог же он выступить против прошлого за нутро и голые руки. Нет, и не против он, чтоб вот такой, каков есть, все-таки строился Мизингэс. Прикусив крепко губу, рационализатор вонзился ногтями в прыщик на подбородке, — он думал, обдумывал с быстротой, как лучше и легче передать сейчас свою мысль, которую передать совершенно необходимо было.

— Послушайте, я эту комиссию не знаю, но возьмите факт. Комиссия ваша на заказ капитала изучает страну. А как она берет страну? Административно берет. Для нее губерния или уезд, скажем, сфера действия урядника, — незывлемая единица. Ее статистика — по таким слепым клеткам, а для нас это — шоры. Нас это гипнотизирует, мешает видеть. Вот вам к примеру две реальности на карте: север и юг, север — промышленность, юг — сырьевая база, а по старой статистике тут чресполосица, и это мешает нам здраво делить, кроить, резать,

соединять, иметь перед собой два реальных района. Нам нужен свой, не запуганный узел, своя статистика, — нет, дайте докончить, не перебивайте, пожалуйста! — и если хотите знать, мне вовсе нет надобности изучать ваши материалы и эту самую комиссию, чтоб доказывать ее устарелость, достаточно одного. Пусть капитал хорошо организует, когда ставит прямую цель, когда видит выгоду, на голодный желудок, если можно так выразиться, — но филантропически, на сытый живот он просто в бирюльки играет и уж сам-то по этим своим материалам вряд ли всерьез стал строить, будьте уверены!

Он задышался немного от потребности высказаться, статистика была коньком рационализатора. Он уже обобщал, забегал вперед, и особенности маленькой республики, все, что успел заметить, — ставки на дешевизну, малую к себе требовательность, привычку к обидчивости, к самоуничтожению, — все это склонен был отнести за счет многолетнего приживальчества у благотворителя. Но тут своевременно и сто и Аннуш Малхазян, при первом же слове о севере и юге подобравшейся к рационализатору с блокнотом в руках, прервало резкое и радостное восклицание: это специалист по бетону, бродивший без толку из комнаты в комнату, увидел вдруг здесь, среди инженеров, нужное ему лицо.

В «нужном лице» с большим трудом можно было узнать приехавшего в управление для доклада запыленного, тощего и расстроенного начальника участка, Левона Давыдовича. Он стоял здесь армейским солдатиком среди франтов генерального штаба. Как всегда, с переносом людей из одной, привычной среды, в другую, он изменился в манерах и облике — и выправки меньше, и шукастый профиль слабее, и самоуверенности убавилось, но было и еще нечто: когда, чтоб дать людям встретиться, инженеры расступились, и в раскрывшемся круге, как в медальоне, стал виден Левон Давыдович, с ним вместе в эту комнату ворвался фронт. Он ворвался в необычайно грязных, глиною вымазанных высоких сапогах, которые начальник участка не успел в городе почистить; ворвался в пыли и взерошенности пальтеца, примятого от вагонного лежания; в этом ярком, не городском загаре, выдававшем вольный воздух и ежедневный ветер, — из-под фуражки расстроенное лицо Левона Давыдовича выглядело молодым и свежим, словно приехал человек с дачи или из санатория. Он сжимал портфель, ничуть не интересуясь спором, его злило, что время уходит, люди заняты по пустякам, а тут дело ждет. За спиной Левона Давыдовича, прекращая спор, стоял Мизингэс, — не тот, что валялся в докладике у ног пылкого рационализатора, а тот, что выступил десятком бараков и тысячью рабочих рук на склонах лорийского каньона и требовал пищи, вниманья, денег, людей, материалов, инструкций и руководства, отнюдь не располагаясь ни ждать, ни шутить. Специалист по бетону тотчас вцепился в начальника участка. Зависть была смотреть, как говорят они, оба фронтовика, о совершенно фронтовом деле, и тому, кто бывал на участке, наезжал туда, проклиная временную, неудобную ночевку в бараке, вспоминались сейчас резкий и свежий воздух каньона, шум реки, полет птиц, запах земли и глины, дымки над бараками, словом, все то, что должен еще завтра утречком увидеть специалист по бетону, если, договорившись с начальником участка о полевой лаборатории, выедет ночью с ним на строительство.

Вопрос Аннуш Малхазян застрял невысказанный.

Человек в манишке медленно поднялся, натягивая на левую руку перчатку. Привычка находить в людях, как и в себе самом, скрытый,

жадный интерес к деньгам, ко всему, что имеет отношение к деньгам, даже когда недосыгаемы деньги, привычка чувствовать власть над людьми, возбуждая в них этот скрытый огонь, оправдывалась еще только на одном мосье Влипьяне, — да и мосье Влипьян был сейчас непозволительно рассеян. Посланец капитала обиженно двинулся вон из комнаты. Как недавно пережил он на миг бутафорию своей манишки, шляпы и набалдашника, так бутафорией показался сейчас ему (правда, тоже на миг) и миллион валютой, даже если сравнить его с теми таинственными одинадцатью рублями советского бюджета, что ассигнованы на охрану памятников старины!

## 4

Твердо ступая маленькой полноватой ногой в коричневой краге, товарищ Манук Покриков возвращался с последнего заседания домой.

Дом этот уже знаком читателю. Нам приходилось при совсем других обстоятельствах вступать в него, слышать запах стеклеющей, на камни выплеснутой помойки, клонить голову под веревками с развешанным для просушки бельем и подниматься по очень высокой и крутой лестнице вверх. Покриков миновал первую дверь, где раньше жила Марджана, а сейчас единолично жительствовала тетка ее; сорвал со второй двери лоскуток с большими армянскими буквами, — жена извещала, что ушла к сестре, — и своим ключом открыл вторую дверь. Было уже темно. В окнах блеснул иней. Небольшая, голая лампочка — скудная, как в учреждении — осветила квадрат, где у товарища Покрикова шла своя линия, у жены — своя линия. Столик в углу, куда полетел сейчас нарядный дамский портфель, табак, просыпанный всюду, где не следовало, это была линия товарища Покрикова. Линия его жены выражалась в широкой расстановке стульев, которым нехватало пространства, в сердитом беспорядке платьев на вешалке, которым нехватало пространства, словно каждое из них облегалo отдельное тело и тело требовало себе места; в раздражающей тесноте посуды, бросавшейся со стола на стулья, как в бегстве. Нельзя было упрекнуть эту комнату в мешанстве, но в ней жила одна мысль, похожая на болезнь: мысль о необходимости еще одной комнаты, о совершенной невозможности поместиться и расставиться в четырех стенах, а если говорить о добавочной жилплощади, так уж именно только о соседней, куда вела даже соблазнительная заклеенная дверь. Там, в волшебном уюте, с выходом на крышу, где в горшках, даже сейчас, под снегом, цвели цветы, где был виден Масиса, во всей его светлой легкости, будто плавающий на блюде воздушный пирог, где под потолком нежным заревом сияли нарисованные «мотивчики», где пустая тахта выдавала отсутствие главного жильца, там, именно там следовало устроиться жене ответственного работника, а не беспартийной старухе...

Но обе линии рухнули разом, как рельсы над пропастью. Чтоб только не слышать злорадного голоса Аннуш Малхазян: «Ведь вы уезжаете, товарищ, на что вам моя комната», — жена Покрикова сидела сейчас у сестры. И чтоб только не слышать режущего голоса жены, Манук Покриков не пошел вслед за ней, а сел к пустому столу без чая и без ужина и принялся потрошить «эпоху», — он вынул из дамского портфеля один за другим прошпиленные доклады, записки и сметы. Будь рыжий сейчас, в этой комнате, архивариусом, быть может, он рассказал бы нам об уходящей эпохе, как о далекой чигдымской станции, и портфель Покрикова устарел бы на наших гла-

зах, подобно чигдымской папке, знаменуя новый, высший этап, куда поднимается наше хозяйство. Но рыжего тут не было, впрочем, рыжий тут был; но был совершенно особенным образом. Полноватые ножки в крагах товарищ Покриков закрутил вокруг передних ножек стула — любимая его поза с детства — и только что собирался разжечь свой чубук, как вздрогнул и встал со стула. Он вспомнил пустяковый, но неприятнейший разговор, который при данных обстоятельствах мог обернуться серьезно. Приятель один, имевший касанье к некоему учреждению, остерег товарища Покрикова насчет рыжего на участке:

— Там у тебя один фрукт, рыжий парень, из парикмахеров, так ты его лучше убери, потому что в учреждении, я слышал, — подробностей, жаль, не знаю, — почему-то заинтересовались этим фруктом.

Что за рыжий и что за парикмахер, Покриков понятия не имел. Он на участке не был с месяц и сегодня еще не успел поймать и расспросить Левона Давыдовича, но было ясно, что предупреждение приятеля упускать из виду нельзя. Каждый сучок могут превратить теперь в бревно по его, Покрикова, адресу. Что ни случись, он будет виноват, — хотя тайное, жгучее, в высшей степени постыдное чувство и щептало ему, что хорошо, если б случилось сейчас что-нибудь, хорошо, если б случилось именно без него и о нем пожалели, хорошо, если б трудности возросли, если б поняла публика, что не так легко дело делать и... почти физическая жгучая ревность, как к жене, уходящей к другому мужу, была у Манука Покрикова к Мизингэсу, и неестественно было бы желать новобрачным счастья! Но в вопросе о рыжем другое дело: рыжий относился к дебету его собственной прихода-расходной книги. Товарищ Манук Покриков подошел к телефону и резко зазвонил во все места, где можно перехватить начальника участка.

Звонки разнеслись по дому и вызвали в соседней комнате злобные смешки. Там у Аннуш Малхазян сидели гости.

Не успела вместе со снегом пройти по городу новость, не успел подняться под'емный мост, как жители города Масиса по неминуемой ассоциации вспомнили учительницу и ее племянницу. Первой явилась коллега, Сатеник Мелконова, блестя ушными подвесками и ломая костлявое лицо в улыбку. Она еще с порога приятнейшим голосом, какой берегла исклчительно для мужчин, поздравила милую «джанчик». Милая джанчик, оказывается, была не в курсе. Ока не слышала главной новости:

— Ведь он тоже уходит, миленькая моя! — громким шопотом произнесла Сатеник Мелконова, делая вид, что не замечает кислоты на лице учительницы, терпеть не могшей гостей. Слова она пояснила жестом: цыганский палец с большим дутым золотым кольцом и красным от маникюра и не совсем чистым ногтем торжественно вознесся к окну. Там, за окном, в темноте, сиял соседний двухэтажный дом, где жило лицо официальное. Восемь окон, залитые светом, были хорошо видны из комнаты и напоминали аквариум, где тончайший тюль гардин колыхался, подобный воде, а за тюлем взад и вперед большою беспокойною рыбой сновало лицо официальное, шевеля вместо жабр собственной тенью на стене. Тусклый ежик волос, провал глаз, папироса во рту, стройный, в хорошо сшитом френче человек ходил мимо стола, где сидели люди, мимо пустых углов спальни, мимо оконных пролетов, повторяя, как начал: это был тот самый, ничем особенным не примечательный пассажир, что ездил недавно в Тифлис.

Он ходил взад и вперед, куря одну за другой папиросы и не поворачиваясь на разговоры за чайным столом, где сидела его молоденькая жена вместе с сестрой своей, толстой мадам Покриковой. Отчасти, чтоб все это видеть и чтоб подольститься к коллеге своей, Сатеник Мелконова, не дожидаясь приглашения, повесила на крючок плюшевую накидочку. Комната наполнилась запахом сильных духов и едкого женского тела, избегающего воды. Обтянув коротенькой юбкой коленки, Сатеник уселась на подоконнике.

— Живут, как буржуи жили, — ехидничала она, — вы посмотрите, не убрали даже дубовый шкаф, ковры Карапетовых, а несчастные Карапетовы на рынке старьем торгуют. Рояль, — рояль! Ох, джанчик, я не могу, даже чайный сервиз Карапетовых!

— Оставьте его в покое! — отрезала Аннуш Малхазян. Новость не особенно ее задела. Как всегда, она в этом пункте не понимала Марджик. Ей казалось, — самолюбие во всей этой истории — главное, да и давно ушедшим вставало время, то время, когда Марджан, не зажигая света, сидела тоже вот так на подоконнике, с платочком, растянутым у нее на плечах панцырем. Нежный профиль племянницы, ласточкой вскинутые брови, локти ее, голые из-под платка, и мутаки на тахте, — бедные мутаки, осиротели совсем, — ну, разве не святотатство пускать сюда Сатеник с ее запахом изо рта. Страдая от нарушенного одиночества, нетерпеливая Аннуш Малхазян мысленно гнала Сатеник, оберегая от ее взглядов таинственный уголок с тетрадями и блокнотом, где она только-что сидела и занималась. Но Сатеник получила подспорье во второй гостье. Без стука приотворив дверь, в комнату заглянула старуха.

— Марджана где? — спросила она в дверях: — слышала, милая, убирают молодчика, да что б смерила я его аршином! <sup>1)</sup>. — Вошедшая — дальняя родственница, седьмая вода на киселе, уже много лет, с тех пор, как пошла Марджик в партию, не приходила сюда. Приличие требовало вскрикнуть и броситься ей навстречу, к тому же ходил слух, что у старухи Ефросиньи Абгаровны дурной глаз. Круглое, гладкое, расширяющееся книзу, как морда гиппопотама, лицо старухи было румяно, и маленькие глазки пропадали в нем, словно изюм в тесте. Раскрыв для просушки зонтик и поставив его в углу, старуха приложилась сомкнутыми губами, под которыми крепко сжалась беззубые десна, сперва к Аннуш, потом к Сатеник Мелконовой и уселась на самую середину дивана. Тут-то и зазвонил нервозный телефон в комнате Манука Покрикова. Фосфор еще зажжен был у Аннуш Малхазян в мозгу, вызывая приятную ясность мысли и потребность работы. Она двигалась по комнате сомнамбулой, только бы не потушить его и не перебить работу, — а в сущности дело было потеряно: тяжелый старинный гиппопотам не уйдет без чая и нужно готовить чай и подавать реплики. Прислушиваясь одним ухом, она мысленно выметала из комнаты нечисть, а нечисть устроила между собой смычку: Сатеник повитухой уставилась в рот Ефросиньи Абгаровны, ловя нескромные речи. Ефросинья Абгаровна, польщенная вниманьем, высказывалась: Раззвонился, петух, — один девушку испортил, другой на комнату зубы точит...

— Тетенька! — подала голос Малхазян.

— Ну, что, «тетенька»? Уж не обошел ли и тебя на старости? Из любви к яичнице лижут ручку сковороды. Я вот пойду глядеть,

<sup>1)</sup> Народное выражение: да чтоб он умер. Аршином меряют покойника, когда шьют ему саван



как они жен на вокзал повезут, — ты мне сахару в накладку не клади, а положи в чашку две ложки варенья, — пойду на вокзал глядеть, скажу молодчику два слова!..

— Тетенька! — опять лопотнула учительница.

... Зашел в деревню, где нет собак, и ходил без палки!

На этом афоризме старуха временно успокоилась и ждала, куда Аннуш придвинет к ней, вместе с Сатеник Мелконовой, чайный стол. Сказать по правде, шибко двинула на нее учительница большой чайный стол, где музыка чашек и ложек в стаканах воплем звенела, отражая вопль ее собственных тысячи мыслей. Там в уголку лежали тетради ребят, их невинные милые буквы ползали по тетрадкам во всей радости бытия; там чистый, как дети, и такой же радостный план, криво перенесенный на картон отчасти по памяти, отчасти с пометок в блокноте, где север и юг перекликались, север и юг ждали связи; там тощий журналчик по республиканскому хозяйству, еще неразрезанный, ждал ее старого костяного ножика, — и все это погибало сегодня, наверняка погибало. В лучшем случае (чтоб не пропал день даром) она успеет разве написать письмо Марджане и насчет комнаты (остается комната), и насчет того человека (уходит человек).

— Да ты задушить меня хочешь своим столом! Совсем, мать моя, мозги потеряла, — крикнула беззубо Ефросинья Абгаровна, обеими ручками упираясь в налетевший на нее стол.

## 5

Снегопад, промчавшись над городом Масиса, ушел.

Снежные вихри еще кружились по дороге, вдоль телеграфных столбов, уносивших от города бесконечные провода. Но и по проводам, казалось, бежали остатки бури. Провода в нескончаемой дрожи несли и передавали из города Масиса последствия бури, музыку Морзе. В одинокой комнате старый телеграфист, нажимая рукой, потной и терпеливой, вытанцовывал на аппарате изумительное разнообразие комбинаций из двух ударов — длинного и короткого. Тончайший регулятор звуков, носитель ритма, человеческая рука лежала на аппарате и как бы пульсировала с ним вместе. Два долгих, три долгих, три коротких, четыре коротких, короткий, два долгих, короткий, долгий. —

— Москва, — выстукивал телеграфист.

Где-то привычное ухо принимало удары; по стуку прочитывая их в уме, как мы глазом читаем шрифт. В Москву шло чрезвычайное уведомление о том, что на место уходящего Покрикова начальником назначается главный инженер Мизингеса.

Главный инженер поздним вечером возвращался с решающего заседания к себе в гостиницу. О назначении он еще ничего не знал. С ним шли спутники, и московский весенний снег мягко поблескивал в электрическом свете. Попутчики разговаривали; огненные рекламы призывали отпраздновать победу, шел запах из ресторана, скользили по мокрому асфальту эластичные жгуты шин, естественный наркоз большого города держал в человеке подъем, как держит пробка углекислоту в бутылке, но если б можно было раскрыть человека, только что, защищая проект, пережившего огромный подъем, и сейчас, подняв воротник, медленным шагом шедшего по Мясницкой, мы в нем прежде всего, как при позднем вскрытии, заметили бы: болезнь.

Главный инженер Мизингеса в противоположность начальнику своему, товарищу Покрикову, терпеть не мог литературы, честно сказать — он вовсе не знал литературы и смотрел на нее, как боль-

шие на занятия маленьких, считая в порядке вещей даже нескончаемую неграмотность газетных заметок, путавших турбины с напорными трубами. Он вел большие дела. Несколько лет он работал по водному хозяйству Армении, и карта, пленившая учительницу, где сеть каналов, древних, новых, новейших и будущих, переплетается в сложном узоре, была его детищем. Именно эта равнинная часть Армении, где диктовала вода, потому что ее не было, где недостаток воды был организатором быта, культуры, хозяйства, и тянула его к себе, обостряя мысль тысячу технических догадок и предположений. Здесь был дешевый киловаттчас, побочный киловаттчас, дававшийся в руки попутно, как попутно даются ухрящее тепло или газы при сжигании кокса. Энергия, как побочный продукт широчайшего водного хозяйства, — вот это и было любимейшей мыслью инженера: расщепить водную артерию, оросить тысячи га, скомбинировать оросительные участки и пустить воду после использования на семейство турбин системой каскадных станций, — сложнейшая и увлекательная задача, где два зайца убивались одним ударом. Водную проблему Армении он выносил и прочувствовал, и его мысль была целиком занята вопросами сечения каналов, их шлюзования, наилучшей технической формы для получения «побочного продукта», дешевого киловаттчаса энергии.

К северу, где вода ничему не диктовала и не играла в хозяйстве роли, главный инженер был совершенно равнодушен. Мизингэс достался ему совсем недавно, в готовом виде, весь, как он был, в рядной беспомощности своих предпосылок, — необоснованный и сомнительный для строителя, опасный продукт формальных докладов и множества докладчиков, где число до бесконечности дробило ответственность.

— А в конце-то концов отвечать придется мне, — была первая мысль главного инженера. Но когда тот же Мизингэс потерпел крушение и ему пришлось отдуваться и перекраивать, он по привычке мобилизовал все свои силы: «Проведу, а потом откажусь», — вот чем он жил в эти дни сплошной бессонницы, напряженных часов над проектными чертежами, утомительной возни с сотрудниками, самолюбием их, психологией их, мнительностью их, настроениями их. Посмотреть на него — никто не сказал бы, что главный инженер глотает досаду или же злится: у этого человека было терпенье гувернантки.

Сейчас он шел, борясь с желанием пойти, наконец, к врачу. А пойти к врачу нужно было. Его мучила нудная боль в правом боку, слабость правой ноги. Боль при каждом ее сгибании, ходьбе, усаживании. Главный инженер был заурядный человек с мужиковатым лицом, на котором только желтые виски выдавали страшную усталость; виски облысели, редкие, неживые волосы на них лежали тускло, как у покойника. С головы же на лоб спускался некрасивый мысочек, укорачивая ему лоб и придавая неприятное и замкнутое выражение глазам, мутным от утомления.

— Я, кажется, пойду все-таки, — решил он про себя и распросился со спутниками, чтоб завернуть к врачу. Прощаясь, они уговаривались встретиться попозднее в ресторане и махнуть куда-нибудь. Но при мысли о театре или кино, или баре главный инженер почувствовал озноб. Вот уже много месяцев он переживал страх смерти и преимущественно в кино. Стоило экрану вспыхнуть чужой жизнью, как больной человек вспоминал о неминуемости и близости ухода. «Со всем этим надо покончить и выяснить, наконец», — думал он, поднимаясь по темной лестнице и вступая в приемную врача.

По-московски это была не приемная, а узенькая передняя, где, чередуясь с вешалкой, стояли стулья и мимо больных проходили в

уборную и кухню, или забегала собака в ошейнике, или, минувя больных, проплывал постъ — вестником здоровья и не нарушенных человеческих обычаев. Люди сидели, подобные испорченным двигателям. Больных было много. Каждый нес в себе внутреннего врага — невидимое семейство микробов, присосавшихся где-нибудь в загибе сердечной мышцы, или мучительные спайки в кишечнике, мельчайшие и стойкие язвы, тайную опухоль, гнездившуюся неведомо где, — сигналом о внутреннем враге были темная кожа и неуловимая деформация черт, и этот бессознательный испуг в глазах, какой есть у кошки, когда подвнешь ей висюльку на хвост. Инеродным телом приживался внутренний враг, обессиленная человека. А в соседней комнате врач, больной диабетом, едва шевеля тонкими губами и безразлично глядя на очередного пациента, выстукивал и выслушивал внутреннего врага, утомительно повторяя: отдохнуть, отдохнуть надо, бросить занятия, не прислушиваться к своему организму. Иначе... что ж иначе: еще хуже будет, если запустите.

— Публика здорово поизносилась, — думает главный инженер, — я все-таки еще ничего. Я молодцом все-таки!

И так как он совершенно уже не мог сидеть, ничего не делая, а читать было темно, главный инженер принял мысленно делать смотр всему тому, что произошло в этот месяц. Скитанье по учреждениям, отсидка в гостинице, еда с пятого на десятое, на подоконнике с бумажек, бесчисленные встречи в коридорах и на заседаниях с людьми, протаскивающими проекты, — конечно, все это было в большой мере утомительно и безалаберно, и европейцу иному показалось бы, что не жалеют у нас людей на ерунду, но в сущности... он вот сознательно прозевал две командировки за границу! Да, в сущности, это все вместе учило и снабжало знаниями, каких ни от какой заграницы теперь не получишь. Каждый приезд, считая по пальцам, расширял ему горизонт. За любым проектом (и своим в том числе) он начал видеть уже совершенно не то, что видел и с чем ездил раньше, — не узкий интерес своей печки «проташить во что бы ни стало», не беспокойство о смете, не профессиональное самолюбие, вообще не... не... А что — я вам скажу что.

— Если за этим данным проектом, в хвосте его, я не увижу еще другого, третьего, четвертого, десятого, целую цепь проектов, так значит дрянь дело и не стоит.

Они тащили хозяйство, как рыбак тащит сети на берег: сеть выходила клетка за клеточкой, и огромнейшей сетью клеточек покрывалась страна, в том, чтоб клетки тянули друг друга и были связаны, была та острая радость творчества и то волнение, с каким ученый открывает звезду в телескоп — именно там и на том месте, где должна быть звезда, где приказано ей быть гениальной логикой мысли.

Здесь он насупился легонько, как бывало с ним в редких случаях, когда навязывали проводить поздно вечером даму из гостей. Он вспомнил Мизингэс. Честное слово, он защищал его, как проводил даму из гостей. Хоть новый проект был блестящ и обходил трудности, хоть строить по новому проекту и привлекало его, — там были особые технические новшества и завлекательные моменты, — но Мизингэс был и остался одиночкой каким-то, кастратом каким-то, чорт его побери! За Мизингэсом воображение не рисовало ему хвоста, тех далеких очертаний новых, неизбежных проектов, как спины больших рыб, плывущих скопом. Без связи, без какой-то центральной связи со всей экономикой страны Мизингэс был уродцем.

— Ты, брат, уродец, ты — дама, — чуть не сказал вслух главный

инженер. Он увидел себя в приемной врача, где осталось еще одиннадцать человек до его очереди. Считать по десять минут в лучшем случае на душу, выходило два часа. Главный инженер встал и снял фуражку с вешалки. Сумасшествие сидеть два часа. Над внутренним врагом, гнездившемся в теле, прошел ток той высшей формы материи, — зовите ее как хотите, электричеством, внутренней секрецией, энергией или просто, как средневековые храбрецы иные, духом, — что вернула внезапно больному человеку всю прежнюю власть над телом и чувство здоровья.

— Лучше лягу пораньше да выплюсь, да завтра встану здоровый, — успокоительно подумал он, направляясь в гостиницу, — завтра встану, а от Мизингэса лучше всего отказаться. Без него хватит дела. Завтра же откажусь. Пусть ищут человека!

Но до самого дома он продолжал думать о Мизингэсе, испытывая почти физическую потребность увязать его с целым, разглядеть за ним нечто, — быть не могло, не должно было быть, чтобы где-то, в чем-то не оказалось этого «нечто». В номере было светло с улицы, и света он не зажег, а раздеваясь, понадеялся сразу же и заснуть. Но сон не шел. Главный инженер ворочался с боку на бок, ощущая работу сосудов, трепет и пульсацию крови, как в дизельной. — Откажусь, — бормотал он, — изолированная нелепость, предмет роскоши, к чорту — пусть другие строят. Выпью брома, а то не засну.

Он встал, коренастый, в рваном белье, босиком прошел к выключателю пустить свет и, когда осветил комнату, увидел на полу белый квадратик телеграммы, незамеченный раньше. Прочтя телеграмму, главный инженер почесал себя над бровями. Потом вместо брома сел к столу, где лежали бумаги и чертежи в синей папке с надписью «напорный тоннель». Новый проект понизил отметку тоннеля, его разобьют на несколько метров ниже, и можно было протелеграфировать, чтобы приступили к проверочной триангуляции. Но не в этом, конечно, дело было. А в том, что одиночество Мизингэса с упорством психоза лихорадило ему мозг. Там, на юге, все было просто и ясно, каждый канал пойдет в работу, каждая капля отслужит двойную службу, игра стоит свеч... Чертя пальцем острые вершинки, одну за другой, главный инженер вдруг наклонился к столу и волосатой рукой, словно муху ловил, прикрыл эти вершинки. Простейшая мысль язычком вспыхнувшей спички вдруг осенила его: вершинки напомнили главному инженеру профили сезонных выработок энергии. Стоило только отвлечься от бумажного гипноза, от всех этих докладных записок, где будящая энергия Мизингэса вливается в предполагаемый северный куст, стоило только представить его себе кустующимся в первую голову не с севером, а именно с югом, как получалась — блестящая вещь получилась! Обособленность Мизингэса выходит тогда козырем. Его летняя мощь покроет летнюю недостачу юга, где вода летом служить будет для орошения, — да еще хватит ли одного Мизингэса, чтоб урегулировать нагрузку? Он выхватил из папки синие листы с проектами будущих нагрузок и профилями сезонной выработки юга и погрузился в них, не чувствуя, как стынут у него под столом голые пятки. Только в третьем часу утра, судорожно зевая, веселый, вз'ерошенный, довольный, он поднялся из-за стола, уже имея зародыше, про себя только, идею целого. Так, для будущего.

— Мы, по чести говоря, кессонщики, нам лучше не выходить из-под груза, — отсутствие давления убьет нас, — вслух проговорил он, уже залезая под холодное, жидкое гостиничное одеяло и грея пятку о пятку. — а ведь хорошо это сказано: «кессонщики»!

*(Продолжение следует).*

# Путешествие на Шатуру

НИКОЛАЙ МАЛЬЦЕВ

За Казанским вокзалом  
Дороги  
    гремят  
        в Приуралье.  
По оранжевым мхам  
Вологодская  
    прядает ель.  
Чтоб  
    зеленую радугой  
В омутах звезды играли,  
Непролазными поймами  
Блещет  
Дымящийся  
Гжель.  
И свердловский экспресс.  
И рассвет  
    желто-бурый  
        и горький.  
Он грустит.  
Он поет.  
Он романтик  
И фантазер...  
Вестингаузы стонут,  
И пульман  
В тумане махорки  
Смотрит бельмами окон  
На станцию  
Черных озер.  
Мы идем  
    сквозь леса.  
И песок  
    шевелится  
        под нами.  
Мы идем  
    по торфяникам  
В потную,  
    душную голь.  
Мы на трубы идем,  
    комсомольцы,  
    А не марсиане.  
И над нами текут

Покоренные  
Тысячи  
Вольт.  
Энергетик в очках.  
Он блокнотище  
    тащит  
        огромный.  
Он коллоидных топлив  
    проблемую  
        увлечен..  
Теплотехник из Сталина,  
Черный,  
    чумазый, как домна...  
Аспирант МТУ.  
Он с портфелем.  
До чорта учен...  
Молодежь накаленная,  
Что еще партизанами бредит,  
Что познала Сиваш  
И упорство высокое парт,  
Мы идем по дворцу  
Из стекла,  
    из железа,  
        из меди.  
Где рождается  
    ток,  
Где свистит  
    по артериям  
        пар.  
Инженер нас ведет.  
Эстокады.  
Гудящие топки.  
Спины грузных Гарбе.  
Атмосферы  
    закованы  
        там.  
Ослепленные мощью,  
Мы,  
По-мальчишески робко  
(В этом стыдно признаться)  
Подходим

К блестящим  
Щитам.  
И турбина вибрирует,  
Стремительна  
                    и громоздка.  
Это  
                    знание  
                    мчит  
По пружинящим проводам.  
Мы его бережем  
В хрестоматиях  
                    сердца и мозга.  
Мы его отдадим  
Вырастающим  
                    городам.  
Пусть  
                    пульсирует  
                    жизнь  
В генераторов

                    песне упругой,  
На Москву  
                    изоляторы  
Тянут тугую струну.  
Мы за руки беремся,  
Проверяя глазами друг друга,  
Мы клянемся,  
Как римляне,  
Сделать  
                    такую страну.  
Предзавком улыбается,  
Инженеры  
                    прощаются с нами.  
Вечер в ключьях тумана...  
                    Включается в лампочки ток.  
Мы берем чемоданы...  
Дыма тяжелое знамя  
Шевелится над соснами.  
Поезд роняет гудок.



# Дигория

Очерк

ХАДЖИ-МУРАТ МУГУЕВ

**Д**игория — это один из округов Северо-Осетинской автономной области Северного Кавказа. Суровые горы, скалистые кряжи и хмурые обрывистые ущелья окружили Дигорию. Клочки пахотной земли тонут в массе нагроможденных друг на друга скал и белоголовых гор. Теснины и водопады, каменные массивы — такова Дигория... И народ ее, дигорцы, — немногочисленное, тысяч в сорок, ответвление от чисто осетинского «иронского» племени, — иллюстрирует собою родные скалы. Кряжистые, суровые дигорцы — одно из наиболее культурных, настойчивых и упорных в труде племен Северного Кавказа. Безземелье долгие годы разоряло дигорцев. Родные земли, сдавленные горами, скупо давали кукурузный чурек (именуемый здесь «карджин», а огромное, с прекрасными землями плато «Силтанук» царской властью еще в начале девятнадцатого столетия было отдано в полное наследственное пользование дигорским дворянам и помещикам («бадилята») Тугановым, Кубатиевым и др. Сотню лет гибли и голодали в нищете безземельные дигорцы, арендуя за огромные деньги у тунейдцев-алдаров Силтанук. Конец девятнадцатого и начало двадцатого веков ознаменовались в Дигории усиленным отливом мужского населения на заработки в города. Куда только не шел предприимчивый, подгоняемый нуждой дигорец. Сибирь, Украина, Поволжье были пройдены выходцами из дигорских сел. Северная Америка стала чем-то в роде соседнего городка, куда бежали отчаявшиеся в поисках счастья дигорцы. Нет, кажется, ни одного крупного города в Северных Штатах заокеанской республики, где бы не было хоть какой-нибудь малочисленной дигорской колонии. И не даром до сих пор еще жива прочно вошедшая в быт Дигории, ставшая простой и повседневной фраза: «Амрикама фалледзун» — «сбегать в Америку». Так просто и так обыкновенно расценивают дигорцы свою кипучую энергию, бросающую их в далекие города Нового Света.

Революция раскрепостила дигорцев, и они были первыми из тех, кто, не мешкая, сейчас же, под звуки Октябрьского грома расправился со своими алдарами (помещиками), вырезав их чуть ли не целиком. Еще и сейчас в горной Дигории показывают бездонную пропасть, куда сбрасывал революционный народ своих дворян, больше века просидевших на заповедной, но недостижимой земле Силтанук.

Говорить о революции в Дигории, это значило бы рассказывать о сотнях погибших за советскую власть людей, о разгромленных белыми аулах, об атаках Шкуро и Вадбольского на твердыню Дигории

селение Христиановское. Не газетная заметка и не журнальная статья осветят героическую, кровавую борьбу дигорских партизан-«керменистов» с бандами деникинских генералов. Еще живы в горах отзвуки боев и еще не потускнела эмаль на орденах Красного Знамени, украшающих груди партизан, и еще свежи могилы бойцов, павших за революцию и дигорскую бедноту, защищая родные аулы... Слава им... Все это еще ждет своего историка и поэта, мы же перейдем ко второй главе дигорской революции, следующему этапу в его героической борьбе за социализм — первому в мире, еще нигде не созданному и впервые организованному на дигорской земле агро-индустриальному Дигорскому комбинату, — гордости и будущей славе дигорского народа.

Раннее морозное утро. Поезд вяло и неохотно тащится в гору... В окна смотрит белоснежный Кавказский хребет. Высокие, подернутые облаками горы бесконечной громадой уходят на восток. До Владикавказа осталось не более шести километров. Я отхожу от окна и прислушиваюсь к спору сидящих за перегородкой людей. Уже от Ростова меня ни на шаг не покидает одно и то же слово «колхоз». Его слышишь всюду. И на станции, и в вагоне оно несется тебе вслед, и о нем же, чуть притаив дыхание и опасно оглядываясь по сторонам, рассказывает проводник вагона.

«Колхоз, колхоз, колхоз» — вот то, о чем говорят, что волнует и о чем спорят решительно все едущие в поездах Северо-Кавказской линии. Одни многозначительно молчат, другие лукаво переглядываются, третьи с жаром и энтузиазмом говорят... но никто, ни один не пропустит мимо себя равнодушно магическое слово «колхоз»...

— Ну и што... лучше будет? Да? — с недоброжелательством допытывается у соседа пожилой, рыжебородый казак, угрюмо поводя глазами. — Всех, значит, в кучу собьют и работай... без хозяев. Так... так, — насмешливо протягивает он вдруг, видимо что-то надумав, выпаливает скороговоркой. — Ну, а ежели лодырей в кольхозе будет хватать, — кто на них работает?.. Опеть мы, трудовые середнячки... так што ли?.. — Он победно обводит слушателей взглядом, ища сочувствия и поддержки. Кое-кто смеется. Молчаливый армянин с нижней полки подкакивает ему.

— Вот дурья борода... обратно доказывай ему, — недовольно качает головой конопатый, скуластый рабочий, один из 25 тысяч посланный на работу в село. — Зачем же лодырей. Откуда они возьмутся, когда строго все распланировано будет, кому что делать, где чье место и когда соцсоревнование будет. Да ты об нем слыхал? — перебивает сам себя рассказчик, уставясь на казака.

— Слыхали... Знаем. Тоже удочка не хуже кольхоза.

Публика смеется. Возмущенный вузовец сбрасывает ноги в рваных, нитяных носках на голову армянина и говорит:

— Задурили тебе, брат, голову кулаки, вот и поешь по-ихнему. «Колхозы», — передразнивает он, — ты хоть слово выучи сперва, а потом и критикуй.

— Ученые. На своей шкуре выучены, — хмуро басит казак, недовольно отворачиваясь от нового спорщика.

Проходящий по вагону проводник бросает на ходу:

— Ну вы... колхозы, собирайтесь. Потом додеретесь. Приехали.

Поезд замедляет ход. По сторонам бегут заборы, дома, палисады, водокачка. Поезд дергается, шипит и, громяхая колесами,



останавливается у вокзала. Какие-то люди в бурках и папахах заглядывают в окна... Чемоданы, тюки и корзины, медленно колышась, выползают на перрон. Мы во Владикавказе.

От Владикавказа до Христиановского 45 километров довольно хорошего шоссе. Между обоими пунктами Закавказпромторгом установлено ежедневное регулярное движение. Отделение Автопромторга ежедневно продает до сорока билетов на отправляющийся в Дигорию грузовик. К 8 часам утра («де-юре» установленному сроку) перед дверями конторы собираются толпы отъезжающих осетин, со стоическим терпением безропотно ожидающих минуты, когда, наконец, за благорассудится заспанному шоферу выйти из конторы и сонным, недовольным голосом скомандовать: «Садись». Трещит мотор, дымит сожженный бензин, с ловкостью обезьян лезут как и куда попало люди. Побежали дома, замелькали идущие люди. С визгом шархнул в сторону бродячий пес. Белые хлопья снега густо ложатся на поднятые воротники, на нахлобученные папахи мужчин и черные шали женщин. Холодный ветер режет глаза и обдувает с головы до ног. Нам не повезло. Второй день не переставая падает снег, кружит бездомный ветер, вздымая слежавшийся снег. Холодно...

Грузовик, разбрызгивая грязь, мчится через мост. Внизу под нами бежит Терек, «воет мутный вал». Терек набух, посинел и озлился.

Улички, площади, дома... Вот последний поворот, и засыпанное снегом поле встречает нас. Стало еще холодней. Не сдавленный домами ветер догоняет грузовик. Урча и обтекая машину, он заливает холодом людей. По полю вьются снежные смерчи. Рыхлый снег, раздавленный тяжелыми колесами, брызжет по сторонам... Равнодушно бегут километры, и полосатые столбы четко отбивают 7—8—11... Редкий туман лениво ползет по степи.

Часам к 10 проходим Архонские хутора. То проваливаясь в грязь, то снова вылезая на пригорки, немилосердно буксуя, ползет грузовик. На далеком горизонте сквозь полурассосавшийся туман неровной грядой встает Кавказский хребет. Лишь по равнине чернеют обнаженные сады. Это Архонка... казачья станица... проезжаем через нее. Из ворот и через плетни равнодушно оглядывают нас казачки. Сплевывая шелуху подсолнуха, оживленно беседуют подростки в бешметах и в черных, продранных папахах. Мой сосед, молодой агроном из Ардона, наклоняется ко мне:

— Сейчас будем проезжать мост... за станицей. Там несколько дней назад убили видного осетинского работника, Агоева, — и, видя мое недоумевающее лицо, добавляет, — бандиты. Может быть, казаки, а может, и свои... Неизвестно.

Переехали мост. Вокруг плетни, оголенные сады, буераки. Лучшего места для убийства и не найти. Снова ныряем в грязь, опять буксуют колеса и, напрягаясь до дрожи, вновь гудит наш трехтонный грузовик.

Ардон. Осетинское село. Один из центров левобережной Осетии. Когда-то это был один из оплотов царского самодержавия на Северном Кавказе. Три церкви и духовная семинария прочно обосновались в нем. Половина осетинской интеллигенции окончила эту семинарию, проходя указанный свыше, казенным перстом путь к образованию. Сейчас Ардон — административный и экономический центр иронской Осетии. Проезжаем мимо бывшей семинарии. Большое, возвышающееся над селом кирпичное здание.

— Техникум сельскохозяйственный, с индустриальным уклоном, — пясняет сосед. Школьники визгом и шумом провожают автомобиль. На фоне села уныло блестит выцветшей позолотой купол церкви, скрытый садами.

— Бывшая армейская... Другие две не работают, — снова говорит сосед и смеется. — У нас уже и старики перестали молиться.

Ко мне поворачивается бородатое лицо и, сильно акцентируя, спрашивает:

— Вы в Христиановское?

Получив утвердительный ответ, бородач говорит:

— У них хоть одна сохранилась, а у нас, в Христиановском, еще в 18-м году поп в Моздок сбежал... испугался. Так без него и живем.

— А церковь?

— В амбулаторию переделали. Очень хорошая вышла.

Снова бегут километры. Встают и ближе подходят бело-синие горы. На минуту выглянуло солнце, и, как бы пристыженный этим, снег перестал идти. Ветер стих, и стало необычайно хорошо. Остатки тумана рассеялись в степи, и сквозь их догоравшие лохмотья, вдалеке под горами, черным и неясным пятном выросло Христиановское.

Пассажиры приободрились. Безмолвные женщины ту же натянули на головы платки и стали шопотом переговариваться между собой. За курганами, в снежной степи, показался выгнанный за околицу скот. Унылые черные точки обильно разбросались по белой равнине.

— Чего они ищут там? — удивился я.

— Кормов нет. Вот и питаются прошлогодней кукурузой. Изпод снега стебли тянут, — соболезующе улыбаясь, говорит бородач.

Мы мчимся мимо унылого стада, в голодной тоске ищущего в снегу незатейливый корм. Околицы Христиановского встают возле нас и уже видны далекие фигуры людей.

«Окружной комитет ВКП(б)», «Дигорский Окрисполком» — чернеют над входом криво выведенные на жести буквы. Над одноэтажным кирпичным зданием плещется полувыцветший красный флаг. У ворот исполкома теснятся пешие и конные люди, многочисленные тачанки и бедарки запрудили дорогу. Просители, партийцы, колхозники и мальчишки снуют по площади. В двери то-и-дело вваливаются озабоченные, что-то горячо обсуждающие люди. За углом исполкома ярким маком закраснелся платок комсомолки... другой... третий.

По свирепой, гомерической грязи бесстрашно шагает небольшого роста человек в очках. Это мой дорожный товарищ, собрат по перу, корреспондент и член редакции осетинской газеты «Растдзинат» Степан Г—в. Я обрадованно тянусь за ним, и мы, наталкиваясь на снующих людей, идем по длинному коридору.

— Кабинет секретаря... кабинет предисполкома, — широким жестом указывает Г.

Увы, «кабинет» — это звучало несколько пышно. Просто это были деловые комнаты, в которых толпился народ и где работал партийно-советский аппарат Дигории. Знакомлюсь с ответственными деятелями Христиановского и, получив ряд нужных указаний, иду в комбинат.

— Иди, иди, — напутствует меня симпатичный зампреда, — опи-сывай нас. Мы это любим... Нас вот Аграновский, Абрам Михалыч,

в позапрошлом году описывал... Спасибо ему, много помогли делу его корреспонденции.

Действительно, в дальнейшем я убедился, что симпатии активных дигорцев к проезжавшему от «Известий» Аграновскому сильны.

— Свой человек. Кунак... и всю правду писал, — говорят о нем воспомяющие.

Утопая в грязи, кое-как переходим через мост, за которым расположен комбинат. И здесь, как и перед исполкомом, ряд выпряженных тачанок и оседланных коней. Из открытых ворот один за другим выезжают четыре трактора. Их могучий гуд пугает непривычных к нему горских лошадей. Из-под гусеничных колес, мягко шлепая, ложится жирная грязь, за тракторами растет и тянется широкий узорчатый след. К моему удивлению, на двух тракторах за рулем сидят горянки. Их молодые, напряженные лица сосредоточены, глаза устремлены вперед. Машины тяжело проползают.

— Эх, — сокрушенно вздыхает Г—в. — Жаль аппарата нет. Снять бы следовало.

Как ни странно, никто из толпы ничем не реагирует на эту тракторную колонну. Как видно, эти «кавалкады» здесь — явление обычное, а женщины-шоферы давно перестали быть сенсацией и удивляют только нас, горожан. Входим в комбинат. Слышно, как шелкают счеты, трещит машинка, неразборчиво шумят голоса. Через стекло видны головы склонившихся над бумагами людей.

— Колхозники. Уполномоченные из районов. Приехали за инструкциями. Ведь у нас сейчас страдная пора, — устало улыбаясь, говорит секретарь. — Готовимся к севу. Если бы не этот снег, через неделю выехали б в пробный обезд на поля.

Прислушиваюсь к разговорам. Сев, пахота, скот, бескормица, тракторы, посевматериал... Вот основные темы всех бесед. Как быть с обобществленным скотом.. Где добыть корм для того, чтобы дожить до весны.

— Перестарались, черти маленько, — неодобрительно покачивая головой, говорит товарищ М., рабочий Иваново-Вознесенска, на полгода присланный сюда. — Выполнили разверстку с гаком, на 20 процентов сверх положенного, а теперь вот скот без кормов и сидит, — он сокрушенно качает головой. — А ведь впереди посев, нужны сильные корма, а у нас и сена-то нет.

— Говорят, край 5.000 пудов сена, да 1.000 овса дает, — недоверчиво говорит один из уполномоченных.

— Это на весь комбинат-то? Мудрят они очень. Сюда бы их, на низовую работу, — злится М.

Словно в калейдоскопе сменяются лица и виснут в воздухе незаконченные слова, трещит машинка и хрипло надрывается телефон. За окном ржут кони и стучат колеса тачанок. За председательской дверью идут бесконечные заседания, совещания и доклады, непрерывной колеей охватившие комбинат. Их такое множество, что поневоле становится страшно, как бы в их бумажной пучине не утонул весенний сев.

— Поезжайте в Силтанук, посмотрите начало нашего социалистического городка. Вот там вы увидите, на каком фундаменте стоит наш комбинат, — говорит старший агроном, снабжая меня материалами и делами по строительству. Я благодарю за совет, умолчав о том, что заранее заказанная тачанка уже через час повезет меня в Силтанук. Выходим из комбината. Напротив через реку прекрасное кирпичное здание, над дверями которого написано по-осетински и

по-русски: «Клуб имени А. Микояна». Вдоль по реке белеет странное, похожее на пагоду здание.

— Бывшая церковь, ныне амбулатория, а дальше школа и больница.

До отъезда в Силтанук еще около часа, и мы идем в сельсовет.

Селение Христиановское имеет свыше 1.800 дворов, с общим населением примерно до 10.000 человек. По существу, это уже далеко не село, а почти городок, тем более, что этому городку есть чем похвастаться перед другими. Большой, прекрасно оборудованный клуб с кинематографом и сценою, со зрительным залом на тысячу человек, небольшая, но своя электроустановка, снабжающая светом «присутственные места» — почту и клуб, четыре хорошо оборудованные школы (одна семилетка и три пятилетки) и один окружной опытно-показательный техникум — девятилетка с сельхозуклоном. 80 ликпунктов, 8 яслей, больница с амбулаторией и постоянной детской консультацией, которая работает буквально целый день. Много ли есть у нас в наименее развитых областях таких сел? Не надо забывать, что еще восемь лет назад здесь стояли руины и пепелища домов, разбитых и обобраных шкурскими «волками».

— Перспектив у нас много и энергии хватит, — рассказывает предаульсовета тов. Калицев Гетахаз. — Одно плохо — бескормица скота. На скотину жалко смотреть. Напиши там, пусть хогь в центре помогут, если в крае от нас отвернулись, а ведь пахота на носу. Время не ждет.

На вопрос о том, как прошло раскулачиванье на селе, тов. Гетахаз говорит:

— Ничего, спокойно. Были, конечно, поначалу сплетни да разговоры, но, когда мы провели предварительную разъяснительную кампанию и, выселив кулаков, вселили в их дома бедноту, сразу обозначился перелом. Теперь все колебавшиеся сами благодарят нас.

— А кулаки?

— А что кулаки. Вон погляди, — указал рукою на окно председателя, — видишь, на солнышке в лохматой папахе сидит греется человек... так это один из кулаков. Выселили мы его из дома, приютился он у кого-то из родных, а греется на солнышке по привычке к своему дому приходит.

— А много кулацких дворов зарегистрировано на селе?

— 83 и 60 лишенских. Всего 143 двора, но из последних кое-кто на этих днях будет восстановлен. Ошибки, конечно, были, — улыбается председатель.

Из разговора с ним узнаю, что на ряду с огромной организацией Дигорского комбината, здесь же, на территории села Христиановского, приютился и работает колхоз «Социализм», созданный задолго до комбината из первичных товариществ и артелей по совместной обработке земли.

— Тогда вся беднота подалась к нам в «Социализм» для того, чтобы опереться об общественную организацию. Из 1.800 дворов Христиановского почти 800 семейств вошли в этот колхоз, обобществив свое имущество по принципу сельскохозяйственной артели. Рабочий скот, сельхозинвентарь, труд, земля, посевматериал и рабочая сила — вот то, что внесли члены его.

— Как идут дела в колхозе, каково настроение сельчан?

— Я для тебя — официальное, заинтересованное лицо, поэтому моим словам ты можешь не поверить, но я советую... походи по селу, поговори с людьми, погляди, прислушайся, а потом сам скажешь,

что такой высокой сознательности и искреннего желания объединиться для совместной работы на полях, как у нас, ты нигде не найдешь.

Я так и сделал.

— Ну а нет ли параллелизма, некоторой, я бы сказал, конкуренции между двумя параллельно работающими организациями, колхозом «Социализм» и Дигорским комбинатом? Ведь цели и задачи у них как-будто бы одни.

Гетахаз помолчал, подумал и неопределенно сказал:

— Пойди завтра сам в «Социализм», поговори в правлении, а насчет параллелизма— его пока нет, ибо комбинат объединяет всю Дигорию, весь Дигорский округ, и под его, комбинатские, работы выделен Силтанук, где и разворачивается окружная общедигорская работа, — здесь же, в колхозе «Социализм», на христиановской земле работает одна треть христиановских жителей. Таким образом, пока обе организации ведут каждая свою собственную работу.

— Как долго?

Мой собеседник лукаво ухмыльнулся и неопределенно пожал плечами.

В комнату вошел мальчуган лет четырнадцати, вооруженный большим кнутом. Это был наш возница. Через несколько минут просторная тачанка, скользя по грязи, вывозила нас из Христиановского в сторону черневших неподалеку гор.

Километрах в четырех от села. по ложбине бежит говорливая речка Дур-Дур, в которую на стыке христиановского выгона и поднимающегося над равниною плато Силтанук вливаются чистые и холодные воды Уруха. Если бы я написал эти строки 5 лет назад, меня б засмеял каждый, кто хоть немного знаком с топографией Дигории. Да, 5 лет назад воды горной реки Уруха никак не могли бежать вместе с мутными волнами Дур-Дура, но сейчас, когда усилиями революционного дигорского народа через массив Силтанука прорезан широкий Дигорский канал, канал, вырытый руками осетин-инженеров, воды Уруха смешались с водами Дур-Дура. Огромное, в 15.000 с лишним гектаров, плато перерезано каналом и оплодотворено водой. В полях, куда некогда возили дигорцы в арбах воду и где в бесплодной жажде мучился рабочий скот, сейчас бежит веселая и холодная струя. Ширина канала метра 3, глубина везде не более метра.

За рекой начинается под'ем на плато. Две дороги черными лентами уходят вверх—одна в Силтанук, другая—в Магометановский аул. В стороне от дороги черным квадратом раскинулся кирпично-черепичный завод, всего год назад построенный комбинатом и уже обслуживающий весь район. Все постройки поселка Силтанук и новые здания Христиановского сделаны из кирпича и покрыты черепицей выделки этого завода. По технике оборудования, масштабам работы, прочности и качеству выделяемого материала этот завод стоит на одном из первых мест края. По данным комбината, выпускная производительность его равна 1.200.000 штук первосортного кирпича и 300.000 штук такой же черепицы, при чем по плану строительства цифра эта через год должна быть удвоена.

Поднимаемся в гору. За буграми чернеют постройки поселка. Вправо от дороги тянется проволочная изгородь.

— Фруктовые сады колхоза. Впервые в этом году эксплуатируемые обществом, — поясняет проводник.

Последний поворот, и на гладком, как ладонь, плато встает весь поселок Силтанук, будущий центр коллективизирующейся Дигории. Ряд разнообразных, законченных, едва начатых и полуготовых построек лег в строго спланированном порядке по обе стороны дороги. Большие скирды сена и амбары с кукурузой и посеверном замыкают застроенный квадрат. Прямо перед нами врылись в землю низкие, казарменного типа деревянные здания, из которых слышен четкий визг пил и заунывное пение работающих людей. Это столярная мастерская, заготавливающая лесоматериал для строительных работ поселка. Идет распиловка бревен, здесь же выделяются стулья, парты и табуреты для строящейся в Силтануке девятилетки-школы.

— Эх, нам бы сюда электричество провели... вот тогда б мы моторчик приспособили,— говорит один из рабочих.— В ручную тяжело.

— Да телефоны еще следует. Ты пропиши это, как же так... идут такие здесь работы, а мы без телефона сидим... вдруг пожар или бандиты, что тогда делать. Ведь до Христиановского девять километров, пока сообщишь да пока оттуда приедут, все может прахом пойти,— озабоченно говорит мне товарищ Сосланбек Баграев, исполняющий роль старшего по мастерской.

Оглядывая рабочих— все местные, свои, дигорцы. Работают охотно, с удовольствием рассказывают о себе.

— Довольны... Ясно понимаем, что только в этом спасение народа. Сам пойми, разве могут прокормить нас жалкие лоскутки земли, обрабатываемые единолично.— Кто как, а мы эту коллективизацию всей Дигорией приветствуем,— наперебой рассказывают они.

И это были не слова. Позже в моем дальнейшем знакомстве с дигорским крестьянством я убедился, что так мыслило 80—85 процентов всего населения.

На дворе вытянулись в ряд длинные амбары с заготовленной кукурузой для Даркохского крахмального завода.

— Тысяч сорок наготовили,— смеется товарищ Сосланбек.

Идем дальше. Большое кирпичное, вытянутое подковою здание с прекрасными подсобными постройками встречается на пути. Это— автотракторный гараж поселка, где в полной боевой готовности ждут своего выступления в поле 20 тракторов, вооруженных бородами и плугами.

— Четыре на-днях придут еще из города да девять у нас в ремонте,— поясняет зав. гаражем.

— Все «Интеры» да «Фордзоны», ни одного «Клетрака»,— с сожалением говорит тракторист-рабочий, на минуту оторвавшийся из ремонтной мастерской.

На вопрос, почему он сожалеет об этом, тракторист засмеялся, а его сосед пояснил мне:

— Да ясно почему. Они хоть все тракторы, однако же, разница в них есть... и не малая, ну, а он парень на работу злой, всех их изучить хочет.

По тону и лицам остальных мотористов я ясно прочел, что не только он, но и все они были одинаково яры и охочи в желании познакомиться с «Клетраком». Между прочим из числа 14 рабочих-трактористов только один русский, да и тот настолько обосетинился, что говорит со мною только по-дигорски.

— Мы и имя ему переменяли,— смеялись рабочие.— Он у нас теперь не Ваня, а Темболат. Совсем горцем стал.

Ремонтные мастерские довольно велики и оборудованы сравнительно прилично, при чем расчет работ их таков, что в них одновременно могут ремонтироваться три-четыре трактора. Сейчас рабочие выделывают запасные части, чинят плуги, бороны, букари и с нетерпением ждут подхода обещанных из города полносильных тракторов. Вдоль стен, блестя новенькими частями и отливая черной сталью, под черепичным навесом, чинно в ряд, ожидая своего дня, лежат плуги и букари.

— Этого добра хватит, — махнув рукой, говорит зав. — Еще столько же в комбинате имеется. Ведь это все обобщественный инвентарь. Этим - то мы богаты, а вот лошадей да рабочий скот подкормить не мешало бы. А то ведь тракторами всего не подыметь.

Корма... Бескормица... Да, видно уж очень серьезно обстоит дело с ними, если за один только день, я из третьих уже уст слышу это горькое и тоскливое слово.

— А вот наша будущая школа. Девятилетка, второй такой не скоро найдешь и в городе, — говорит Г—в. — Помимо классов, клуба и лаборатории, здесь будет построен театр и библиотека.

Школа еще далеко не закончена, но масштаб и размах ее строителей поражает меня. По своей величине это скорей университет с кабинетами и лабораторией, нежели простая девятилетка.

— А тут вот намечается общественная баня...

— Тут прачечная, — перебивает Г—ва Сосланбек. — А здесь электростанция.

Идем по поселку.

— Зайдемте на ферму, — предлагает Г—в. Это было лишнее предложение, ибо не зайти на молочную ферму значило бы не ознакомиться с образцовым племенным скотом Дигорского комбината.

Длинное, прекрасно отепленное, светлое здание, в котором друг против друга в ряд расположились сто прекрасных породистых коров, племенная скотоводческая база Дигкомбината. Красные, немецкие, голландские и сименталки сочно жевали отборное сено, поводя круглыми добрыми глазами. Тяжелые, отвисшие соски тянули к полу вымена коров, сытые круглые бедра говорили о прекрасном уходе и безмятежной жизни. Около коров прохаживались рабочие-осетины, умело и бережно ухаживая за скотом.

— Ведь раньше и понятия не имели, как следить и обходиться, ну, а теперь научились. 40 человек рабочих и один другого лучше... внимательные, спокойные, добрые, а скотина это любит. Вот поглядите за шкалой удоя. Поначалу, с момента организации фермы, то-есть с ноября и по январь, удои равнялся всего-на-всего 90 литрам, а затем благодаря уходу, теплу и обильным, сильным кормам шкала сразу показала повышение. Вот сейчас, например, удои мы подняли до 450 литров, а через месяц думаем довести и до 1.000. Не удивляйтесь, уход и корм — золотое дело. Сейчас даем коровкам нашим пшеничных отрубей по норме, кукурузных отрубей и сена — магар, а вот пустим на зеленую травку, тогда 1.000 литров обеспечено.

— Чем вы определяете норму пайка коров?

— Очень просто. Ее вес и удои определяют величину ее пайка.

Переходим в отделение, где черными монументами за отгороженными стойлами темнеют производители быки. Их восемь. Восемь злых, тяжелых, флегматичных гигантов. Здесь в этом отделении работают 13 рабочих, недавно окончивших краткосрочные курсы по

животноводству в Христиановском селе. В самом углу несколько стойл с новорожденными—от 3-х дней до 2-недельного возраста—телятами. Их немного—не больше 12 штук, но даже эти маленькие, еще не успевшие подрасти малыши кажутся ровесниками стоящим рядом с ними жалким и худосочным горским двухлеткам.

— Вот думаем откормить нескольких из них и затем случить с производителями. Надо... необходимо улучшить эту чахлаю породу,—говорит заведывающий фермой Антоненко.

Я с жалостью гляжу на шершавых, понурых горских коровенок, еле достигающих до груди мощным и откормленным сименталкам.

При ферме имеется небольшое молочное отделение, где в качестве опыта из части получаемого молока выделяется масло, отправляемое в Христиановское на нужды комбината. Отделение слабо оборудовано—имеется сепаратор Альфа-Лаваль, маслообработчик и маслобойка на 300 литров молока. Но для скудных экспериментов и элементарного обучения обслуживающих ферму рабочих-осетин этого вполне достаточно. По плану пятилетки Дигории к 1932 году в Силтануке должен быть построен маслобойно-сыроваренный завод, вальцовая мельница, элеваторы и ряд свинарников, телятников и кутанов для овец, сейчас же, как прочный залог будущего, живет и развивает свою работу прекрасная ферма во главе со своим неутомимым работником Антоненко. Отдавая должное широкому размаху работ строителей Силтанука, нужно указать и теневые стороны этого строительства и прежде всего безобразное, недопустимое отношение к чернорабочим и сторожам построек. Грязные землянки, в которых на вонючих нарах, без белья, без мыла, без бани спят в повалку десятки людей. Грязь, копоть от тут же варящегося обеда, насекомые и полное забвение рабочих как со стороны парторганов, так и со стороны охраны труда... И это там, где строится социалистический город, где закладывается будущее новой Дигории. Надо думать, что хоть эти строки заставят кого следует немедленно же заняться этим вопросом и обеспечить рабочим поселка сносное и человеческое существование.

Из материалов, полученных в комбинате, видно, как широко и смело рассчитан план работы по коллективизации Дигории. Все 27 населенных пунктов округа, в общем количестве в 5.477 крестьянских хозяйств, вошли в агро-индустриальный комбинат, обобществив свое имущество по принципу сельхозартели, желая коллективом обработать огромное, 15.375 гектаров, плато Силтанук.

В Дигории, до этих пор знавшей главным образом только одну хлебную культуру—кукурузу, по плану текущего года будет засеяно:

Озимой пшеницы . . . . .	2.400 га.
Кукурузы . . . . .	8.888 „
Подсолнуха . . . . .	687 „
Картофеля . . . . .	3.983 „
С о и . . . . .	480 „

далее по плану значительные участки земли отведены под клевер, люцерну, корнеплоды, силос и фруктовые сады.

Нужно сказать, что опыт с соей в Дигории, как и вообще в ряде местностей Союза, производится впервые, и трудно себе представить, с каким огромным интересом и нетерпением ждут дигорские агро-работники результатов опыта с этой, еще неиспробованной, но такой прсславленной и ценной культурой.



Поздно ночью, когда горы окутались тьмой и над ними загорелись звезды, возвращался я обратно в Христиановское. На одном из поворотов дороги нас догнал невысокий человек в папахе и длинном ватном бешмете.

— Подвезите, — попросил он.

Несколько минут он молча оглядывал меня и, наконец, когда кони с'ехали вниз, он, видимо, решился и быстро спросил:

— Ду ю спик инглиш?

Я засмеялся и отрицательно покачал головой.

— А я говорю... семь лет в Америке прожил. В Аляске-Сиэтль, — важно сказал он. — В прошлом году вернулся.

Это был один из тех, кого неукротимая энергия и неугомонный дух протеста толкали вон из царской России и которые после Октябрьской революции вернулись в Советский Союз.

---

# Политпросвет

МИХАИЛ ИСАКОВСКИЙ

Все это было так давно,  
Мои товарищи родные:  
Любил я горькое вино  
И пел частушки озорные.

В деревне слыл смелее всех,  
Мальчишка был  
Шальной закалки.  
И мог  
Разделать под орех  
Любую личность в перепалке.

И жизнь моя была полна,  
Не знал я горя и заботы...  
И вдруг — приехала она  
Для просветительной работы.

И озорство мое кляня  
Словами грусти и досады,  
При всем народе на меня  
Бросала  
Косвенные взгляды.

Глаза — как ночь. В глазах — ни зги.  
Посмотришь в них и — нет возврата.  
До восемнадцатой тоски  
В нее влюблялися ребята.

И стал мне белый свет не мил, —  
Куда пойду и что отвечу? —  
Я, как потерянный, бродил —

Искал  
Нечаянную встречу.

Меня в полях встречал рассвет,  
И часто снился мне ночами  
Один сплошной политпросвет  
С такими темными очами.

Цвели сады. Росли хлеба.  
По вечерам дымились реки...  
И с той поры  
Моя судьба  
Подчинена библиотеке.

И с той поры в ее окне  
Встречаю теплые закаты,  
И по возвышенной цене  
Плачу  
За книги и плакаты.

И прошлым дням наперекор,  
Без сожаленья и без скуки,  
Веду культурный разговор  
По разным отраслям науки.

Послушать замыслы мои  
Ко мне идет мужик и баба...  
Поют над речкой соловьи —  
Поэты  
Сельского масштаба.

1930

# Люди и факты

1. Л. ЗАВАДОВСКИЙ. Золотой край. — 2. Б. АНИБАЛ. Время, дела, люди. — 3. КАМСКИЙ. Волчанка. — 4. Л. ПОЛОНСКАЯ.—Невольные параллели.

## 1. ЗОЛОТОЙ КРАЙ

Из книги об Алдане

Леонид Завадовский

### Золото

История Алданского района совсем юная. Заявки на золотоносные участки по реке Томмоту и другим речкам и ключам были сделаны только в 1919 году известным золотопромышленником Опариным и Верхне-Амурской К<sup>о</sup>. Этот вначале очень незначительный район, давший свое имя всему обширному ныне золотому краю, имя, пробуждавшее лихорадочную дрожь в руках золотоискателей, фактически стал известен немного раньше. Опаринская разведка в 1916 году оставила на Томмоте запасы инструментов; двое из участников разведки, простые прискатели, собрав артель, в 1919 г. вернулись к широким берегам спокойной реки и с плотов черпаками доставали пески с хорошим золотом содержанием. Таким образом, открытие района относится к более раннему времени, нежели формальные заявки на него.

Томмотский район со всех сторон, кроме северной, окружали старые прииски: Нюкжинский, Тунгирский, Тимптонский и Тыркандинский, но никто до 1912—1913 года не отваживался проникнуть дальше на север по марям суровой тайги, кроме одиночек-хищников, этих корсаров щетинистого таяжного моря. Но они держали втайне свои открытия и предположения.

Открытие всех приисков, кроме Тыркандинского, относится к 1895—1900 гг. Тыркандинский же относится к более позднему времени, но и он работал уже в 1917 году, а в 1919 г. он, как говорят, «гремел» на всю тайгу. Этот район покрыт неуязвимой славой, проклятия ему до сих пор ушелели на обнаженной древесине ели и пихты или на ящичных досточках, прибитых к деревьям. В 1921 году район захватили хункузы вместе с рус-

скими хищниками, была основана таяжная республика. Наконец, часть прискателей при помощи Снабарма 5 низвергла иго хищников.

Вторая глава вписана в историю этого района совсем недавно, в 1925 г. Толпы прискателей, возбужденные слухами о несметных богатствах Тыркандинских ключей, превосходящих сказочные богатства Незаметного ключа, побросали работы на дебрях и ринулись весной по последнему снегу вдаль синюющих гольцов. У хребтов и узких проходов конные и пешие обозы целыми сутками ждали очереди, не в силах пробиться сквозь человеческую чащу. Не нашедшие того, что искали, захваченные таяньем снега, они бросились обратно, но реки, вышедшие из берегов, преградили им путь... Молва обвинила некоторых лиц в злостном распространении ложных слухов о золоте в Тырканде, месть обрушилась на штейгера с женой, будто бы виновных в гибели сотен золотоискателей, легковерно бросившихся в неизвестную даль. Как говорят, кости убитых долгое время лежали близ Саньяхтатской дороги, а теперь кто-то повесил их на ветви дерева...

Всего золота добыто в этом несчастном районе  $\frac{2}{3}$  тонны.

Лишь в 1923 году волны натисков на северную тайгу докатываются до Томмотского района. Из Якутска отправляется экспедиция во главе с В. П. Бердиным. Она явилась с севера по Лене, затем по Саньяхтатской тропе. С этой экспедицией впервые появились на приисках люди с какимитом полуофициальными полномочиями.

Алдан занимает первое место в нашей золотопромышленности: он дает

более 30 процентов всего добываемого золота в СССР.

Учет добываемого золота на Алдане начинается с 1923 года, самого трудного в виду отсутствия обязательной регистрации или сдачи какому-либо единому органу. Золото скупалось различными торговыми организациями, выносилось старателями на Амур, проникало на Лену. Но и та выясненная цифра, которая не полна, является весьма значительной. Включая 1929 год, в районе добыто около 37 тонн золота.

Неизвестная, покрытая мраком цифра исчезнувшего золота за пределами Союза, повидимому, очень велика. Золотоискатели выносили из северной тайги по 4, 6, 8 кг. домой — на Амур или в Зап. Сибирь. Уходящим с приисков поручали тяжелые посылки для передачи родным, и посылки в большинстве случаев доходили благополучно. Золото было всюду, оно являлось обыденным явлением, не пробуждающим преступной жадности в людях. Совсем другая картина была с продовольствием. В 1924 г. 16 кг. муки стоили здесь 77—106 гр. золота, 400 гр. соли — 13—17 гр., 400 гр. махорки 13—17 гр и т. д.

Но, быть может, Алдан, блеснув на фоне истории золотопромышленности необыкновенным богатством, так же быстро и исчезнет, как появился?

Если нет кричащих данных о новых участках за пределами известных границ, то в пределах существующих приисков разведки дали весьма благоприятные результаты. На место одного выработанного прииска возникает другой, на место одной речки с золотоносными ключами открывается новая. Ко всему этому усиленным темпом механизированные способы производства дают возможность переработать старые прииски, выработанные грубыми средствами с большой потерей золота в отвалах.

Да и открытие новых участков и районов не за горами. Учурский район нынешним летом будет выяснен окончательно, Тыркандинские ключи имеют все шансы на выгодность эксплуатации, а весной будущего года выйдут новые экспедиции в новые районы, вести о которых уже доходят до тех, кто ведает золотым делом в Союзе.

Помимо официальных предприятий, сотни золотоискателей печатают свои следы по болотистым низинам в поисках золота, и, как было истари, эти настойчивые жизнеспособные полезные микробы непрестанно освежают кровь в артериях золотопромышленности. В кабинете разведочного бюро мне пришлось познакомиться со студентом Горного института. Он три го-

да назад приехал сюда на практику и больше не хочет возвращаться в Ленинград. Тайга пришлось ему по вкусу. Он так торопился поскорее «убежать», что с ним трудно было поговорить. Дело в том, что он женился на тунгуске, жена его осталась где-то в тайге с оленями, надо было во что бы то ни стало успеть до распутицы разыскать ее. Упорная мысль этого человека — найти золото в верховьях Алдана.

### Прииск Орочен

Молодое лицо моего спутника, маркшейдера Афанасия Ивановича, очень взволновано: сегодня в полдень должен произойти «сбойка» подземного штрека и капитальной канавы, идущих встречными забоями общим протяжением около километра. Нивелировка и вся работа по проектированию — его. Это первая «сбойка» в истории алданских приисков и в практике моего спутника.

Соединенные штрек и главная канавы дадут возможность снять из шахт все водоотливные приспособления, сбойка — важный момент в жизни прииска.

На Орочене большое оживление. По темным грязным дорогам лошади тащат бревна, стойки, огнива, по сторонам на фоне неба кланяются пыльщики, прямо на улице, преградив дорогу, происходит раскомандировка поденных. Всюду торопятся люди с кайлами и лыпачками. Ответственный момент: вода начинает нажимать на рязжи и насыпи, везде нужно вовремя предупредить опасность прорыва.

Заезжаем в общежитие, при котором квартира для приезжих. Открывается дверь, и появившийся смотритель сообщает, что сбойка произошла ночью.

— Сошла? — невольным выкриком спрашивает маркшейдер.

— Сошла...

На лице молодого человека радость. Он хватает брезентовую куртку со стены, я еле успеваю за ним, но дорогой выясняется неприятный сюрприз: сбойка хоть и сошла, но окно с окном не совпало и по вертикали и по горизонтали.

На беду не можем разыскать дежурного нарядчика, чтобы взять свечей. Афанасий Иванович машет рукой и буквально ныряет в преисподнюю. Я осторожно нащупываю ногами лесенку, руки прилипают к холодным, грязным ступенькам. Внизу меня хватают руки и куда-то тащат за рукав. Несколькими минутами мы в совершенной тьме. Наконец, вдаль забрезжил слабый желтый свет. Я хотел было отдохнуть от невольного напряжения, но невидимые руки спутника грубым

ударом столкнули меня в сторону и прижали к стойкам.

— Не шевелитесь!

Мимо с мягким рокотом проплыла невидимая тачка

У первого встречного нарядчика отбираем свечу, вторую вынимаем из подсвечника в стене. Афанасий Иванович мчится, словно на крыльях, я едва поспеваю за ним. Штрек очень широк, гладко устлан сверху канавы досчатым сплошным полом,—хоть пускайся вперегонки. У сбойки находим смотрителей и несколько рабочих с кайлами. Афанасий Иванович бросается к окну метра в полтора ширины и высоты и прыгает вниз. Через минуту появляется снова в окне.

— Да как это могло случиться!

— А кто его знает. Передовые услышали стук и повернули, боялись мимо пройти.

Маркшейдер бросается ко мне и с радостью в голосе кричит:

— Вы теперь понимаете. Теперь ясно все. Вот видите, какой они зигзаг описали. Сначала повернули, а потом хотели выправиться, но не успели: проходки встретились.

Причина торопливости передовых забойщиков очень простая. Им было обещано, кроме увеличенной расценки, двухдневный отпуск и по поллитра спирта. Принимая во внимание запрещенную продажу, спирт имел значительную притягательную силу. С утра шахтеры уж гуляли по поселку с песнями и гармошкой,—к выданному прибавился купленный у спиртоноса.

Повеселевший Афанасий Иванович показал мне шахту. Провел по главному откаточному штреку, по просечкам. Сравнительно небольшая глубина шахты (7—8 метров) чувствуется под землей точно так же, как и большая. И здесь над головой за сплошным креплением чувствуется гигантская тяжесть, достаточная, чтобы превратить вас в ничто. Огнива кажутся до смешного тонкими былинками и все сооружение—ничтожным препятствием для огромной тяжести, лежащей на них. Вот и доказательство: в просечке нам преграждают путь кучи камня и щебня. Благодаря таликам просечка «кумполит», т.е. на огниво сверху давить потерявшая сцепление с материком масса и, раздвинув стойки, заваливает галлерею. С образовавшегося таким образом купола нависают глыбы камня и мерзлоты, от падения которых может разлететься вдребезги все крепление. Люди с увеличенной торопливостью суетятся возле большого места: убирают завал, под огнива подводят подхваты — горизонтально лежащие бревна на столбах.

Заходим в ближайший забой. В забоях работают по два человека рядом,

уродливые тени на неровной стене торопливо взмахивают огромными кайлами. Слышны мягкие удары по мерзлоте, удары по камню высекают искры голубого огня. Ежеминутно подкатывает тачку откатчик и железной лопаткой подбирает от стенки накайленную породу, чтобы увести к подьему.

Весна давала себя чувствовать и под землей. В главном штреке через крепление блестящими струями лилась вода. Приходилось, пригнувшись, бежать через потоки. В тусклом свете мигающих свечей без навыка я то-и-дело зевал тачку, и только мой зоркий провожатый спасал меня от удара по ногам грузом не менее 150 кг. По мелькающим энергичным силуэтам я видел, что откатчики не склонны остановиться,—не разевай рот.

На рудничном дворе большое скопление. Из тьмы штрека ныряют все новые фигуры с тачками и, кинув блестящий взгляд на очередь у подьема, хрипло кроют матом. Работают в одной рубашке, спины курятся от пота. Ежеминутно под семиметровой кровлей грозно раздается:

— Поберегись!

Лишь только забудешься и отлипнешь от стенки—новый окрик заставляет втиснуться в стойки или в столбы:

— Поберегись!

Медленно спускается деревянный ящик на канате. В него с грохотом опрокидываются тачки. Медленно, точно умышленно игнорируя спешку потных и сердитых людей, он сначала покажет бока, потом узкое дно и, наконец, исчезнет во тьме. Снова грохот. На место уплывшего вверх опустился новый.

— Поберегись!

Рука Афанасия Ивановича дергает меня в сторону, долой с рудничного двора. Мы идем к выходу. На дневной поверхности, после шахтного жесткого холода кажется, все тело окутали мягкой периной, несмотря на то, что столбик ртути в термометре наверху стоит ниже, чем под землей.

В трех ороченских шахтах работают почти исключительно бодайбинцы, нахлынувшие из концессионного района. Они с презрением относятся к старательству и лишь в крайнем случае идут на уступку, не оставляя надежды снова попасть под землю на хозяйские разработки. Помимо родной, привычной работы, бодайбинца манит «подъемное» золото, т.е. такое выкайленное из стенки забоя золото, которое можно поднять из-под ног и положить в карман или за голенище. Такого золота на бодайбинских присеках было немало, есть оно и на Ал-

дане, но, пожалуй, только на Орочене. На официальном языке такое золото называется «вольноприносительским», на него составляется ежегодно программа, оно имеет все права гражданства. Чтобы подъемное золото не уплывало в руки тайных скупщиков, сдачникам его отпускается в счет расплаты спирт, когда за деньги его не достанешь нигде, кроме как на Незаметном или у спиртоносов в тридорога. В качестве поощрительной меры существует еще нечто в роде неписанного закона, по которому сдачник вольноприносительского золота является личностью неприкосновенной, у него даже не имеют права спросить при сдаче имя и фамилию. В середине мая на приисках было много толков про самородок весом в 3 кгр., сданный неизвестным лицом в отделение банка. Заведующий отделением показывал мне этот пока единственный по величине самородок, найденный на Алдане. Самородок весит 3.223 грамма, напоминает собой речную большую раковину, одна сторона которой гладкая, другая пористая. Золото чистое, без посторонних примесей. На неофициальный вопрос, с какого прииска самородок, сдачник ответил с улыбкой:

— С Джеконды...

28 мая на Орочене же был «поднят» и сдан другой самородок, весом в 2 килограмма 600 грамм.

После этих шумевших самородков на Орочен огромный наплыв желающих работать именно в шахтах...

Солнце буквально льет ушаты лучей на голову. Последние дни апреля стоит ровная солнечная погода с ослепительным снегом и тишиной. Я забредая в цветную улицу палаток, утонувших в глубоком снегу. Из черных железных труб, напоминающих «козьи ножки», струится дым. Железные печи в палатках топятся день и ночь. Нагреть жилище из мешочной реднины или из матрачного полотна — задача не легкая. В крайней полосатой палатке чисто вымытый пол, вдоль стен — досчатые койки. Молодая «мама» в ожидании «сынков» со смены варит ужин. Появляются шахтеры. В них трудно узнать мрачных жителей подземелья, готовых переломать вам поги.

— Садитесь покушать с нами.

Они сидят за столом, быстро работают ложки, в тишине слышится сочное жеванье. Вот уже миски пустые, и шахтеры достают кيسеты. Мы закуриваем одной спичкой. На вопрос о заработках один отвечает:

— Как вам сказать, заработок ничего, только неравномерный. Иной

день и 15 рублей выгонись, другой день и третьей части не заработаешь.

— В мерзлоте больше двухсот в месяц не выгонись, а в таликах и 250 и даже 270 можно выработать.

— Это совсем не мало, — говорю я, — если вы проживете на харчи и на все остальное сто рублей, и то у вас останется 150—170 рублей. В жилухе о таких заработках не слыхали.

На лицах улыбка, говорящая о моей наивности.

— В тайге или в жилухе — равнять никак нельзя. Там человек жизнь имеет, а тут мы, как лесные звери. Зимой по три палатки навьючивали и сидели во всей одежде: в шапках, в рукавицах. А как пурга пойдет на неделю — насквозь дует снеговой пылью, будто овец гонят белых по улице. Ночью с лопатками бегаем снег набрасывать, чтоб к гольцу не унесло сонных вместе с палаткой. Никак нельзя равнять тайгу с жилым местом.

Такое убеждение о жизни на Алдане здесь очень распространено: не за работу, а за жизнь в тайге необходимо повышенное вознаграждение. Такое убеждение так же сильно и среди служащих, совсем не живущих в палатках. В союзе горнорабочих мне говорили, что расценки на горные работы были составлены слишком высокие, и высказывали уверенность с будущего года их понизить. Я не знаю, высоки ли заработки забойщиков вообще, но в сравнении со многими категориями, я знаю, что оплата их труда слишком высока. На разведках рабочие живут в худших условиях, но получают в два раза меньше. О старателе не приходится и говорить, эта категория поставлена в совершенно особое положение. Служащие на мое недоумение о таких окладах, как 500 рублей — бухгалтер, 350 — счетовод и т. д., всегда одинаково, словно сговорившись, отвечают:

— А кто поедет сюда за обычный оклад?

— Никак нельзя равнять тайгу с жилым местом, — несколько раз повторил забойщик в раздумье, — там я выйду, погуляю на улицу, а здесь как зверь в лесу живешь.

### Кулибина

На Орочене мне пришлось быть еще раз. Это посещение я посвятил осмотру кулибины, которая уже работала с половины мая. Стояли пасмурные, тихие дни, похоже на осенние, с выпадающим и быстро стаявающим снегом. За Ортосалой громыхали взрывы по три-четыре друг за другом, напоминая стрельбу из орудий. На руслоотводной канаве Н.-Серебровского прииска копошились люди. Канавы дошла до

речки, оставалось взять не больше 6—7 метров, чтобы вода из реки ринулась по новому пути, уготованному человеком.

На полпути меня застигла пурга. Небо сделалось темным, подул сильный ветер, зашумели голые деревья. Снег понесся косыми густыми струями. Мгновенно все кругом сделалось бело. На приiski я пришел прозябшим, несмотря на быструю и тяжелую ходьбу. Пурга между тем разыгралась пуще. На крыльце в полночь надуло сугроб не менее метра. Жутко оказаться в такую погоду в тайге, тем более — в виду стоявшего тепла люди уже сбросили с себя зимнюю одежду.

В пять часов утра я был около здания, построенного из наклонных линий, и искал входа в него. Вокруг лежали засыпанные снегом отвалы, бревна, приходилось перепрыгивать канавы с риском свалиться в полузамерзшую грязную кашу. В хаосе столбов и бревенчатых креплений, образующих основание кулибины, кое-как разыскал дверку, ведущую в здание. Поднялся по деревянным лесенкам, похожим на баржевые трапы, и попал в комнату с кирпичной печкой, которая оказалась вашгердным отделением. Скоро явился смотритель. Он потирал руки перед печкой и покривал.

— Вот так первое июня, вода замерзла в шлюзах. Если не боитесь прозябнуть, пойдемте, я вам покажу нашу машину. Имейте в виду — она единственная на Алдане.

Я был поражен простотой «машин». По широкому сплотку из канавы на кулибину идет непрерывным потоком вода, а из шахты паровой лебедкой непрерывно подаются пески. Бадьи опрокидываются в деревянный, обитый железом наклонный жолоб длиной около 70 метров, пески гонятся силой течения вниз до самого конца. Днище жолоба закрыто грохотами — листами железа, с дырами — то же, что в бутаре, с тою лишь разницей, что в кулибине головка вверху, а в бутаре внизу. В головке, помимо сего, посланы суконные ковры и поделаны поперечные желобки, в которых разлита ртуть. Те малые частицы золота, которые не смогут уловиться сукнами, неизбежно будут задержаны последним ртутным ловителем. Проходя через ртуть, золотые пылинки обволакиваются ртутной массой и, отяжеленные, садятся где-нибудь в ячейку трафаретной сетки. Очень просто и в то же время — золоту немислимо бежать от рук человека.

Рабочие в длинных сапогах, в брезентах прогребают крупные камни по шлюзу, помогая воде протащить их

до конца, где другие граблями и лопатками откинут их в отвал чисто-на чисто перемытых ненужных булыжников.

Наконец, явились так называемые «депутаты», особо уполномоченные лица для с'емки. По окрику смотрителя, едва слышному в грохоте камней и шуме воды, двое рабочих закрыли ставнем воду. Наступившая вдруг тишина подчеркивала торжественность предстоящей с'емки золота. Депутаты, высокие солидные молодцы, как монументы, встали около шлюза. Застучали молотки, отбивающие железные скрепы, запирающие грохота. Тяжелые листы рабочие ставили к стенкам жолоба, обнажая внутренность промывального аппарата. В ячейках сего, устилающих дно жолоба, как в медовых сотах лежали чисто отмытые камешки, и среди них, выделяясь белизной ртутью, — слипшееся мелкое и одиночное крупное золото. Смотритель нагнулся и подал мне золотину величиной с куриное яйцо.

— Вот такие самородки очень часто попадают у нас.

Я держал в руке белый тяжелый кусок и видел, как спина депутата изобразила колебание: повернуться или доверить самородок двум неделикатным людям. Я бросил золото в шлюз и спросил:

— А если самородок будет немного покрупнее; он ведь не сможет провалиться через дыры грохотов и вместе с камнем будет сброшен в хвост, затем в отвал.

— Да, это очень может быть...

Лопатками мелкие камешки, глина и золото собираются из шлюза в енды, сделанные из жести на подобие угольных глушителей. Лишь только рабочие двинулись к головке, самому богатому участку шлюза, депутаты проявили необыкновенную подвижность и заняли новые наблюдательные позиции. На обнаженных ковриках сплошным рассевом тускнело одетое ртутью золото.

— Откройте воду! — закричал депутат.

Пущенная вода смыла с золота грязь и мелкие камешки, сделав его еще более видным.

Наконец, мы двинулись в вашгердную. Впереди депутаты с тяжелой ендовой, позади смотритель. Промывальщик уже готовился к промывке: стружил рубанком новое пехло и насаживал на рукоять. Вот он в сапогах залез на чистый, плотный досчатый пол вашгерда — тоже шлюз, короткий, широкий, без ловителей, — и сказал: — Давай!

Частью содержимое енды вываливало на пол вашгерда, тонкая ровная струя воды начинает снова мыть

неотделившиеся еще от золота посторонние примеси. Все меньше становится куча, но заманчивее. Промывальщик резким движком пехла сдвинул кучу чистого золота в сторону и принялся за новую порцию, выложенную из эндовы.

Металл подвергается промывке еще раз при помощи щетинной щетки, затем перегружается на железные совки, в виде огромных ложек на длинной рукоятки, и ставится в печь на колосники для выпаривания ртути и просушки, для дальнейшей очистки от шлиха. Депутаты держат тяжелые совки, задвинутые в печь, все остальные смотрят им в спины. Просушенное золото является в своем естественном виде — желтое, рассыпанное на крупички, манящее взгляд. Ложка, положенная на стол, была полна до верху. В общей массе я узнал тот самородок, который уже держал в руке.

Прибежавший залпахавшийся помощник управляющего принялся перекладывать золото с ложек на весы. На его лице — наслаждение, он, видимо, забыл обо всем, кроме сыплющегося перед глазами драгоценного металла. Потом, не позволяя никому помочь себе, он принялся перекладывать золото лопаточкой в кружку. В тишине слышались сосредоточенное сопение и шелест. И депутаты и смотритель почтительно стояли в отдалении, без движения, точно боялись нарушить торжественную молитву.

Взвешивание дало следующие результаты: шестнадцать килограммов 425 гр.

— Ничего, все-таки есть, хотя и мороз помешал, — сказал смотритель и как бы поставил точку над долгой процедурой с'емки.

Все свободно задвигались и заговорили. Два молодца взяли кружку за ручки и с торжественными лицами понесли в контору.

Помимо с'емки и промывки, меня интересовало другое: насколько при данном контроле — два депутата и смотритель — контора гарантирована от хищения золота, и пришел к выводу, что кража очень возможна. Были мгновения во время вашгердной обработки, когда смотритель ушел пустить воду, оказавшуюся залертой, один депутат за чем-то тоже отлучился за дверь, а другой занялся рассматриванием запачканного рукава куртки. Не надо большой ловкости для человека, стоящего на короточках над золотой кучей, чтобы схватить горсть и опустить в карман.

Рассказывают о различных хитростях промывальщиков. Будто на бодайбинских приисках были такие, ко-

торые имели сапоги с продолбленными каблуками. Нажимом каблука на золотину вгоняли ее в оригинальное приспособление для кражи и уносили в барак. Один инженер, похвально хорошо поставленным надзором над вашгердным отделением, бросил золотое кольцо в кучу обогащенной массы, обещав награду промывальщику, если он украдет его. В свою очередь пригрозил надзору увольнением за пропaju этого кольца. Кольцо исчезло на глазах у всех...

## Б ы т

День моего приезда на Незаметный ознаменовался двумя событиями, как бы подчеркивая важный участок в бытовой жизни приисков. В обоих событиях центральной фигурой являлась женщина. В пять часов вечера на дороге за поселком раздалась выстрелы в женщину и ее сожителя, сидевших в санях, решивших расстаться с приисками. Их настиг ревнивый покинутый друг. Другое событие — показательный суд над комсомолкой и комсомольцами, обвиняемыми в половой распущенности. За столом сидело очень много судей, перед ними стояла девица в барнаулке, с поднятым воротником, несмотря на дуhotу в тесной комнате.

— Я давно к нему хожу, с самого китайского нового года, — говорит она суду, — как выпили у него, так я и осталась ночевать.

Свидетели, жители барака, где происходило подсудное дело, показывали, как частенько у неприкрытой двери молодого паренька собиралась толпа любителей подсмотреть разложенную на столе клубничку... Паренек отрицает все от начала до конца и чувствует себя очень уверенным, даже ухмыляется.

— Как тебе не стыдно отказываться, — восклицает девица. — Все видали, как я ходила к тебе. — Она серьезно обращается к суду. — И хватает у него совести отказываться!

В душевной комнатке дружный смех... Интересны некоторые цифры судебной статистики о жутком явлении, ставшем бытовым благодаря своим размерам — о кровавых расправах, жертвами которых являются женщины. С января 1928 года по апрель 1929 года было заведено 48 дел по 136—161 стат., большинство из них — покушение на женщину, причина — ревность. В 22 случаях — со смертельным исходом. За апрель и май 1929 г., за два месяца, совершено 11 преступлений по тем же статьям, из них 5 со смертельным исходом.

За семнадцать месяцев 27 убийств! Количество всего населения приисков



в этот период равнялось 5-6 тысячам. Представьте себе маленький уездный городок, в котором за полтора года 49 покушений на жизнь женщин и 27. похорон!

В доказательство того, что мы имеем дело не с преступным элементом, а с большим явлением я приведу статистику имущественных преступлений по 162—178 статьям. Их всего-на-всего 46 за то же время. Бросается в глаза ничтожная цифра, к тому же в нее входит всякое нарушение до ничтожного включительно.

Вот несколько преступлений в характерной для Алдана обстановке. На приiske Джеконда старатель не ладит с женой, жена заявляет развод и перестает с ним сожительствовать. Однажды он является в барак и нападает на женщину. Удар кайлы попадает в плечо, следующий в грудь. Женщина выбегает на крыльцо. Последний смертельный удар наносится в спину. Никто из присутствующих не вступился, не остановил убийцы. Другой случай там же на Джеконде. Убита женщина топором из ревности к мужу. Убийцу никто не задержал. Он, как рассказывают, встретился на магистральной с мужем убитой и рассказал ему, что его жену убили за распутную жизнь.

Бросается в глаза однородность преступлений не только в исходной и конечной точках, но и в промежуточных деталях. Обращает внимание отношение окружающих и отсутствие вражды из-за женщины между мужчинами. Теперь, когда я вот уже несколько месяцев снова дома, у меня в глазах продолжает стоять таежный поселок, темным пятнышком брошенный в горные складки. Угрюмые, молчаливые хребты, неуютные, сырые поляны с вечно холодными мхами вместо шелковой травы, мари, кедровой сланики не радуют взора человека. Может быть, и эта природа участвует в преступлениях людей, лишенных солнца, оторванных от родных полей и садов.

По данным поссовета, несколько отсталым, население Незаметного таково:

Русских мужчин	1.485,	женщин	742
Якутов	» 123,	»	60
Китайцев	» 787,	»	34
Корейцев	» 163,	»	56
Прочих	» 57,	»	21
	2 565		913

По другим приискам:

Русских мужчин	1.808,	женщин	476
Якутов	» 114,	»	29
Китайцев	» 3 510,	»	26
Корейцев	» 684,	»	37
	6.116		568

Главная причина жуткого бытового явления—отсутствие женщин. Эта же причина толкает, вернее соблазняет женщину на проституцию. Тоже явление не менее жуткое. Проституция на приисках ютится под флагом «законного» брака, так как женщины-одиночки не выпускают на Алдан. По взаимному договору тот или иной «муж» с «женой» живут под одной кровлей и делят добычу.

Как мы видели по данным статистики, женщин на Незаметном 913, даже с первого взгляда слишком незначительное количество для единобрачия, для 2.565 мужского населения, а на других приисках мы имеем еще более резкое соотношение, но и оно, это и так разительное соотношение, падет еще ниже, если мы добавим, что большая часть женщин завезена служащими,—жены, сестры, родственницы,—таким образом, приисковая рабочая масса явится еще более обездоленной бытовыми условиями Алдана. В рабочей массе, даже русской, не говоря уже о китайской, женщин совсем мало, почти нуль.

Очевидец рассказывал, как в одном из китайских барачков во время ночного обхода была обнаружена «любовь». За занавеской, называемой «бесстыдницей», лежала молодая девица, а на нарах, начинаясь от занавески, сидела очередь китайцев не менее десяти человек.

Не меньшей жутью веет и от таких китайских барачков с незнакомой нам жизнью за темными дверями и окнами, заклеенными грязной холстиной вместо стекол. С раннего утра, едва-едва замутнеет рассвет, по досчатым мосткам Незаметного стучат торопливые шаги. С лопатками, с кайлами на плечах, в кофтах с разрезами по бокам идут китайцы на работу на свои деланы. В обед к отвалам по тропинкам и переброшенным бревешкам через канавы, по скользкой глине, с ведрами и лотками на коромыслах тянутся артельные повара, китайские «мамки». В ведрах отваренная в кипятке мучная лапша, на лотках—пресные пампушки и чайная посуда. Когда все разложено, миски налиты, артель бросает работу, каждый садится на корточки и сосредоточенно начинает работать палочками или, оттопырив губы, дуть на горячий чай, точно продолжает кайлить, катать тачки и мыть на бутаре. Ни одного лишнего движения. Тут же на грязных досках или на отвале усталые люди засыпают недолгим сном в неудобных позах, с раскинутыми худыми желтыми руками. Вечером в сумерках двадцатичасового дня плетутся в свои темные, сырые бараки, наполненные телами, парами грязного белья и неведомой нам своей жизнью.

Здесь и эксплуатация артельщиками, расторопными темными личностями, пользующимися знанием русского языка как фальшивой монетой, и опиум и много других тайн, к которым чрезвычайно труден доступ белому человеку. Только как отраженное эхо можно услышать рассказы об этих тихих бараках. Мне рассказывали зрители о странном исчезновении с делян китайцев и появлении новых на ту же фамилию какого-нибудь Чин Гоачина. Работает месяц, два, три... больше не приходит. Где же те, на место которых пришли новые люди?

— А нам какое дело, — говорят зрители, — артель полная, справляется с работой и ладно.

Остаются только гадать. Они или изгнаны артельщиком за долги, или продали свою долю, или умерли и тайно зарыты в лесу, а может быть, убиты и брошены в укромное местечко, которых здесь очень много. Многие факты подтверждают и то, и другое, и третье. При постройках новых жилищ в пургах часто обнаруживаются трупы неизвестных людей. С таинственным снегом случайно забредший с дороги путник находит тело с явными признаками насильственной смерти... Нет возможности не только учесть, но хотя бы отдаленно представить себе количество исчезнувших без вести. В темных, сырых бараках тихо, там ничего нельзя узнать, только случай освещает уголок непонятной нам жизни.

Еще не искоренен таежный зверьихник, продолжает бродяг в округ приисков, как волк кругом овчарин, и еще довольно ему пищи.

Опиум, несмотря на решительную борьбу с ним, задосится на Алдан в громадном количестве. Опиум не настоящий, суррогат из остатков, выгарков и всевозможных примесей, с ничтожным процентом натурального опиума. Цена на него очень высокая. Одна трубка в 10—15 затяжек доходила до 2 рублей. Результаты курения — расстройство сердечной деятельности. У курильщиков серый цвет лица, мутные, запавшие глаза, дрожание рук.

Культурные люди на Алдане скоро сливаются, благо здесь вполне узаконена продажа чистого спирта. В первомайские дни спирт доходил до 45 рублей за бутылку благодаря неожиданному запрещению торговли окрисполкомом. Здесь на улицах свободно ходят пьяные ответработники и не находят нужным закрывать окон занавесками. Прохожий может беспрепятственно наблюдать утробу маленькой комнатки, забитой пьяными людьми и дорожными бутылками. К сожалению, трудно было получить статистику выпитого спирта в первомайские дни, но я кстати приведу интересные данные

за 19 месяцев, с октября 1927 г. по апрель 1929 г. За этот период продано магазинами Союззолота 183 970 бутылок спирта на сумму 1.839.700 рублей. Других водочных изделий — 38 900 бутылок на сумму 330.650 рублей. Не так давно Союззолото отпускал спирт по 10 рублей за бутылку, но с весны 1929 года цена повышена до 13 рублей. Довольно значительная цена на спирт сильно дифференцирует потребление, главным истребителем огненной влаги является хорошо оплачиваемый служащий и горняк с хозразработок. Китайцы и корейцы, составляющие 64 процента (а теперь гораздо больший процент, после прибытия новых партий из Благовещенска), совсем не потребляют спиртных напитков, и совсем не участвуют в этих двухстах тысячах бутылках.

### Новый быт

На площади по белому фону свежес выпавшего ослепительного снега — огненно-рубиновые знамена. Разноплеменная, разнолика, разноязычная толпа, принаряженная для праздника, давит на кольцо из редких милицеских, охраняющих центр, где в порядке стоят шеренги дивизиона и пионеров. С трибуны выступают русские, китайцы, корейцы, якуты. Оркестр подхватывает возгласы ораторов, приветствующих трудящихся всего земного шара. Скромно, с краешка толпы — орочен с упряжкой оленей. В черных глазах любопытство: что это творится в его родной тайге? Долго не уезжает он и все смотрит, весь внимание и напряжение. Долго над толпой качаются кончики ветвистых рогов, похожих на причудливое водяное растение.

Это первое мая на Алдане, в далекой суровой тайге. Пусть большинство кричавших с трибуны приветствия новому солнцу час спустя после митинга уже спрятались в потемки своей комнатки с заготовленным спиртом, но их слова пошли по баракам, по тайге и все же дадут всходы. Маленькие, чахлые, как все новые всходы в каменистой, мерзлой почве, но все же — всходы. Так, пядь за пядью, шаг за шагом человек отвоевывает себе лучшую долю под холодным небом среди вечно белых каменных гольцов. Несмотря на кажущуюся медлительность, завоевание тайги происходит с невероятной исторической быстротой.

В просторном, пахнущем свежей сосной огромном здании союза горнорабочих мне с удовольствием и готовностью рассказывают:

— На содержание клуба в последнее полугодие и другие нужды мы истратили 32.000 рублей. Дотация Союза — 8.000 рублей, остальное — наша вы-

ручка от постановок, кино, концертов. Наш баланс за прошлый год выразился в 82.000 рублей. Было сделано 50 процентов бесплатных культурных мероприятий. Посещаемость выразилась в цифре 67.000 человек. Думаем увеличить количество киноустановок

до 16, а количество точек радиоприема по общежитиям и клубам до 150. На каждом прииске у нас есть библиотека. Книг — 12.000 экземпляров. Печатных изданий распространяется: 800 экземпляров «Горнорабочего» и 5.000 разных газет и журналов.

## 2. ВРЕМЯ. ДЕЛА И ЛЮДИ

(Фабричные очерки)

Борис Анибал

### ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

В отделение забегает оживленная и сияющая Тинка, секретарь фабкома. Ее крепкие, розовые щеки стали еще розовее от возбуждения, а белокурые стриженные волосы растрепались от быстрого бега по лестнице.

— Ну, ребята, — говорит она, переводя дух, — слышали: наша фабрика премию по соревнованию получила!

— Ври больше!

— Какую же?

— Врешь ты, Тинка...

— Сколько?

— Чего врешь. На производственной конференции объявили. Три тыщи!

Белокурая и розовощекая, она похожа на тех деревенских пареньков, которых рисуют на картинках. Ее глаза блестят, нос заодно курносится. Около нее толпятся работницы.

— Ну, вот, а все плакали, что наша фабрика никуда не годится.

— А как же те-то фабрики, с которыми мы соревновались?

— Да как — директор «Победы» рвет и мечет, неправильно, говорит, дали. Я, говорит, докажу и не допущу! — смеется Тинка.

— Чего там неправильно, правильно! Это нам только кажется, что уж фабрика наша плоха, мы на ней работаем и все дыры видим, а позови свежего человека — тоже скажет, что правильно.

— Куда ж мы деньги-то девать будем?

— Как куда? Детский сад устроим, на дом отдыха можно, на библиотеку, работниц премировать будем... только давай!

Неожиданный звонок, возвещающий начало работы после перерыва, прекращает разговоры. Щелкнул рубильник, загудел мотор, но и сидя за машинами, работницы переглядываются друг с другом.

\* \* \*

В каждом отделении доска соревнования, по которой ползет черепаха, идет пешеход, бежит лошадь, плывет

пароход, едет трамвай, мчится паровоз, несется автомобиль и улетает в облака самолет. А под ними, смотря по тому, какое место в соревновании занимает каждое отделение, вывешены миниатюрные пиджаки, брюки, толстовки, косоворотки.

В отделениях висят большие круглые деревянные часы с тремя стрелками — красной, синей и зеленой. Каждый день по окончании сменной работы инструктор переводит эти стрелки, отмечая на циферблате производительность, брак и прогулы.

В отделениях по стенам плакаты:

Соцсоревнование — рычаг к выполнению пятилетки в четыре года.

Соцсоревнование поможет выполнить и перевыполнить промфинплан.

\* \* \*

В первом отделении, в первой смене вывесили очередные показатели. Посмотрели на них работницы и ахнули:

— Батюшки! Производительность-то...

Производительность за минувшую десятидневку упала, вторая смена шла далеко впереди.

Инструктор Наталья Кондратьевна, полная женщина в черном халате, туго перетянута поясом, и с растрепанными волосами, расстроилась.

— Что, говорила я вам — на черепаху посадят? и посадят! А вы гуляйте да разговаривайте больше. Вот стыд-то!

Сказала и побежала в контору проверять: уж не сфальшивила ли та смена в тех сведениях, из которых выводятся показатели. Оказалось, нет, все верно. Вернулась в отделение и говорит:

— Чует мое сердце, быть нам на черепахе! Уж как хорошо — поезжай, не упадешь.

А работа идет. Стрекочут машины, как железные кузнечики. Молчат работницы. Течет и течет серое полотно конвейера.

\* \* \*

Сидят они на работе рядом, на фабрику ходят всегда вместе, если опоздают, то обе сразу. В отпуск по декрету<sup>1)</sup> пошли вместе и у обеих теперь по сыну. Неразлучны они с 19-го года. Одна Горбушкина, другая Горбачева, одна повыше и потоньше, другая пониже и поплотнее.

На фабрике их зовут Пат и Паташон. И вот одна другую вызвали на соревнование. Соревновались кто меньше прогуляет и опоздает и даст меньше браку.

И у той и у другой показатели все-таки были одинаковы.

Над ними смеялись:

— Ну, Пат и Паташон...

— Чего зубы-то скалите, — говорили они в один голос, — прогулов у нас нет, опозданий тоже и браку совсем не стало.

— Так вам легко, вы все вместе...

— А вот и вы бы все вместе, и вам бы легко стало.

\* \* \*

На дворе, у табельной будки, такая же, какие бывают в школах, черная доска, и на ней мелом четко и старательно выведены фамилии прогульщиков.

Прогульщики, в первый раз увидев на ней свои имена, попытались стереть пронзительные на черном белые буквы, но все было тщетно.

— Высоко висит, собака.

— Ну и чорт с ней, свяжешься — еще хуже будет.

Справка: прогулы в течение второго квартала с 0,80 проц. упали до 0,64 проц.

\* \* \*

В маленькую комнату, где за тремя столами разместилось пять человек плано-установочного бюро и отдела экономики труда, приходит работница.

— Где бы мне тут насчет расценка узнать!

— А вы на чем сидите?

— На пиджаках я. Ручная, обрезку рукавов делаю.

— Так насчет чего вам?

— Да мне бы расценок снизить...

— Снизить?

— Ну да, снизить!

Тут все пять человек, бросив перья и карандаши, откинулись на своих стульях.

Когда она ушла, торопясь на работу, проверили ее зарплату. Оказалось, что процент ее приработка сверх ставки не больше, а меньше многих работников.

— Седьмой год на этой фабрике работаю, — сказал зав. ОЭТ, — и в первый раз слышу. Придется в стенгазету заметку написать.

— Что ж удивительного, — перебил зав. ПУБ, — ведь соревнование у нас, забыл, что ли? Но заметку написать надо.

А работница, которая приходила, — маленькая, шупленькая, смотрит робко, говорит тихо, повязана платочком.

\* \* \*

Шесть человек утюжилщиков-ударников напились пьяными. На работе еле возили утюгами. Поскандалили. Их сняли с работы и отправили домой.

Потом спрашивали:

— Как же вы, ударнички, промахнулись?

— Да как? Например, я с горя! Расценок очень снизили. На полтора рубля в день, это после пяти-то целковых. Разве можно. А я всегда как мало получаю, так и пропиваю. Получать тогда интересу нет.

— Чудак, нехорошо же.

— Я и сам знаю, что не хорошо. Выговор дали, да еще в газете протащили. Хорошего ничего нету.

— А как же теперь насчет выпивки?

— В дальнейшем-то? Это мы посмотрим. Но теперь я не беспокоюсь, расценок-то, видишь, нам набавили.

### Обращение

**рабочих фабрики «Игла» к рабочим фабрик «Красный челнок» и «Победа»**  
Товарищи!

Нашей общей задачей является выполнение и перевыполнение промфинплана и повышение качества продукции выпускаемых изделий.

Между тем при том качестве раскроя, который поступает с ваших фабрик на нашу и при тех перебоях в снабжении нас кроем, которые стали постоянным явлением, добиться этого невозможно.

Плохое качество раскроя заставляет нашу администрацию содержать целый штат разборщиков, проверяющих поступающий от вас раскрой и, насколько возможно, исправляющий его недостатки, так как пускать его без этого в пошивку, в виду низкого качества, нельзя.

Во втором квартале из-за перебоев в снабжении кроем наша фабрика простояла 12.727 часов, что равно полному рабочему дню 1.600 человек рабочих.

Понятно, что при таких условиях наши накладные расходы растут и выполнение производственной программы срывается, благодаря чему ставится под угрозу выполнение всего промфинплана.

<sup>1)</sup> Т.-е. по беременности.

Несмотря на целый ряд обращений к вашей администрации, которой только во втором квартале послано 73 акта и письма о плохом раскросе и перебоех в снабжении им (41 на фабрику «Красный челнок» и 32 на ф-ку «Победа»), несмотря на целый ряд обращений непосредственно к вам, рабочим, через производственную комиссию, стенгазету и фабком, положение остается до сих пор прежним.

Ко всем нашим обращениям вы до сих пор оставались глухи, как будто никаких недостатков в вашей работе не было и нет, а между тем они вам отлично известны и в основном сводятся к следующему: небрежный раскрой, разнотой в размерах и разноцвет, небрежная комплектовка, связка и нумерация пачек.

Ваша обычная ссылка на текстильщиков не серьезна: текстильщики не виноваты в том, что вы настигаете оранжевый сатин вместе с синим, черным и зеленым и направляете нам комплекты раскроя всех цветов радуги или неправильно делаете надсечки и вырезаете горловины и рукава.

Что же касается перебоев в снабжении, то очевидно, что вы недостаточно заботитесь об обеспечении своих фабрик материалами и не думаете о том, что каждый час простоя у вас увеличивается у нас вдвое и втрое, поскольку вы должны дожидаться только получения материала, а мы, кроме того, его раскроя и доставки на нашу фабрику.

Товарищи! Руководствуясь одними задачами, которые ставят партия и правительство, работая в одном объединении, при данных условиях мы должны быть одинаково заинтересованы в выполнении промфинплана нашей фабрики и в том, чтобы потребитель мог получить недорогую, но доброкачественную вещь.

Поэтому производственная комиссия и редколлегия стенгазеты фабрики «Игла» от имени всех рабочих призывает вас со всей серьезностью относиться к нашему обращению и направить все усилия к тому, чтобы в кратчайший срок качество кроя поставить на должную высоту и наладить бесперебойное снабжение нас таковым.

Производственная комиссия  
и редколлегия стенгазеты  
фабрики «Игла».

\* \*

Разговоры:

— Эх, вы, ударники! на полпачки меньше нашего выпускаете!

— погоди, дай срок — догоним...

— Почему же вы в первый-то раз отсе, вновация отказались?

— Сама бы отказалась. Пришли к нам в перерыв из фабкома и говорят: «Первая смена вас вызывает»... Чередом ничего не растолковали, цифры такие надавали, что прямо охнешь, а тут уж мотор пустили, разбираться некогда, работать надо, ну мы и говорить не стали. А второй раз из союза какая-то пришла: «Стыдно, товарищи!» — и чуть не под арест посадить всех собираются. Очень уж народ-то накатистый пошел. Ну, мы эту союзню — по боку, в другой раз не пугай. Не к тому соревнование. А потом, как отступились все от нас, мы сами между собой разобрались по порядку, что и как, пустили по мотору подписной лист: «принимаем, мол, вызов первой смены и объявляем все отделение ударным», так все подписались, трое только отказались.

\* \* \*

За полгода фабрика изменилась: то, что прежде казалось невозможным, теперь осуществлялось в порядке текущей работы. Промфинплан из заводоуправления перекочевал в цехи, промфинплан обсуждали работницы, одолевая прежде казавшиеся недоступными цифры и расчеты. Соревнование вросло в фабричный быт.

Все шло по порядку: из пятилетки выросстал промфинплан, на основе промфинплана развертывалось соревнование и ударничество.

Но стройность и постепенность этого порядка нарушала быстрота, с которой совершались изменения. Каждый день нес новое. Утюжилщики объявляли себя ударниками и всем отделением подавали заявление о вступлении в партию, то там, то здесь возникали ударные группы. Равняясь по передовым участкам, приходилось спешно подтягивать и перестраивать работу общественных организаций, конторе приходилось перестраивать свои расчеты. Цифры стали оживать.

Если оглянуться назад на год, на два — прежняя фабрика с этими же красными кирпичными стенами и с теми же рабочими кажется новым ковчегом.

\* \* \*

По отделениям вывесили графики выходов на работу при непрерывке. Зеленые, синие, красные и желтые прямоугольники цветными пятнами украсили выбеленные стены отделений.

Около графиков споры.

— Ничего тут понять нельзя!

— Как не понять, понять можно. Смотри — которые синие, которые красные... Ты — зеленая и, значит, гуляешь 4, 9, 14... а я белая и гуляю 3, 8, 13... прибавляй все по пять.

— И на кой чорт непрерывку какую-то еще выдумали?

— Это тут никаких концов не найдешь: сегодня меня нет, завтра тебя.

— У меня вон муж гуляет первого, сын третьего, а меня запятели на четвертое.

— Значит неправильно, имеешь право требовать, чтобы в один день с мужем.

— Так и дадут!

— Должны дать, насчет этого приказ есть.

— Ну, коли так, пойду в контору.

Непрерывка была введена. Работницы, не запоминая своих выходных дней, сначала путались. На одну машину выходило по две работницы. Создавалась неразбериха, бегали ругаться в контору и к завпроизводством.

А в конторе разбирали графики, объясняли и все выходило правильно. Это вызывало еще большую досаду.

— Чорт их поймай, наставили кубиков, ровно маленьким.

— Да у тебя сегодня выходной, зачем же ты пришла?

— А что я помню что ли, думала, не воскресенье — и поехала.

— А ты не думай, смотри на свой цвет, тебе и пропуск с твоим цветом дали.

— Ну их, разве упомнишь!

Постепенно все наладилось. Через каждые четыре дня — отдых, а после отдыха из утренней смены переходили на работу в вечернюю. Стало понятно.

По отделеньям в перерывы с обгрызанными карандашами и клочками бумаги в руках шныряли стенкоры. Они интервьюировали работниц о непрерывке.

— Ну как, по-твоему, непрерывка-то?

И писали:

«Семихина говорит, непрерывка хорошая тем, что она поднимет производительность труда и заработок, сократит безработицу и даст больше свободного времени каждому».

«Щепоткина сказала, что я за непрерывку. Нужно поставить так, чтобы мужья и жены отдыхали в один день».

«Гаврилова говорит, непрерывка неудобна тем, что в день отдыха будет стирка, и отдых фактически отпадает».

«Алексеева говорит, что все перешедшие на непрерывку говорят хорошо».

А заводу управление в стенгазете, посвященной непрерывке, сообщало:

«В первый же год работы на непрерывной неделе фабрика увеличит выпуск продукции на 179.040 рублей и наберет с биржи до 300 новых рабочих...».

\* \*  
\* \*  
\* \*

Из фабкома в контору, из конторы на производство, появляясь то здесь,

то там, с маленьким чемоданчиком в руке, в длинном, почти до пят, демисезонном пальто, с горлом, обмотанным шарфом, и в кепке, нахлобученной на глаза, так что виден один только веснушчатый нос, проходит редактор фабричной стенгазеты, работница Шер.

В чемоданчике у нее — свернутые в трубку рукописи и заметки: мятые и засаленные листочки, желтые обертки из-под ниток, исписанные корявыми почерками.

С видом таинственным и не обещающим ничего хорошего она проходит конторой к старшему бухгалтеру.

— Через три дня, — говорит она ему, — вы должны дать статью о выполнении промфинплана за второй квартал.

Бухгалтеру не хочется. Он молчит и, уставившись на арифмометр, выдумывает, чем бы отговориться.

— Знаете, — оборачивается он к ней, — сейчас у меня конъюнктурный обзор, доклад на административно-техническом совещании, РКИ скоро придет, да и вообще так много работы, что едва ли сумею что написать. Вы уж обратитесь лучше к Денисову.

— Ни к кому я обращаться не буду, это вы должны сделать, вы и дайте.

Ему очень не хочется, но он знает, что если не согласится, то она придет опять и будет ходить до тех пор, пока статья не будет написана. И он говорит с досадой:

— Ну, ладно, сегодня вечером напишу...

Шер идет дальше. Завоуправление задерживает ответы на заметки рабочих, и она так же настойчиво говорит с директором.

— Отвяжись, — отвечает та, — который уже раз приходишь? Напишем тебе сегодня!

В производстве никому напоминать не приходится. В каждом отделении свои стенкоры. Чемодан скоро набивается доверху их заметками. Обязаются только на то, что заметок этих долго не печатают; но заметок много, сразу всех в стенгазету не поместишь, хотя и стали выпускать ее чаще. Надо хлопотать о печатной, но кажется, плохо с бумагой.

Она говорит со стенкорами, блестя глазами из-под низко надвинутой кепки и скаля ровные белые зубы. На букве «р» она картавит.

До Шер газета выходила три раза в год, и никто ее не читал и даже не помнил, что такая существует. При ней она выходит два раза в месяц, не считая специальных бюллетеней к очередным кампаниям, и теперь стенгазету не только все читают, но некоторые и боятся:

— Чорт, опять прописали...

Когда, наконец, вышел первый но-

мер печатной, уже не стенной, а настоящей газеты, с корявыми рисунками, смешными опечатками и пестрыми прифтами, весь тираж — 1.000 экземпляров — разошелся сразу. Теперь на фабрике этот номер — библиографическая редкость.

В перерыве работницы сидели с газетой за машинами. Читали все, с первой до последней строчки. Все было о своем, фабричном, а потому интересно.

Соревнование. Промфинплан. Непрерывка. Ступенями шли жирные строки:

Разговаривать много  
не нужно

Единый  
наказ  
всем  
дан:

Работать  
упорно и дружно,  
Чтоб  
выполнить  
промфинплан.

Товарищи!  
Все внимание —  
Промплану,  
соревнованию!

На последней странице продергивали администрацию, фабком и отдельных работниц. Вообще, последняя страница была веселая.

Бойкие частушки — «По фабрике бегом с горячим утюгом» — читали вслух:

До звонка за полчаса  
Работницы оравом,  
Растрепавши волосы,  
Дуют к будке лавою.  
Эй, держитесь, сторожа!  
К табельной прут сотнями:  
Дисциплинка хороша,  
Ну, а так — вольготнее.

Отделение, шьющее кальсоны, обиделось, когда прочло следующие, невозможные, по мнению всего отделения, стихи:

#### КАЛЬСОНЫ ДЛЯ ПОКОЙНИКОВ

Не знаешь, где найдешь, где  
потеряешь.

Так нашей фабрики кальсоны  
покупаешь

И видишь вдруг,  
Одна штанина  
Длинней другой на пол-аршина.  
Работницы и вы, инструктора,  
О качестве давно подумать  
вам пора.

Чтоб качеству не петь зау-  
койную,

Товарищи,  
Не шейте на покойников!

— Как жэ это так на покойников, — говорила седа, с пыльной причёской

инструкторша в красной вязаной кофте и в красных ночных туфлях, — а косоворотки-то что же, на живых что ли шьются? У них браку-то не меньше нашего.

Работницы поддакивали:

— Конечно, обидно. Что в остальных отделениях святые что ли за машинами сидят?

Но если было обидно, значит газета действовала.

## Т Р О Е

### Дарья Спиридоновна

Она рыжая Рыжие стриженные волосы прямыми прядями закрывают уши. Лицо у нее сухое и энергичное, но как и у всех рыжих — кожа нежная. Когда она настроена на боевой лад — щеки ее быстро заливают румянец. Он становится все крепче и крепче, и вот уже краснеют лоб, подбородок и шея.

Ходит она в зеленой вязаной кофте. Запустив руки в карманы и размахивая незастегнутыми полами, упрямо нагнув огненную голову, она пробегает по фабрике, широко вышагивая по ровному месту и шагая через ступеньку на каменных лестницах.

В разговорах и спорах она находчива и не лишена остроумия. В случае чего — срежет:

— Слушай, Иванов, довольно язык-то сосать. Давай ближе к делу! — говорит она мямле-докладчику.

Если чего не понимает, то не стесняется, а так прямо и говорит:

— Что-то ничего я тут не понимаю. Растолкуйте.

Еще не успеют отгудеть фабричные гудки, как она уже на фабрике, в своем кабинете. Под окном, через табельную будку, бегут работницы. День только начинается. В ворота, неуклюжий, как бегемот, скатывается зеленый грузовик с раскроем. На столе — почта.

Дарья Спиридоновна садится за стол, ногой придвигая тяжелое директорское кресло, и корявым почерком пишет резолюции в левом верхнем углу каждой бумаги. Пишет и думает:

— Опять наслали, бумажные души. Нет на них провала.

Потом обходит отделения, смотрит работу, ругает инструкторов за брак и завалы, говорит с работницами, спорит с секретарем фабкома о пересадке мотористок и, быстро продвигаясь и кидая замечанья на ходу, проходит двором, нагоняя жару на водопроводчика, разгуливающего, как петух, с гачным ключом около пожарного колодца: дворник стремглав летит к метле;

и мётла делает в его руках прямо чудеса, агенты, скалившие зубы у склада, проваливаются в его открытые двери.

В кабинете уже дождаются старший бухгалтер, зав. ПУБ, зав. ОЭТ. Начинается очередное совещание. У нее страсть к совещаньям. Каждый вопрос она готова поставить, проработать на совещаньях, отметить важнейшие моменты и все обязательно увязать и зафиксировать, и к ней ходят на совещанья инструктора отделений, цехтреугольники, заведующие отделами. На каждом совещаньи она готова говорить о всем важном для фабрики, хотя бы это важное и не имело никакого отношения к совещающимся.

— Все равно, — говорит она секретарю, — зафиксируй... Пригодится.

Ее разговорный язык беден:

— Зафиксировать, проработать, отметить эти моменты и увязать...

Говорит она зав. ОЭТ, который, вместо того, чтобы писать протокол, рисует ее широкополую фетровую шляпу, брошенную на неогороженный шкаф.

Постепенно совещание переходит в служебный разговор... Из бухгалтера, как из решета, сыплются проценты невыполнения, перевыполнения по зарплате, накладным расходам, производительности. Ей трудно ориентироваться в этой туче относительных величин, и она требует:

— Вы мне в цифрах дайте, в деньгах да в штуках, а тут сам чорт ногу сломит, тогда и проценты, что к чему, понятны будут.

Она быстро решает вопросы, напористо наваливаясь то на того, то на другого.

— Ты просмотри процесс в 7 отделении — там завалы... Вы разбейте промплан по цехам... Вы подтяните дело с соревнованьем... Видали, какие там доски для учета наш фабком вывесил? — только людей смешить, где у них головы были? А протокол завтра обязательно все зафиксируй-те, довольно вам рисовать-то... Да смотрите, мне материал к двум часам приготовьте... Мне его до доклада надо еще самой проработать...

Входят и выходят инструктора, делопроизводитель, постукивая каблучками, дает бумаги на подпись, трещит телефон.

Фабрика большая — полторы тысячи работниц. До всего надо идти самой, обсудить, распорядиться, иногда и обсуждать некогда, а за ошибки не хватят ни трест, ни райком. Работа трудная: и администрирование, и планирование, и производство — все на ее плечах. В прошлом за плечами — работа по мастерским, нелегальные

кружки, потом комиссарство на швейной фабрике и заведывание производством, но управлять всей фабрикой нето, что заведывать одним производством, впрочем, она не боится и, когда ее выдвинули на место директора, она сказала:

— Ну, ладно. Я буду держаться, но и вы тоже, смотрите, держитесь... Раньше времени не одергивайте, не мешайте работать!

Днем — на фабрике, вечером — на курсах красных директоров. Вчера не могла решить задачи на проценты и, вспоминая условия задачи и мысленно прикидывая, нельзя ли ее решить по цепному правилу, она подписывает бумаги.

В обед забегают работницы.

— Дарья Спиридоновна, дай мне рублей пять авансу до получки...

— Авансов не даем. Читала объявление? Нет? Так поди почитай.

— Да мне жрать нечего, ребята голодные сидят, дай хоть рублишка три.

— Ну, на, вот тебе три рубля, только смотри, в получку отдай!

И она вынимает из кармана зеленой кофты измятую трешку и дает работнице, записывая на перекидном календаре: «Петровой 3 руб.»

А Петровых на фабрике человек двадцать, и если эта Петрова не вспомнит — плакали ее денежки.

В четыре часа у нее доклад в клубе на общем собрании о работе фабрики за минувший квартал. Перебегая конторкой, она на минуту задерживается у работницы, которая около расчетного стола поит своего ребенка чаем из большой белой кружки.

— Зачем ты его таким крепким чаем поишь? Ребенку это вредно! — кричит Дарья Спиридоновна и бежит на доклад.

В ярком свете рамки она стоит на авансцене перед столом президиума. Ее монгольское лицо пылает, рыжие волосы горят.

— Так вот, товарищи, — говорит она, — с соревнованием-то у нас подкачали. За это надо благодарить общественные организации. А это, понятно, отразилось и на выполнении промплана. Ведь на одних мерах административного воздействия не поедешь!

Говорит она быстро, живо откликается на реплики, идущие из зала, и во время сказанным метким словечком выходя из опасных положений.

Впрочем, опасные положения ей не в диковинку. Лет двадцать тому назад, еще молодой, рыжей и веселой девчонкой, она удирала с нелегальных собраний от неуклюжих городских, ловивших ее, как птицу: растопырив ручки немного присев. А она, оставив



локти и высоко поднимая ноги, вихрем неслась от них к ельнику, через полянку.

Она быстрая и находчивая. Такую не поймаешь.

### К а т ю ш а

К приходу вечерней смены Дарью Спиридонову сменяет зав. производством. Нахмурился, который никак не хочет хмуриться, она сидит за столом, подогнув под стул ноги, и на маленьких кусочках бумаги крупным, ровным почерком пишет записочки инструкторам. Около нее стоят прогульщицы.

— Допусти, Катюша, до работы: прогуляла я вчера.

— А почему прогуляла? Документ есть? Сколько у тебя до этого раза прогулов было? Принеси мне справку от табельщика...

Если объяснения работницы удовлетворительны и причина прогула уважительная, она посылает ее с маленькой записочкой к инструктору для допуска к работе.

Тут же прибегают инструктора, на ходу делясь новостями по своим отделениям. Они взволнованы и торопятся.

— Катерина Александровна, у меня невыход большой, хоть мотор останавливай...

— Ну, Катюша, раскрой такой прислали — прямо курам на смех: и желтый и оранжевый, на клоунов шить можно.

— Катерина Александровна, а что мне со спецмашиной делать? Ведь не шьет пуговичная-то!

Ее зовут то Катюшей, то Катериной Александровной. Катюшей зовут по старой памяти, как инструктора отделения, с должности которого она только недавно была выдвинута на должность завпроизводством.

И Катюша, расспрашивая пришедших инструкторов, заменяет невышедших запасными, звонит по телефону в центральную закройную, делает внушение старшему механику.

За окнами быстро темнеет, в кабинете зажигается сильная лампа. Через час после начала работы становится спокойнее. Кабинет пустеет. Катюша поправляет белый воротничок на синей вязаной, с красными треугольниками, жилетке и идет на производство.

Ей двадцать семь лет. Она высокая и большая стриженная блондинка с синими глазами, ровной походкой и таким же ровным характером.

В отделениях она корит инструкторов и работниц за брак, за грязь и завалы. Инструктора отпираются, работницы возражают, но Катюша не обращает на это никакого внимания, она сама была и работницей, и инструктором, и ее не проведешь. Она спокойно

обходит моторы, переходя из отделения в отделение.

Возвратившись с производства в кабинет, Катюша роется в папках, вытаскивает простыни промфинплана и развертывает на столе.

Цифры идут густыми синими колоннами, вытягиваются цепочкой, выстраиваются внизу между жирными линейками. В тишину кабинета глухо, сквозь стены, доносится гул машин и моторов.

— Сегодня — промфинплан. Месяц сидела над пятилеткой. Было трудно: графы как-то непонятно скрещивались, из одной выходила другая, в итогах стояли непонятные проценты с хвостиком перед десятичными и сотыми, а десятичные дроби, которым ее учили на рабфаке, она забыла.

Давно ли русой десятилетней девчонкой с наивными синими глазами, потряхивая тугой косичкой, вздернутой, как хвост у поросенка, она бегала в мастерской м-м Снщиной.

— Катюшь, подай булавки!

— Катюша, сантиметр!

— Да Катька, скоро ты за иголками пойдешь?!

Потом по горбатым улицам шли хмурые солдаты, громыхая тяжелыми сапогами, впереди них, летуном бежал сияющий прапорщик, крепко держась за новую пилочку, а она сидела на фабрике за машиной и шила шинели. Быть может, вот этим солдатам, что проходили мимо фабрик, под окном.

Все шло быстро. Время неожиданно ускорило свой ход. Солдат сменили ободренные красногвардейцы, вчерашние прапорщики стыдливо продавали на углах газеты и старательно скалывали лед с тротуаров, потом исчезли совсем, как-будто вообще никогда не существовали.

Катюша в то время стала инструктором отделения, недавно ее выдвинули на должность завпроизводством.

Дела много, многое непонятно и неизвестно, страшно ошибок, но само дело подталкивает, указывает, как надо делать. Потом можно посоветоваться, спросить, ведь всегда скажут. Она уважает людей с образованием и все выспрашивает то у одного, то у другого. Пятилетку она одолела, это оказалось не так страшно, и десятичные дроби вспомнила, а вот гораздо страшнее выступить на собрании и что-нибудь сказать, когда все на тебя смотрят.

— Боюсь, — говорит она, — прямо рта не раскрыть.

И смеется, щуря глаза и морща нос.

Но, преодолевая свой страх, она ходит на собрания задолго до начала, сидит в еще густом зале, дрыгая к обстановке и к лицам приходящих и рассаживающихся работниц.

А когда приходится говорить, оказывается, что это вовсе не так уж страшно. Не молчать же. на самом деле, тогда, когда брак безобразно возрос. И она говорит, позабыв свои страхи.

Прошли первые месяцы работы, все стало проясняться, как от сходящего тумана.

Она уверенней пишет свои маленькие записочки, рассылая их по производству, уверенней обходит отделения, просматривая работу, уверенней разговаривает с такими лицами, одни имена которых вызывали у нее прежде легкое головокружение и тошноту.

В кабинет забегают член рабочей части РКК — румяная и видная работница.

— Ну, Катюша, — смеясь говорит она, — когда мы с вами завтра на РКК ругаться начнем? Совсем нас администрация заела!

— Заешь нас, сами вперед с'едите. Давай с утра начнем, новый расценки утвердить надо, да на вот тебе конфетку, с'ешь, на РКК добрей будешь...

За окнами совсем темно. На дворе ночь. Скоро домой. Дома Катюшу ждет горячий чайник, заботливо укутанный в газеты и спрятанный в подушки, чтоб не остыл, а в кроватке — двухлетний сын, озорной мальчишка, который, просыпаясь при ее приходе, смотрит на Катюшу одним сонным, но хитрым глазом.

Завтра, когда она будет еще спать, в утреннюю смену выйдет Дарья Спиридоновна, и она размашистым, крупным почерком пишет ей записку о всем том, что она продумала и что надо завтра сделать с утра:

1. По сколько у нас с спецмашинами дело обстоит очень плохо, то я думаю, чтобы не пачкать работу и не заваливать 7 отделения, может мы его выведем в помещение рядом со складом, где Поликарпов.

2. Пошли пожалуста купить Петрова хотя бы несколько табуреток это прямо безобразия, что работницы дерутся из табуреток.

3. Подгони Зайцева во чтобы не стало чтобы поскорей сделал лесницу на чердак, а то совершенно нельзя ходить с бельем».

Ночь. Без пяти двенадцать останавливают моторы, и сразу в кабинете наступает необыкновенная тишина. Она кладет записку на стол директору под пресс-папье и тушит свет. Работа кончена.

#### Ф о м и ч

В механической мастерской сумрачно и грязно. У тисков возятся механики в черной промасленной спецодежде, с оттопырившимися, обвислыми карманами курток, из которых торчат длинные отвертки. Точно стреляет

звездами искр в склонившегося над ним ремешника. Выбеленные когда-то давно стены исписаны и испачканы углем и маслом.

У углу электромонтеры разбирают электрические утюги, меняя асбестовые прокладки. Испорченные и перегоревшие лампочки, как мыльные пузыри, вздуваются в большой корзине.

У самоточки, наклонившись над ней и уперев левую руку в бок, стоит, нарезая резьбу, стриженный ежиком, с жесткими усами. пожилой механик. Он сутул от постоянного сгибания над машинами и станками, глаза его прямо и внимательно смотрят исподлобья.

— Ну, что, Фомич, как дела?

— Да, что как! Дела ни к лешему не годятся: всю Москву вчера из'ездил, тонкой стальной проволоки искал, так и плюнул.

Проволока нужна ему особенная, обыкновенная для того изобретения, над которым он работает уж не один год, не годится.

Пожалуй, все дело и заключается именно в этой самой проволоке: из-за замены ее другой прекратились первые удачные опыты его изобретения, из-за отсутствия ее задерживается сейчас последнее, решающее испытание.

Впрочем, Фомич думает не только об этом изобретении. У него их много, и он сразу работает над несколькими.

Позади — за сутулой спиной — горы, фабрики, мастерские, заводы и везде — машины, станки, прессы, двигатели, шестерни, рычаги, колеса, валы, насосы.

Слесарем, токарем, механиком, шофером, на фабриках и заводах, в машинном отделении подводной лодки, лежа под автомобилем — везде видел он и примечал удивительную работу машин, и в голове смутно возникало представление колес и качание рычагов еще невиданных машин.

До революции Фомич сделал несколько мелких изобретений, но тогда работа изобретателя, тем более рабочего, ценилась мало, внимания на нее никто, кроме непосредственно заинтересованных лиц, не обращал, и он сам больше думал, чем осуществлял.

Когда на фабрике он сделал свое первое предложение, открывавшее довольно широкие перспективы в смысле лучшего обслуживания машин и экономии, в механической мастерской над ним смеялись, как обычно смеются над всем, чего не понимают, но административная пошла на встречу, дала денег, помогла провести испытание.

После поездки на Волховстрой, куда Фомича за сделанное предложение послала производственная комиссия, он занялся изобретательством вплотную.

Подумал, покопался, поругался с механиками и установил на швейной машине автоматическую смазку: у махового колеса поставил маленький медный насосик, под машину, в глухой поддонник, налил масла, от насоса вывел тонкие медные трубки к работающим частям. Как только машина начинает работать, сейчас же начинает работать и насос, нагнетая из поддонника масло в трубки, из них оно каплями поступает в механизм, а, смазав работающие части, через фильтр стекает в поддонник, а оттуда снова гонится насосом по трубкам и так почти бесконечно.

Из треста приехали инженеры и техники в очках и с портфелями. Посмотрели, понюхали, потыкали пальцами в трубки, ничего не сказали и уехали, а потом прислали акт: «Признать полезным, предложить администрации фабрики оборудовать гидравлическими насосами целый агрегат.

Насос, сконструированный Фомичом, заменял скверные ручные масленки, собирал время, ежедневно затрачиваемое на смазку, и срок износа частей, экономил масло и уменьшал брак благодаря тому, что при нем почти устранялась возможность попадания масла на полуфабрикат.

После того, как такими насосами было предложено оборудовать целый ряд машин, над Фомичом в механической стали смеяться меньше, но все же подсмеивались и, подсмеиваясь, говорили:

— Ведь вот же, удумал, чорт...

Но свою автосмазку изобретением он не считает.

— Это что, — говорит он, неуклюже поворачивая свое сутулое тело и поднимая от станка медвежье лицо с глубоко сидящими маленькими глазами, — это так, предложение, в роде усовершенствования, а вот то, над чем я сейчас ковыряюсь, то будет изобретение... Только писать о нем не надо, пока заявочного свидетельства не возьму. — И он подходит к швейной машине, вытаскивает какие-то пружины, повертывает рукой ее колесо и, подлезая под машину, начинает объяснять.

То внимание, которое оказали сконструированному насосу, подбодрило его, и Фомич занялся конструкцией трех новых установок: автоматического впрыскивания тканей при утюжке, самотаски для подачи полуфабриката и автонумератора раскроя.

Изобретатели бывают разные. Я знал таких, которые изобретали незагорающиеся зажигалки или особенные печитермосы, которые при сжигании шести килограмм керосина выпекали 400 грамм хлеба. В прошлом году один изобретатель добывал электричество из земли и ловко водил всех за нос и получал за это деньги, пока его не накрыло ГПУ. Седой старик, работавший над планерами, уверял, что для этого он специально изучал полет ястреба и серьезно рассказывал, что ястребы улетают с цыплятами, держа их под одним крылом, так как мы носим портфель подмышкой.

Фомич не увлекается фантастическими домыслами. У него все реально и трезво.

— Только вот, — жалеет он, — образования у меня мало...

Но сейчас вопрос с изобретательством поставлен так, что достаточно подать мысль, как для разработки ее будут привлечены и техники и чертежники, если мысль эта заслуживает внимания.

Фомич об этом знает и говорит в только-что организованном на фабрике кружке изобретателей:

— Так что вы, ребята, в случае чего не стесняйтесь, вам помогут. Думать только надо... — И, помолчав, прибавляет. — А кто не поможет — тому по шапке.

На боевой лад он настроился после конференции изобретателей, на которой был делегатом от фабрики, к тому же сегодня, получив деньги в счет будущей премии за насос, на радостях он немножечко выпил.

Теперь Фомич ходит на краткосрочные курсы изобретателей и, стоя у своей самоточки в механической мастерской, раздумывает, как бы сделать швейную машину без челнока.

М. 24 апр. 1930.

### 3. ВОЛЧАНКА

#### Камский

##### I

Гулко кричит в застывшую тишину паровоз. Береница кокетливых финляндских вагонов трогается, торопливо, мелькает квадратами окон, и вы осваиваетесь один на пустынной, запорошенной снегом площадке. Напр тив, в

сотне шагов от полотна — большое, желтое, окруженное длинным забором здание. Молчаливо-важные сосны. Узенькая тропинка в снегу. Вы идете по ней к приземистому крыльцу, поднимаетесь на стертые каменные ступени и здесь... вы впервые видите их.

Веселая хохотушка в вагоне, которую от самого Ленинграда сменил неутомимый выхрастый парень, шумные улицы городов, огромное, так редко осознаваемое нами счастье совместного труда с другими людьми, радость каждодневной работы, молодости, здоровья, могучее стимулирующее биение жизни, все, что наполняло ваши дни до сих пор,—все это на много часов, пока вы находитесь здесь, побледнеет, уйдет, растворится в окружающем. Вы входите в иной, пугающий мир, перед вами его предстатели, и вы понимаете, что мир этот печален и жуток.

Тот, что вышел навстречу вам из дверей, выжидающе молчит. Он видит незнакомого человека и, очевидно, ждет вопроса от вас. И хотя вы были подготовлены ко всему, но это настолько неожиданно, настолько невероятно, что вы не в силах ни сказать ему что-либо, ни пройти мимо него в дверь. Это невозможно и страшно. У человека, что стоит перед вами, нет лица. Вы видите фугристую маску с зияющим посредине провалом, без щек, без губ... мертвый оскал зубов, влажные обнаженные десны... Слюна сочится наружу, и человек беспрестанно подбирает ее комочком платка... Дверь приоткрывается, из нее боком осторожно появляется второй. Он грузно опирается на костыли, слезящиеся глаза с вывороченными багровыми веками останавливаются на вас... Несколько мгновений тягостного молчания. Но вот первый что-то говорит. Странные хлюпающие звуки хрипло вырываются из оскаленного рта. Да, он спрашивает. Он спрашивает, кого из находящихся здесь вы пришли навестить. — Как, у вас нет здесь ни родных, ни знакомых? Тогда зачем же вы пришли!? Можно ли видеть врача или сестру? Разумеется, можно,—он готов проводить. Вы идете за ним. Вестибюль... лестница... Дом густо населен. Навстречу поминутно попадают люди в халатах и синих блузах. Мужчины, женщины, дети. Некоторые из них с трудом передвигаются, некоторые производят впечатление совершенно здоровых. У многих середина лица скрыта белой поперечной повязкой, многие без повязок, и ужас охватывает при виде этих вздувшихся, изъеденных язвами губ, ям вместо носа, страшных стягивающих лица рубцов гноеточащего, покрытого струпьями мяса. Что это? Сифилис? Нет, это не сифилис. Это туберкулез кожи — волчанка. Вы в санатории по лечению туберкулеза кожи, вы вошли в новый, неизвестный для вас мир, но мир этот полон не только страдания, он полон своих интересов, воли и настойчивой упорной борьбы.

## II

— Волчанка гораздо распространеннее, чем принято думать, — говорит сидящая перед вами женщина-врач. — Начинаясь незаметно, болезнь длится годами, десятилетиями лет. Излюбленным местом волчанки является лицо, затем конечности. На лице поражаются преимущественно нос и щеки. Постепенно развиваясь, болезнь захватывает губы, десны, слизистые оболочки, небо, уши, гортань. Все это подвергается жестокому разрушению. Не менее губительно действует волчанка и на другие части тела. Обычно безболезненный процесс медленно уничтожает захваченные ткани, появляется в новых местах, и без надлежащего лечения больной превращается в инвалида. Наиболее вероятной причиной волчанки принято в настоящее время считать самозаражение. Из легких, желез, вообще откуда, где есть хотя бы незначительный туберкулезный процесс, болезненное начало может попасть в кожу и у некоторых субъектов вызвать волчанку. Первичный очаг зарубцуются, от него могут остаться едва заметные следы, но на коже туберкулез даст пышный расцвет. В туберкулезных поражениях кожи палочек мало, иногда и совсем нет, они лежат в глубине, в выделениях их обычно не находят, и поэтому больной волчанкой не опасен для окружающих. Волчанка, в обычном значении этих слов, не заразна. Из собственных наблюдений, поскольку семьи их остаются здоровы, со слов других больных и от врачей больные это знают и тем тяжелее переносят отношение окружающих, которые боятся их, часто относятся к ним грубо и с отвращением. Бывали случаи, когда больных волчанкой, несмотря на предъявление документов о том, что болезнь их не заразна, высаживали по требованию публики из вагонов трамвая и поездов. Каждый волчаночный больной, а особенно тот, у кого поражено лицо, пережил много горя. Годы безуспешного лечения своими средствами и у недостаточно опытных врачей, все большее отчуждение окружающих, часто изгнание из семьи, из деревни, с работы. Чем заметнее обозначаются на лице следы болезни, тем труднее становится жить среди людей, труднее найти угол, где можно было бы жить, труднее заработать кусок хлеба. Отовсюду гонимый, отчаявшийся в излечении больной начинает чувствовать свою обособленность, свое одиночество. Психика больных туберкулезом кожи совершенно особая, отличная от других больных, требующая умелого и вдумчивого подхода.

— Возможно ли излечение, доктор?

— Излечение? — врач внимательно разглядывает на свет пробирку с жидкостью. — Волчанка есть прежде всего туберкулез и, как всякий туберкулез, она излечима. Отсюда и методы борьбы. Что касается форм волчанки, то их много...

... В блестящую холодную белизну перевязочную входит девушка лет семнадцати. Поперек лица марлевая повязка. Чуть-чуть неловко опускается большая на табурет. Врач мягким, чисто женским движением заботливо опрашивает ей прядь волос.

— Ну, Варя, как мы себя чувствуем?

— Благодарю. Хорошо.

— Так. Это самое главное. Как дела со спектаклем?

— Репетируем, — девушка слегка улыбается. — Сергей бузил, да успокоился.

— Он всегда так. А вы с ним строже. Повязку-то сама снимешь или помочь?

— Сама.

Гаснет улыбка. Огромные, наречность красивые глаза темнеют, тонкие, почти детские руки медленно поднимаются к повязке...

### III

На столе высокая пачка тетрадей. Одни из них представляют собой обемистые, словно перенесенные сюда из кассационного отделения суда дела, другие — совсем свежие, в два-три листа. На первых страницах общие сведения, пометки о том, где лечился раньше, данные исследования, дальше диагноз и однообразная запись назначений и дат. Это личные дела больных — истории их болезней.

Рабочий... крестьянин... батрачка... токарь... слесарский ученик... работника... Социальный состав больных — трудящиеся. Волчанка — пролетарская болезнь. Не шадит она и представителей так называемого интеллигентного труда. Но последних мало. Инженер... агроном... служащий... процент их в общей массе ничтожен. Длительность болезни поражает. Время с начала заболевания — восемь, тринадцать, пятнадцать лет! Почти все до поступления в санаторий лечились в провинции.

— Насколько продолжительно пребывание здесь?

— Все зависит от формы волчанки, сопротивляемости организма, запущенности. Волчанка чрезвычайно упорная болезнь и требует большого терпения и от больного и от лечащего врача. В общем, курс необходимого лечения колеблется от двух-трех месяцев до года и более.

Небольшая, скромного вида книга

знакомит с историей самого лечебного заведения. Эта история коротка. Шесть-семь лет назад были: разрушенная казарма да энтузиазм нескольких врачей. Инициатива последних нашла поддержку как со стороны советской общественности, так и органов здравоохранения, и в результате был создан Ленинградский лепрозорий — санаторий для больных туберкулезом кожи на станции Финляндской железной дороги Разлив.

В настоящее время в санатории более ста больных. Все они разделены на две приблизительно равные группы: клинику и колонию. В клинике находятся те, у кого болезнь в активной форме и требует интенсивного лечебного воздействия; в колонию переводятся подлечившиеся, требующие лишь наблюдения и известного режима. Колония называется трудовой, так как каждый из находящихся в ней больных обязан выполнять ту или иную работу. Трудовые процессы в данном случае являются средством для поднятия общего состояния больных и повышения сопротивляемости их организма. Назначение колонии, кроме того, — обучить ремеслам и дать знания, могущие быть полезными больному по выходе из санатория. Находящиеся в колонии работают в мастерских и по обслуживанию санатория.

Часть служащих санатория — бывшие больные.

### IV

...Какие-то вычисления, запись: «...эри, троицтов 4.850.000, лейкоцитов 7.000», дальше ряд квадратов и черточек. Взгляд в микроскоп — и на бумаге новая черточка. Человек над микроскопом — лаборант. Рядом худенькая молодая женщина-врач роется в тетради. Нашла. Показывает другой:

— Оседание 12-26-86.

— Для начала хорошо.

Из ящика в углу недоверчиво блещат черными пуговками глаз кролики. Стеклянные столы, приборы, шпалочки, препараты, бесчисленное количество банок, пузырьков. На табурете человек с изуродованным лицом. Обнаженная до плеча рука туго перевита резиновым жгутом. Врач быстрым движением вкалывает иглу. Шприц медленно наполняется густой темно-красной кровью. Лаборатория.

Через нее проходят все поступающие больные. Здесь производятся необходимые иммуно-биологические исследования и реакции, недостатки организма больных записываются в математических формулах. Здесь изучается больной до начала лечения, здесь оно контролируется, здесь же идет непрерывная исследовательская

работа — поиски новых путей борьбы с волчанкой.

В светолечебном кабинете тонко поют льщице таинственный лиловатый свет кварцевые лампы, потрескивая, жужжат ослепительно-яркие дуговые фонари. По кругу чинно один за другим, все в черных очках, идут дети. Самому старшему из них не больше двенадцати лет. Сестра, со следами на лице бывшей волчанки, держит перед дуговым фонарем малыша трех-четыре лет и рассказывает ему про вкусное яблоко. На хрупком, залитом светом тельце страшные знаки болезни.

В рентгеновском кабинете тесно. Сложная путаница проводов, угловатые металлические приспособления, ширмы с окошечком посередине. Врач в резиновых доспехах усталавливает раздетого до пояса больного в узком просторстве перед экраном. Отрывистые показания технику. Гаснет свет. Вверху, вспыхивая, перебегают синие искры. Ровный гул. На экране мерцающий сероватый рисунок.

— Дышите. Так. Легочные поля прозрачны... Так.. Дышите ровнее...

Ляринологический и финзеновский кабинеты, операционная, библиотека. Каждодневный героический труд сестер в перевязочной, который, раз увидев, невозможно забыть. Мастерские. И, наконец, штаб борьбы — окруженный врачами столик, где один из организаторов санатория, привлеченный к этому делу и общественное внимание и кадр специалистов, профессор два раза в неделю осматривает больных, отмечает в историях болезней успехи и неудачи, дает назначения.

## У

В женской клинике те же ряды коек, те же шерстяные одеяла, те же белые тумбочки, но здесь ояратнее и как-то уютнее, чем в мужской.

В комнате пусто. Обитательницы колонии на работе. Они сидят, согнувшись над шитьем, в мастерской, работают в качестве сиделок, помогают в рентгеновском кабинете и в перевязочной, считают белье у экономки, помогают на кухне, в прачечной. Хозяйство большое и работы много.

Посматривая на пылающие в печке дрова и равномерно взмахивая иглой, женщина рассказывает:

— Жили, жаловаться нельзя, хорошо. Зимой дома в затоне работаем, а летом опять вместе. Он кочегарит, а я на том же пароходе в буфете работаю. Заметила я это в Рыбинске. Что это спрашиваю, Гриша, у меня пятнышко, словно, какое-то. Пустяки, говорит. Ну, а к осени пятнышко-то обоих нас беспокоить стало. Пошли к доктору. Посмотрел, подавил. Это, говорит, ерун-

да. Вот вам мазь. Через недельку зайдете. Зашла я через недельку. Посмотрел, другую мазь дал. Зимой наш затонский доктор экзему определил. А к весне меня и на пароход уж не берут, неудобно, отвечают, с таким лицом при буфете состоять. Чем дальше, тем хуже. Захватило у меня крыльце носа и на щеку пошло. Думаю, от лечения это. Бросила лечить. Все так же. Опять лечить начала. Уж чем только не лечила и у врачей и у бабок. А оно все хуже. Тут один молодой доктор в городе и определил. У вас, говорит, товарищ, волчанка. И болезнь эта серьезная. А муж, замечаю, в то время избогать меня стал. Да и домашние все. Только дети еще не бросают, — малые, и так хороша. Изъедает у меня лицо. Взгляну на себя в зеркало — кровь стынет. Подходит как-то мне муж и говорит: очень, говорит, был я к вам привязан, однако, в виду вашей болезни чувств к вам более у меня нет и жить с вами считаю для себя неудобным. Что делать? И родня мужняя серьезно подступает — уходи. Взяла я ребят, ушла к знакомой. Жила у нее недели две, белье брала стирать, увидела она меня без повязки, вижу, и отсюда уходить надо. Тут муж зашел. Посидел у меня, пожалел, сорок рублей дал на ребят. Уехала я из затона в город...

Ровно взлетает над шитьем игла, спокойно льется рассказ о годах страданий, о нужде, о голоде, скитаниях по углам, о поисках исцеления. Ребятишек устроили в детский дом. Но сама дошла до последней черты, до сознания, что спасения нет. Случайная встреча с быстроглазой комсомолкой. Показала ей бумажку, где над извилистыми закорючками подписей значилось: «Ваша очередь тридцать девятая». Та посоображала и, взяв бумажку, ушла. А через неделю больная уже садилась в поезд, отходящий на Ленинград.

## VI

В комнате отдыха мужской клиники, за большим круглым столом, партия шахмат. Толпа больных, кутаясь в халаты, внимательно следит за игрой. За другим таким же столом несколько человек читают. Книжный шкаф, герани и фикусы на окнах, несколько олеографий на стенах, направо полутемный коридор, в глубине которого тускнеет лампочка.

«Лежачие» больные в палатах.

Партия близится к концу. Положение черных рискованное, и внимание зрителей напряжено. Шах, еще шах... Издалека доносится, приближаясь, заглушенный крик. Высокий и беспрепятственный, он усиливается, нарастает.

Дикий, захлебывающийся, нечеловеческий вопль наполняет комнату. Около носилок суетится сиделка. Она что-то говорит, но слов ее не слышно. Внезапно вопль обрывается, переходит в неясное бормотание, и человек на носилках неестественно четко запеваает:

Ста-кан-чики гра-не-ные  
У-па-ли со сто-ла...

Носилки проносят в коридор, двери хирургической палаты закрываются, пение затихает. В воздухе остается едва заметный запах хлороформа.

Снова торопливо распахивается маленькая дверь.

— Петров! который Петров?

Сиделка смотрит строго и выжидающе.

— Я — Петров.

— В операционную.

Один из шахматистов встает, снимает с доски фигуру, ставит ее обратно и, растерянно улыбаясь, уходит из-за стола. Больные молча расступаются, провожают его глазами, место ушедшего занимает другой, игра возобновляется.

А через минуту из двери снова звонит:

— Лузин! Который Лузин? В лабораторию.

— Седых! Новенький! На рентген!

Часть больных уходит в нижний этаж на перевязки. Комната пустеет.

Опять носилки. Это — Петров. Он не спит. Синевато-бледное лицо искривлено судорогой. Губы плотно сжаты. Поверх простыни белым комом лежит забинтованная рука, сквозь толстый слой марли проступают и лениво расползаются красные пятна.

— Верховский! В операционную!

Из перевязочной один за другим возвращаются больные. Некоторые вновь садятся за шахматы, некоторые, захватив голову руками, быстро ходят по комнате взад и вперед. Несколько больных проходят прямо за палаты и ложатся. День постепенно наполняется стенами и болью.

Но вот откуда-то, неизвестно откуда прокрадывается неясная тревога. Неопределенная, едва уловимая. Смутное ощущение близкой опасности, случившегося несчастья. Может быть, это произошло потому, что слишком быстро пробежала куда-то сиделка, может быть, началось в тот момент, когда один из больных приподнялся на койке, посмотрел на товарища и сказал:

— Верховский уже два часа в операционной.

Больные напряженно прислушиваются, стоны замолкают.

В дверях в забрызганном кровью халате появляется сестра.

Несут!

В палате тихо. Оперированного с носилок осторожно перекалывают на койку. Женщина-хирург вполголоса дает распоряжения. Шприц. Укол. Мертво-желты высунувшиеся из-под простыни ноги. Безжизненно откинута голова. На виске перламутровый шрам — след бывшей ранее операции. Врач внимательно подсчитывает пульс. К носу больного подносят смоченную вату. Резкий запах нашатыря.

— Миша! Проснитесь! — врач настойчиво частыми ударами похлопывает больного по щекам.

— Миша! Довольно спать!

Проходит десять, двадцать минут. Щеки больного слегка розовеют, шлепки по ним усиливаются. Снова спирт. Легкий стон. Больной слегка шевелится, он чувствует запах, запах ему не нравится.

— Миша, Миша! Проснитесь же. Слышите, проснитесь!

Веки приподнимаются. Куда-то вверх смотрят темные, мутные глаза.

— Еще спирт.

— Н-не... на... до.

Голова отваливается набок, в горле что-то клокочет.

— Тазик. Прекрасно. Теперь все хорошо. Если будет нужно, пошлете за мной. — Врач уходит. Над больным склоняются сестра и сиделка.

Он перенес пересадку кожи. На груди был вырезан пораженный волчанкой лоскут. В палате пересадки взята здоровая кожа с живота.

## VII

Те способы лечения волчанки, при которых пораженные ткани разрушают или удаляют с тем, чтобы на месте их добиться образования рубца, обычно очень болезненны. Мази из креозота и резорцина, ляпис, молочная кислота, замораживание углекислым снегом, электрический ток — способы энергичные и причиняющие часто невыносимые страдания. Когда разрушенный предварительно креозотом участок засыпают солью — трудно выдержать это необходимо долгое время. Чрезвычайно мучителен и обычный вид оперативного вмешательства — выскабливание или, как называют его больные, «скоблежка». Сама операция, происходящая чаще всего под кокаином, безболезненна. Но оперированный участок засыпается порошком марганца, и, когда действие кокаина проходит, больной на протяжении многих часов ощущает мучительнейшую боль. От марганца сторают и превращаются в черные лохмотья даже прилегающие к его слою бинты. Больным дают пере-

дышки, разрушают поражения частями, повторяют особо мучительные процедуры лишь через известные промежуточные времена.

Те больные, которые страдают волчанкой давно, обычно стойчески терпеливы. Под трубой с углекислым снегом нестерпимо горит тело, вздуваются багровые пятна и пузыри, а больная упрощает врача поддержать трубку «еще трюпки». На койке спокойно лежит человек, у него на щеке обнаженное мясо засыпано солью. Он выдерживает соль уже десять часов.

— Больно?

— А думаешь нет? Ничего, выдержим.

Трогательна заботливость, с которой относятся больные друг к другу. Тем, кто не может встать, помогают, дают советы, как легче переносить боль, подбадривают испугавшихся итти на замораживание или «скоблежку», уговаривают тех, кто отчаялся в выздоровлении и хочет выпиться. Как бы ни был искусен врач, но наука не дает пока ему в руки быстрых и всегда верных способов борьбы с волчанкой. Болезнь чрезвычайно упорна, дает рецидивы, некоторые ее формы плохо поддаются лечению, бывает запущена, иногда процесс далеко выходит из тех пределов, где он заметен глазу больного, — небольшое поражение разрастается, ткани гибнут, надвигается грозное обезображение. И у многих больных бывают минуты, когда несколько ласковых слов, заботливая помощь, простое человеческое участие служат поддержкой, примером, дают волю лечиться и жить.

Из больных волчанкой вырабатываются идеальные сиделки, сестры и братья милосердия.

### VIII

Некоторые больные первое время после поступления в санаторий не могут есть в общей столовой. Здесь за чаем, обедом и ужином собирается более сотни больных. Рядом с теми, у кого лица не поражены, обедают и обезображенные волчанкой. Вот человек, у которого со щеки свисает что-то розовое и блестящее. Это больной, у которого из постепенно пересаживаемого лоскута кожи намерены сделать нос. Напротив женщина с белым глянцеви́тым рубцом вместо лица с трудом просовывает пищу сквозь крошечное отверстие, служащее ей ртом. Она слепа, глаза разрушила ей волчанка. Дальше больной — без носа и губ, ему трудно глотать, и пища, пузырясь и булькая, вываливается обратно из-под мокрой повязки. Но проходят дни, новичок привыкает, обезображения уже не кажутся ему страшными или отталкивающими. Слово под действием мо-

гучего проявителя, исчезают уродства, из-под них постепенно выявляются обыкновенные, самые обыкновенные человеческие лица, окружающие становятся понятными, близкими, такими же людьми, как и все, но только оторванными от других, повидавшими много горя.

Вот этот — столяр из Вологды, Иван Прокопич, тот — слесарь из Житомира, у него дома жена и трое ребят, дальше металлист с Урала, за ним сибиряк-алтаец Смирнов, который умеет рассказывать такие занимательные истории. Они уже не люди без лиц.

Больные сживаются друг с другом, привыкают к санаторию, жизнь вне его стен уходит, затуманивается. Бытие творит. И сознание больного чем дальше, тем больше захватывается монотонным круговоротом дней, полное включается в окружающее. Интересы сосредоточиваются на только-что сделанной операции, на прочитанной книге, на предстоящем шахматном турнире между клинкой и колонией, на очередном выпуске стенгазеты, на вчерашней лекции. Колония обсуждает вопрос о заказе на письменные столы, о новом порядке зарплаты. Поговаривают и о том, что Лузин за последнее время что-то слишком умилительно и подолгу начал беседовать с Катей Семеновой.

Легко привыкают к санаторию и дети. Они быстро дружатся с другими детьми, сильно привязываются к персоналу.

Дети имеют школу, свой клуб, свою стенгазету.

### IX

Вечерами, когда деловая жизнь санатория затихает, колония собирается в одну из комнат нижнего этажа, где есть сцена и радио. Сюда же приходят те из клиники, у кого не было болезненных процедур и кто хорошо себя чувствует.

Иногда с слоистой тетрадойкой в руках появляется здесь учитель одной из окрестных школ. Это — постоянный организатор, режиссер и участник устраиваемых больными спектаклей. Бывает, что он появляется с каким-то фантастическим музыкальным инструментом. Созываются дети. Инструмент, поставленный на ножки, оказывается маленькой фисгармонией. Устраивается вечер. Учитель мастерски читает Чехова, под аккомпанемент фисгармонии поет с ребятами песни, устраивает инсценировки. Вечера и спектакли имеют шумный успех. Больные любят музыку и зрелища. В той же комнате устраиваются время от времени лекции. Но все это бывает не так часто. Обычно вечер проходит в беседах, слушании радио, за какой-



нибудь игрой. Смирнов рассказывает про Алтай, усевшись в кружок, вяжут бесконечное кружево женщины, два виртуоза состязаются в игре пузырьками на балалайках. Медленно уходят часы. Но вот, около сцены происходит совещание. Появляются гитара и мандолина, виртуозы торопливо засовывают в карманы пузырьки и подстраивают свои балалайки. Играют хорошо. В комнате затихли — слушают. Сыграли «Ой у лузи», «Як умру, та поховайте», унылую русскую песню, вальс. Снова посовещались, замысловатый перебор, и звенит лихой, подмывающий, игриво-бесшабашный мотив... сильнее, крепче, еще крепче, и вдруг десяток голосов дружно, разом, подхватывают:

Эх, яблочко,  
куда котиться,  
в Люпозорий попадешь —  
не воротисься..

Высокий угрюмый человек с белой поперечной повязкой подается вперед, плотно притоптывает мохнатым валенком и принимается нелепо-деловито и сосредоточенно выделывать ногами яредели.

Долго и настойчиво, то усиливаясь, то затихая, переливается дробь звонка. День кончен. Пора ложиться спать.

Укладываются долго. Сидят в белье на кроватях и ведут длинные разговоры, которые каждый раз становятся почему-то особенно интересны именно в тот момент, когда нужно ложиться спать. На крайней койке несколько человек заняты фокусом с платком и кусочком сахара. В уголке худощавый больной с чуть тронутым волчанкой лицом читает соседу стихи. Стихи только-что созданы. Голос поэта нервно дрожит и прерывается:

В одеже плохой, дырватой,  
Он в город пошел окружной,  
Истерзан волчанкой проклятой,  
Прохожих пугая собой.

Второй раз появляется в дверях сестра, она укоризненно качает головой и повертывает выключатель. Темно. На противоположной окнам стене колеблется мерцающий отсвет.

Рядом кто-то рассказывает:

— Приехал я в город. Осмотрели. Сифилис, говорят. Вот тебе, думаю, раз. Откуда сифилис? Не может этого быть. А ты, говорят, поменьше разговаривай. Положили в вендиспансер. Начали колоть, вливание делать. Прошел я первый курс — толку нет. Упорный, говорят, случай. Отправился я в область, в Свердловск. Там и узнал — волчанка.

— А вот со мной случай был. Работали мы тогда в Сормове...

Бьет в глаза яркий свет. Дежурный врач осматривает палату.

— Опять разговоры? — Тишина... Все крепко спят. Свет гаснет. Рядом приглушенный шопот:

— Нарвались. Сестра, поди, донесла.

— Нет. Не таковская, не скажет. С обходом лешак раньше времени понес. Ну, вали дальше.

— Да... Так вот. Работали мы в Сормове...

... Мерцают на стене слабые блики. Кто-то невнятно бормочет во сне, кто-то тяжело стонет.

С грохотом, на который дрожью отвечают стены, проносятся мимо посылающие весть из другого мира поезда на Ленинград.

## X

Длительная, настойчиво-кропотливая работа врачей дает, наконец, результат. Из клиники больной переводится в колонию, круг замыкается, настает день, когда врач, в последний раз нажимая стекляннм шпатель рубцы, говорит:

— Завтра мы вас выписываем.

По-разному встречают больные это известие. Те, у кого не было задето лицо или следы, оставленные болезнью, незначительны, уже давно, с тех пор, как появилась уверенность в выздоровлении, мысленно вне санатория. У них уложены вещи, они с нетерпением ждут минуты, когда можно будет скинуть синюю блузу и вернуться в огромный радостный мир. Чем ближе день выписки, тем дальше и дальше отходит от них все, чем жили они здесь. Последние дни они считают так же, как считали когда-то первые дни. Дни эти кажутся еще длиннее, еще невыносимее. Наконец, великий день настает. С документами в кармане, счастливый и радостный, прощается уезжающий с товарищами. Ему помогают нести вещи, представительницы женской колонии пришивают на ходу пуговицу к его пальто, рукопожатия, пожелания, и счастливцев в вагоне.

Но для многих и очень многих больных последний день в санатории — печальный день. Это для тех, у кого сильно изуродовано лицо. Они сжились с санаторием, привыкли не замечать своих недостатков, забыли о них. Здесь их приняли, заботились о них и относились к ним так, что из сознания их исключилось ощущение своей неполноценности. Но они помнят все, что пережили до поступления в санаторий, помнят отношение к ним здоровых людей и страшатся вернуться к ним. Они привыкли чувствовать себя здесь равными среди равных и с ужасом встречают известие, что им нужно уходить туда, где от них будут сторониться, где их будут бояться, где они снова станут внушающими отвращение париями. — Куда же я пойду? — задает себе вопрос такой больной. С мучи-

тельной пытливостью вглядывается он в зеркало, стараясь осознать степень своего обезображивания и определить, примут или не примут его в свою среду те, к которым он должен уйти. Из зеркала неподвижно глядит на него оскалившаяся, стянутая рубцами, бесформенная маска, и сознание, что он не таков, как все, что он урод, что он страшный, как кошмар, человек без лица, — валит его на койку, бьет его тело в судорогах рыданий, в безысходном мраке отчаяния.

## XI

Плавно покачивается вагон. Убегают покрытые снегом болота, низкорослый сосняк, часто насаженные дачки. Минутные остановки: Горская, Ольгино... И снова ритмично-говорливый стук колес. Вы возвращаетесь. Напротив — человек читает газету. Он не болен волчанкой. Два пограничника, женщина с корзиной, хорошенькая девчурка в капоре. У тех, что остались позади, также могут рождаться здоровые дети, — волчанка не передается по наследству... Кондуктор проверяет билеты. Вы ловите себя на том, что отыскиваете на его лице следы болезни. Вы странно чувствуете себя среди здоровых людей. Вы еще полны виденным в санатории. И вы вспоминаете такие же, как за окном, только чуть стройнее и выше сосны Урала, небольшое здание в лесу, в котором так же, как и там, где вы только были, живут люди с белыми повязками поперек лиц. Вы вспоминаете, думаете, подводите итоги.

В нашей стране около четверти миллиона больных волчанкой. Для борьбы с ней мы имеем три специальных лечебных заведения: в Москве, под Ленинградом и недавно открытую, рассчитанную на 30—40 больных лечебницу около Свердловска. Все они организовались после революции. В царской России специальных лечебных заведений для больных волчанкой не было. Пионерами борьбы с ней являются у нас д-р Бременер в Москве и проф. Подвысоцкая в Ленинграде. Ими и окружающими их врачами делается

большое дело. Много сделано, но много еще требуется сделать.

Пропускная способность всех трех лепрозориев относительно очень невелика — большинство больных волчанкой остается пока без специального лечения. Больные лечатся или домашними средствами или в местных больницах. В последнем случае обнаруживается, что на местах у наших рядовых врачей далеко не все благополучно как с вопросами диагностики, так и с методами лечения волчанки. Нередко волчанку путают с сифилисом, с раком, и с рядом других болезней. Результаты всего этого весьма печальны. Создается огромная армия находящихся в различных стадиях прогрессирующих инвалидностей людей, в большинстве оторванных от нормальной работы, лежащих тяжелым бременем на государстве, при чем при надлежащем и своевременном лечении почти все они могли бы или быть спасены или, по крайней мере, сохранять трудоспособность. Отсюда перед органами здравоохранения возникает необходимость обратить внимание широких масс наших врачей на распространенность волчанки, вооружить их необходимыми знаниями для ее быстрейшего распознавания и надлежащего лечения. Случаи, когда раковых больных направляют в лепрозории, а волчаночных — в лагеря для прокаженных, когда больной с формой волчанки особенно хорошо поддающейся светолечению, 15 лет бережет свое поражение от солнца, а красную волчанку, где солнце противопоказано, лечат солнцем, когда волчаночному больному говорят, что болезнь его заразна, или когда ему ставят диагноз: сифилис, — должны быть изжиты. Следовало бы, кроме того, возложить в городах борьбу с волчанкой на определенного врача, в определенном месте. Зачастую получается так, что больной качается между двух лечебниц: тубдиспансер, поскольку перед ним кожное заболевание, направляет больного в вендиспансер, а вендиспансер, видя перед собой туберкулез, проявляет растерянность и неподготовленность.

## 4. НЕВОЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ

### Л. Полонская

Только-что вышедшая большая и содержательная по фактическому материалу книга Юргена и Маргариты Кучинских — «Фабричный рабочий в американском хозяйстве»<sup>1)</sup>, несмотря на ее чисто описательный ха-

рактер и отсутствие больших социологических выводов, вдребезги разбивает легенду о цветущем положении рабочего класса в Северо-Американских Соединенных Штатах.

Фактический материал, приводимый авторами, настолько ярок, что невольно заставляет итти читателя по линии

<sup>1)</sup> Госиздат. 1930 г. 208 стр. ц. 1 р. 50.

параллелей с той страной, которая вот уже 13 лет уверенно идет по пути социалистического строительства. Эти параллели тем знаменательнее, что на одной стороне самая передовая по технике и сильнейшая страна капитализма, на другом — страна технически отсталая, но делающая изумительнейшие успехи в своем развитии, с каждым днем приближающаяся к полной реализации лозунга догнать и перегнать в экономическом отношении капиталистический мир.

Основным объектом вышеуказанной работы Ю. и М. Кучинских, по их же собственному утверждению, является заработная плата. Авторы берут в круг своего исследования также и вопросы продолжительности рабочего дня, динамики занятой рабочей силы и общих социально-бытовых условий пролетариата.

По какой бы линии мы ни рассматривали положение американского рабочего, всюду, без исключения, мы наталкиваемся на неопровержимые доказательства катастрофически ухудшающегося социально-экономического положения пролетариата.

В СССР только за один 1928 — 1929 год число рабочих увеличилось почти на 2 млн. человек. В САСШ число лиц, занятых по найму, непрерывно падает, доходя в нынешнем году, когда экономический кризис с небывалой силой охватил всю народно-хозяйственную жизнь страны, до рекордно-низкой для последнего десятилетия цифры.

В 1926—27 г. СССР насчитывал 11 миллионов лиц, живущих наемным трудом. В 1929—30 г. эта цифра превышает 13 млн. человек. Прирост выражается в 19,5 проц., при чем процент прироста и промышленных рабочих составляет 24,2 проц. В этой последней цифре как в зеркале отражаются величайшие темпы индустриализации Советского Союза, несмотря на гигантский размах процессов рационализации, жадно впитывающей все новые и новые кадры рабочей силы.

Обратная картина в САСШ. С 1919 г. страна переживает по счету уже третий экономический кризис. Она не выходит из положения резкой диспропорции между производственно-техническими возможностями и сбытом, в условиях капиталистических отношений определяющимся резко ограниченной покупательной способностью населения. Именно здесь, в неизбежной для капитализма диспропорции, — основная причина ухудшающегося социально-экономического положения американского рабочего класса. Численность рабочих, начиная с 1919 года, непрерывно снижается. По данным Ю.

и М. Кучинских, в 1919 г. фабричных рабочих насчитывалось 3.689.865 человек (62 стр.). В 1928 г. занятых в фабрично-заводской промышленности рабочих было уже только 3.080.370 чел.

Если взять все предприятия САСШ, вырабатывающие продукцию не меньше чем на 5 тыс. долларов, то падение численности рабочего класса окажется еще более разительным. В 1919 г. число занятых здесь выражалось в 9 млн. чел. В 1928 г. оно не достигло и 8 млн. чел. (7.866.550 чел.).

На ряду с абсолютным сокращением численности занятых по найму лиц в народном хозяйстве, перед нами исключительной интенсивности процесс пролетаризации фермерства, городской, мелкой и средней буржуазии. Нельзя не учитывать также и естественного прироста пролетарских семей. Все это в «процветающей» Америке делает вполне «нормальной» небывалую по размерам армию безработных (не менее 6 млн. чел.), в условиях отсутствия социального страхования в стране обреченных переходить на положение люмпен-пролетариев или погибать от голодной смерти.

СССР и здесь являет собою картину прямо противоположную. За последнее время армия безработных сократилась на 42 проц. К концу текущего хозяйственного года крупнейшие биржи труда фактически стоят накануне полного исчерпания резерва рабочей силы. Перед СССР выдвинута проблема не столько борьбы с безработицей, сколько максимального использования рабочей силы и правильной организации труда.

Яркие данные приводят Ю. и М. Кучинские и по основному объекту исследования — по заработной плате. В 1920 году общая сумма выплаченной зарплаты САСШ выразилась в 12.920.306.800 долларов. Все последующие годы кривая фонда заработной платы идет упорно вниз и в 1928 г. определяется в 10.360.314.430 долларов. 1929 г., не вошедший в данные Кучинских, сопровождается дальнейшим резким сокращением фонда заработной платы.

Однако, фонд заработной платы рабочего класса не является еще исчерпывающим показателем уровня его материального существования. В этих целях необходимо оперировать с реальной заработной платой, которая в САСШ за последние 30 лет ни разу не достигла уровня 1899 г. В 1928 г. она составляет лишь 70 проц. от 1899 г. и составляет Ю. и М. Кучинских констатировать, «что покупательная способность рабочего в 1928 г. значительно ниже, чем была в 1899 г., что она в XX веке вообще сильно пала». И дальше, на следующей страни-

це (19) — «покупательная способность фабричного рабочего в САСШ не поднялась вместе с ростом национального продукта, она осталась далеко позади этого роста, т.е. рабочий класс относительно обнищал».

Стоимость нормальной жизни семьи из трех человек в Америке исчисляется в 2.340 долларов. В 1928 г. средняя заработная плата выражалась 1.310,41 доллар., т.е. занятый рабочий обеспечивал себя и свою семью, если при этом работал без перерыва круглый год, — а в Америке таких рабочих очень ограниченный круг, — лишь в размере 56 проц. прожиточного минимума. Нельзя также при этом упускать, что между квалифицированными и неквалифицированными рабочими, между рабочими Севера и Юга существует резкий разрыв заработка, и низкооплачиваемые рабочие буквально влачат полуголодное существование. Рабочий Юга зарабатывает не более 40 проц. прожиточного минимума.

Цифры буквально вопиют и приводят очень осторожных в своих выводах Ю и М. Кучинских к заключению, что «доходы американского рабочего... едва могут обеспечить несколько больше половины расходов, связанных со здоровой и приличной жизнью средней семьи».

Реальная заработная плата советского рабочего давно уже перешагнула за довоенные рамки и в 1929 г., вместе с отчислениями по социальному страхованию и отчислениями от прибылей в фонд улучшения быта рабочих, что в Америке вообще отсутствует, достигла 167 проц. от довоенного уровня. Один лишь бюджет социального страхования, обслуживающий всю массу наемного труда, в текущем хозяйственном году выразился почти в полтора миллиарда рублей. На рабочее жилищное строительство за три последних года потрачено 1.880 млн. руб. Вместе с тем директива правительства на будущий

1930—31 хоз. год обязывает к дальнейшему значительному повышению реальной заработной платы.

Столь же разительны цифры, характеризующие положение рабочего класса в САСШ и СССР в отношении длины рабочего дня. Если СССР в будущем хозяйственном году заканчивает перевод всей массы промышленных и транспортных рабочих на 7-часовую рабочую неделю и вплотную подходит к осуществлению проблемы 6-часового рабочего дня, то в САСШ рабочий день все еще далек от 8-часового. Начиная с 1920 г. он упорно увеличивается. Так, у ткачей рабочая неделя с 1918 по 1920 г. — в годы социальных бурь, захвативших сразу после империалистической войны западную Европу и Америку, — снизилась с 56,2 час. до 51,8 час. с тем, чтобы затем вновь из года в год увеличиваться. В 1928 г. рабочая неделя ткача достигла уже 53,4 час. Из всех данных, приводимых Ю. и М. Кучинскими, мы привели для краткости только о ткачах. Положение во всех остальных отраслях, во всяком случае, не лучше. В отраслях промышленности, наиболее резко переживающих кризис (металлургия, автомобильная промышленность и др.), положение даже гораздо хуже как по линии длины рабочего дня, уровня реальной заработной платы, так и по линии безработицы, в этих отраслях ставшей особо упорной и безнадежной.

Резкое ухудшение социально-экономического положения рабочего класса САСШ предопределяет огромные политические сдвиги в его среде. Об этих сдвигах Ю. и М. Кучинские не говорят и фактов не приводят. Но они подтверждаются всем ходом развития рабочего движения Америки за последнее время.

Сказка о капиталистическом рае в САСШ сейчас разлетелась. В нее не верят даже те, кто весьма спокойно реагирует на все ужасы, неотступно сопровождающие народно-хозяйственную жизнь капиталистического уклада.

# За рубежом

## ЯПОНСКИЕ СИЛУЭТЫ 1)

И. Тайгин

### Кухара

Кухара — близкий друг Танаки. Это важно и символично, но не в этом главная достопримечательность Кухары.

В противоположность Танаке, могущему похвалиться древним «дворянским» происхождением, Кухара — самый доподлинный плебей. Даже наиболее рьяные из его поклонников никогда не решались выводить семейное дерево Кухары хотя бы из самого захудалого самурайского рода. Рассказывают, что свою жизненную карьеру нынешний миллионер лет сорок назад начал в качестве сторожа на складах «Общества Моримура» с окладом жалованья 3 иены в месяц.

Но Кухара родился под счастливой звездой, и потому путь его можно уподобить стремительному взлету ракеты в высоту. Объективные и субъективные моменты одинаково сплоспособствовали смелому аргонавту. Объективный момент, надувавший попутным ветром паруса Кухары, состоял в том, что он вышел на дорогу как раз в то время, когда японский капитализм, преодолев первые болезни детства, вступил на рельсы головокружительно-быстрого развития. Субъективный момент, также сыгравший громадную роль в успехе Кухары, состоял в том, что природа наделила его большими ловкостью, цепкостью, энергией, бесцеремонностью, авантюристичностью, причудливо сочетающимися с живым воображением и чрезвычайно широким размахом. Обладая такими качествами, Кухара сумел крепко ухватиться за гребень исторической волны и вместе с ней подняться к вершинам жизни.

Конкретные этапы этого подъема в основном сводятся к следующему.

Проработав года два в «Обществе Моримура», Кухара в 1891 г. перешел на службу в компанию «Фудзита Гуми», с которой был тесно связан в течение

целых 15 лет. Сначала Кухара работал на медных рудниках этой компании в качестве простого рабочего. Потом он выдвинулся и стал занимать младшие «командные посты». Круто вверх линия жизни Кухары пошла, однако, с 1898 г. Общество «Фудзита Гуми» решило закрыть, как бездоходные, медно-серебряные рудники Козака. Кухара, знавший эти рудники, горячо возражал, доказывая, что рудники Козака, не выгодные более для получения серебра, могут давать прибыль, как источник меди. Решено было сделать опыт и отдать Козака в управление Кухары. Опыт блестяще удался, и спустя семь лет рудники, приговоренные к закрытию за безнадежностью, превратились в цветущее и быстро крепнувшее предприятие.

Этот первый успех плюс некоторые «грешные» и «безгрешные» накопления, которые Кухаре удалось сделать в процессе «санирования» Козака, настолько окрылили японского аргонавта, что он решил распрощаться с гостеприимной кровлей «Фудзита Гуми» и в 1905 г. основал свое собственное «дело», открыв «Горнопромышленную Компанию Кухара». Обстановка сильно благоприятствовала осуществлению такого шага. Это была эпоха русско-японской войны, когда только ленивый не «зарабатывал», а Кухара никогда не был ленивым. На поставщиков железа, меди, угля в то время лился настоящий золотой дождь. Струйки этого дождя попали и на Кухару. Он купил рудники Хидаци и в короткое время с помощью меди и спекуляции нажил себе миллионы.

Однако, все это была лишь присказка. Настоящая сказка началась с возникновения мировой войны. Не жалея денег, не стесняясь в средствах, Кухара с гениальной ловкостью сумел использовать благоприятную для него ситуацию. Он колоссально расширил свои горные предприятия, превратившись в настоящего «медного короля» Японии.

1) См. «Новый Мир» №№ 2 и 4.

Одновременно он глубоко запустил свои щупальцы и в машиностроение, и в судостроение, и в электротехнику, и в химическую промышленность, и в добычу ванадиевого железа, и в производство каучука. Отечество стало для Кухары уже слишком тесным, тем более, что оно почти не воевало, — поэтому с 1916 г. Кухара начал работать «в мировом масштабе». Он взялся за военные поставки для Англии, Франции, России, Италии. Его конторы открылись в Лондоне, Париже, Петрограде, Нью-Йорке. Его капитал поднялся до 100 милл. иен. Кухара превратился в одного из величайших дельцов современной Японии.

Конец войны и последовавший затем жестокий кризис нанесли тяжелый удар Кухаре.

Они положили начало тем хроническим финансовым затруднениям, с которыми смелому аргонавту приходится бороться вплоть до настоящего дня и которые во всякой иной стране, кроме Японии, давно бы уже довели его до краха.

Но ведь Япония — не Европа! И потому Кухара до сих пор не только гордо держит голову над водой, но в последние годы даже делает «погоду» в японской политике. Это оказывается возможным по двум причинам.

Во-первых, потому, что Кухара — наречность смелый и беззащитный авантюрист.

Во-вторых, потому, что Кухара в течение многих лет был ближайшим другом Танаки.

О мошеннических проделках и махинациях Кухары в Японии рассказывают целые легенды. Речь идет при этом не о тех «нормальных» формах биржевой спекуляции, не о тех «законных» видах отечественной и колониальной эксплуатации, которые составляют основу всякого буржуазного общества. Совсем нет! Это само собой, это не в счет. Речь идет о тех обманах, злоупотреблениях и скандалах, которые признаются преступлениями даже капиталистической «моралью». Из длинной цепи подвигов Кухары такого именно рода я приведу здесь только несколько наиболее характерных и при том относящихся к эпохе последних 10 — 15 лет.

Подвиг № 1. В начале 1917 г. Кухара получил от английского правительства заказ на постройку 4 судов, при чем в качестве аванса ему при этом было выплачено 2.800 тыс. иен<sup>1)</sup>. Так как Соединенные Штаты в это время ввели запрещение вывоза стали, то британское посольство в Вашингтоне выхлопотало для Кухары специальное разрешение на экспорт стали, необходимой для постройки по крайней мере дюжины судов. Наступил условленный

по договору срок сдачи заказанных судов, но суда сданы не были. Кухара в оправдание ссылался на тысячу и одну причину, но суть дела была очень проста. Суда для англичан в действительности были построены, но так как в последний момент нашелся покупатель, предлагавший за них более высокую цену, то Кухара и перепродал их в другие руки. Мало того, сталь, полученную с помощью британского правительства из Америки, он использовал для сооружения еще полдюжины судов, которые также сбыв различным покупателям по спекулятивным ценам. Англичане же допрежнему сидели без пароходов и должны были довольствоваться хроническими «завтраками» Кухары. Пока шли эти препирательства между заказчиком и поставщиком, война кончилась. Английское правительство тотчас же аннулировало свой заказ и потребовало обратной уплаты аванса. Однако, Кухара решительно отказался вернуть полученные 2.800 тыс. иен, несмотря на то, что постройка заказанных судов к моменту перемирия не двинулась дальше закладки киля. Английское правительство возбудило против Кухары судебный процесс. Во всех трех инстанциях Кухара потерпел полное поражение, но англичане все-таки не могли получить с него ни копейки. Так дело продолжалось целых 11 лет. И только осенью 1928 г. Кухара, наконец, уплатил британскому правительству свой долг, но только потому, что очень хотел стать министром иностранных дел в правительстве Танаки. А без этой подачи англичанам занятие столь высокого поста было невозможно.

Подвиг № 2. Лет восемь назад для поправления своих пошатнувшихся дел Кухара решил заняться тайным ввозом опиума в Китае. С помощью нескольких подручных проходимцев он создал для этой цели специальную организацию, которая закупала опиум в Персии и контрабандно доставляла его в Шанхай. Дело шло прекрасно, Кухара получал бешеные барыши, но в конце 1928 года один из его подручных провалился в Китае, и вся история всплыла наружу. Получился громкий скандал, сильно испортивший шансы Кухары на получение портфеля министра иностранных дел.

Подвиг № 3. В 1923 году разразилось памятное землетрясение, стоившее Японии 70.000 жизней и 5 миллиардов иен убытка. В целях оказания помощи сильно пострадавшим промышленности и торговле правительство под веселя выдавало различным фирмам денежные авансы, которые в определенный срок должны были быть возвращены. Кухара с обычной своей ловкостью<sup>2)</sup> и бесцеремонностью использовал благоприят-

1) 1 иена = 93 коп.

ный момент. Он получил огромные суммы в качестве «авансов» и повел с ними бешеную спекуляцию. Много или мало Кухара при этом «заработал», сказать трудно, но вполне достоверно известно, что государству он не вернул ни копейки. Общая сумма долгов Кухары правительству (как авансов по случаю землетрясения, так и других) различными экспертами оценивается различно, но приблизительно колеблется в пределах 18—40 милл. иен.

Я легко мог бы удлинить список аналогичных подвигов Кухары, но едва ли это необходимо. Приведенные примеры дают достаточно яркое представление о «моральном» уровне этого японского аристократа. Если сюда еще прибавить, что Кухара, как настоящий «выскочка», окружает себя царственной роскошью, что он любит устраивать пиры в гомерических размерах, этак на 1.500—2.000 человек за раз, что, разъезжая по Америке, он непременно заказывает для себя специальные поезда, что в последние годы он страдает почти болезненной страстью к саморекламе, то духовное «лицо» этого лучшего друга Танаки станет еще более отчетливым. Надо ли удивляться при таких условиях, что, несмотря ни на что, флаг Кухары до сих пор еще гордо развевается над волнами делового мира Японии?..

А теперь о дружбе с Танакой. Истоки ее теряются в далеком прошлом обоих, однако, совершенно точно известно, что в течение многих и многих лет Танака и Кухара находились на очень короткой ноге. И в этом был, помимо чисто личного момента, также большая и глубокий политический смысл.

Шестьдесят лет назад, когда Япония сделала крутой скачок от сегуната к европейской машине, руль государственного корабля находился в руках «потомков феодалов». Переворот 1868 года внес мало изменений в социальный состав правящей верхушки. До того — это были «потомки феодалов» центральной Японии, после того — это были «потомки феодалов» южной и юго-западной Японии. Разница между ними состояла только в том, что первые воплощали собой экономически наиболее отсталые районы страны, а вторые — экономически наиболее прогрессивные провинции, где к 80-м годам прошлого века успела уже вырасти и сложиться сравнительно сильная буржуазия. Поэтому вожди кланов Цесю, Сатсума, Тога и Хидзен, социально оставаясь «потомками феодалов», до известной степени отражали все-таки новейшие тенденции капиталистического развития. В течение последующих десятилетий власть все время находилась в руках «потомков феодалов», правда все более пропиты-

вавшихся буржуазным духом и все теснее переплетавшихся в порядке личных, семейных и деловых связей с быстро зреющей японской плутократией. Однако, до мировой войны магнаты капитала не решались всерьез ставить вопрос о своем непосредственном участии в правительстве. Это было бы сочтено тогда «потомками феодалов» почти за святотатство. Но в самые последние годы положение резко изменилось. Могищество японской плутократии после войны настолько возросло, а ее «классовое самосознание» настолько окрепло, что теперь она уже перестала удовлетворяться ролью политического дельца за кулисами. Она сама стала жадно протягивать руку к кормилу государственного механизма.

И вот Кухара как раз является ярким воплощением этих новых настроений и чувств в кругах японской плутократии, уже с давних пор его снедает настоящий политический зуд, и он все время порывается из «плебея», притого «купца»<sup>1)</sup> превратиться в парламентария, в министра, в лидера крупной партии, в общепризнанного вершителя судеб Японской империи. При этом аппетиты у Кухары не маленькие. Он сам сознается, что ему импонирует только одна «историческая фигура» — фигура первого (легендарного) императора Японии Джинму Тенно. И только Джинму Тенно он хочет подражать! Не больше и не меньше!

В прозаической обстановке наших дней эти честолюбивые мечты о взлете к златокудрой богине Аматерасу разлагались на ряд прозаических, даже грязно-прозаических операций, с помощью которых Кухара мог бы рассчитывать совершить постепенный подъем по длинной лестнице политической иерархии. Важнейшей из этих операций было тщательное культивирование дружбы с Танакой и инвестирование крупных капиталов в его политическую карьеру. Сколько именно денег Кухара поставил на своего «бегуна», сказать трудно, но речь во всяком случае идет о многих миллионах. Без них, равно как и без энергичной помощи Кухары во всех других отношениях Танаке в его борьбе за власть пришлось бы очень туго, несмотря на всю «легкость нрава» покойного премьера в обращении с казенным сундуком. Вот почему любители политических загадок в последние годы часто задавали коварный вопрос: скажите, кто кому больше помог — Танака Кухаре или Кухара Танаке?

Однако, дружба с Танакой являлась

<sup>1)</sup> В социальной иерархии японского общества Токугавской эпохи (1603—1867) «купец» занимал последнее место. Он считался ниже крестьянина и ремесленника. Отголоски этих традиций ощущаются в японской жизни вплоть до настоящего дня.

для Кухары лишь средством к цели. В чем же состояла самая цель?

Один хорошо знающий Кухару человек так отвечает на этот вопрос:

«Кухара мечтает о распространении своей власти над Китаем и Восточно-Сибирью с свободным монголо-маньчжурским государством в качестве базы. Именно для осуществления этих мечтаний он оказывал политическую помощь определенным группам южно-китайского движения... Повидимому, намерением Кухары является образование политический союз с Китаем и экономический союз (?) с Восточной Сибирью в целях радикального разрешения проблемы питания и населения для Японии... Кухару мало интересует внутренняя политика, его сердце лежит в сфере тихоокеанской экспансии<sup>1)</sup>».

Как видим, программа Кухары крайне агрессивна. Это — развернутый японский империализм со своим максимальными требованиями как в сторону азиатского материка, так и в сторону Великого океана. Задача, достойная современного Джимму Тенно!

Но цели целям, а средства к осуществлению целей — тоже не пустяк. И Кухара наметил эти средства.

Когда в апреле 1927 г. Танака стал премьер-министром, лукавый аргонавт решил, что наконец-то пришел и его час, и стал требовать от своего друга уплаты процентов на вложенный в него капитал. Хороших процентов, богатых процентов! Танака готов был платить, но задача оказалась не из логичных, ибо Кухара отличался слишком крупным аппетитом, а потомки феодалов, «теснящиеся у трона», были мало расположены очищать за своим столом место для какого-то выскочки из сословия «купцов». Друзья придумывали десятки комбинаций — Кухара должен стать управляющим Южно-Маньчжурской железной дорогой<sup>2)</sup>. Кухара должен стать министром торговли, Кухара должен стать министром иностранных дел и т. д., и т. д., но в каждой из этих комбинаций оказывалась своя Ахиллесова пята, и быстрое восхождение Кухары по лестнице политической иерархии (с перескакиванием по две-три ступеньки сразу), все никак не удавалось.

Тогда Танака выкинул трюк. В октябре 1927 г. он отправил Кухару в качестве главы особой делегации «для обследования экономического положения Германии и России». Кухаре было дано трое слугников с княжеско-дипломатическими именами, специальный поезд и целая куча рекомендательных писем

от премьера к руководящим политикам Европы. «Обследование» явилось, конечно, чистым блефом, но шума около поездки Кухары было наделано очень много, при чем газеты с особой многозначительностью подчеркивали, что это первый в истории Японии случай, когда столь важной «политической» миссией облачается простой, нечиновный и незнатный «купец». В Москве и Берлине к миссии Кухары вначале отнеслись было очень серьезно и только удивлялись полному отсутствию интереса, проявленному Кухарой к хозяйственным проблемам обеих стран. Однако, истинная цена этой «экономической делегации» весьма скоро стала известна всем. Действительно, Кухара на протяжении каких-нибудь двух месяцев галопом проскакал по Азии и Европе, сходил на поклон к Муссолини, пожал руку Бриану и Чемберлену, побеседовал в парижских кабаках с русскими эмигрантами, у которых он, по собственному признанию, искал «объективной» информации о СССР, и затем, вернувшись домой, в десятках многоречивых интервью повествовал о своих великих заслугах перед отечеством. Стоит отметить один момент в этих выступлениях:

«Прочно ли советское правительство? — ставил вопрос Кухара и отвечал: при нынешних условиях в России и при нынешнем состоянии советского правительства маловероятно, чтобы советское правительство было опрокинуто в течение ближайших 50—60 лет<sup>3)</sup>».

Спасибо и на этом! Но дело тут не в нашей благодарности, а в том, что «миссия Кухары», как и рассчитывал Танака, стала трамплином для прыжка честолюбивого «купца» к вершинам власти. Когда в начале 1928 г. был распущен парламент, Кухара в родной губернии Ямагути выставил свою кандидатуру на выборах, тем самым уже официально демонстрируя свое вступление на политическое поприще. Земляки не обманули ожиданий Кухары и выбрали его в парламент.

Это был первый крупный шаг Кухары по политической лестнице вверх. За ним последовал второй. Во вновь избранной палате правительственная партия (сейюкай) и оппозиция (минсейто) оказались совершенно равносильны, и положение кабинета зависело буквально от нескольких голосов «диких» и «рабочих». Кабинет Танаки моментами висел в воздухе. Кухара своим тонким обонянием сразу почувствовал запах хорошего гешефта. С помощью подкупа, интриг и угроз он сколотил малень-

1) См. «Japan Weekly Chronicle» от 15. II. 28.

2) Один из важнейших постов в системе японской администрации, так как Южно-Маньчжурская дорога является станковым хребтом японской империалистической экспансии в Маньчжурии.

3) См. «Japan Weekly Chronicle» от 8. III. 28.



кую группу депутатов, которая взялась энергично поддерживать правительство. Группа была совершенно микроскопическая, однако, в создавшейся ситуации она обеспечила Танаке возможность некоторой передышки. «Служба» Кухары тотчас же была оценена, и ловкий авантюрист сразу получил повышение. Ему очень хотелось стать министром иностранных дел, он усиленно просил об этом Танаку, он даже заплатил ради этого свой долг англичанам, о чем речь была выше. Но «потомки феодалов» еще слишком громко рычали против назойливых притязаний «кунца», а токийский дипломатический корпус еще слишком явно выражал свое нерасположение по адресу знаменитого «вора и пройдохи». Кухаре пришлось несколько умерить свой аппетит и, хотя слюнки текли у него привзгляде на Гаймусе<sup>1)</sup>, он вынужден был пока что удовлетвориться должностью министра путей сообщения, любезно представленной ему другом Танакой. Все-таки Кухара делал крутой скачок в высоту, и притом сразу через несколько ступенек. Впрочем, и тут, на своем новом месте, наш аргонавт нисколько не растерялся. Гешефт — так гешефт! И он сделал прекрасный гешефт из своего министерского портфеля. Кухара — глава ведомства путей сообщения — стал щедрой рукой раздавать заказы на телеграфные приборы, электроаппараты, суда и т. д. Кухаре — главе горнопромышленной, электротехнической и судостроительной фирмы. Разногласий между обоими Кухарами не было, договоры заключались и подписывались гладко, дело явно для всех пошло на лад. Кухара-политик, Кухара-империалист терпеливо выжидал ситуации для захвата портфеля иностранных дел, а пока... пока Кухара — неоплатный должник государства — быстро превращался в щедрого кредитора японской государственной казны...

Но не все складывается так, как хочется. Судьба еще раз сыграла с Кухарой скверную шутку. В середине 1929 г. внезапно пал кабинет Танаки, а затем несколько месяцев спустя умер и сам Танака. Честолюбивым замыслом Кухары был нанесен тяжелый удар. Однако, было бы большой ошибкой полагать, что история Кухары тем самым закончена. Нисколько! Кухара еще всплывет на поверхность политической жизни, он еще покажет себя. Ибо Кухара, точно так же как Танака, не просто Кухара, а вполне законченный тип. Он ярко воплощает в себе ту могущественную промышленно-финансовую plutократию, которая выросла на дрожжах мировой войны и которая теперь

предъявляет все более настойчивые притязания на политическую власть.

Танака и Кухара были друзьями. Это не случайно, это — символ. Танака и Кухара — это те «другие», которые за призрачной ширмой императорского всемогущества в тесном и все более переплетающемся союзе реально правят современной Японией.

### Механизм власти

Итак, фактическая власть в стране принадлежит Танакам и Кухарам.

Однако, как эта власть осуществляется ими на практике? В каких конкретных формах? С помощью каких методов и средств? Через какие органы и учреждения?

Ответить на все эти вопросы не так просто. Ибо опять-таки Япония — не Европа! Совсем не Европа! Однако, некоторое приближение к истине мы получим, если примем во внимание следующее:

Японская конституция 1889 г. предусматривает лишь три органа власти, а именно:

- 1) Императора.
- 2) Тайный совет.
- 3) Парламент, состоящий из двух палат.

При этом император — все может, парламент (особенно его нижняя палата) — ничего не может, а Тайный совет собирается и курит трубку ради удовольствия обожаемого монарха. Во всей конституции ни разу не упоминается термин «кабинет министров», конституция знает лишь отдельных, назначаемых и смещаемых микадо министров.

Но так обстоит дело только «де-юре». «Де-факто» картина выглядит совершенно иначе.

«Де-факто» император не имеет никакой власти, хотя по конституции он «все может». «Де-факто» нижняя палата парламента, избираемая сейчас на основе всеобщего мужского голосования, также лишена реальной власти, ибо заседает не более 3 месяцев в году и по рукам и ногам связана бесчисленными ограничениями конституции, кабинет же министров (который «де-факто» существует) юридически не ответственный перед палатой. Таким образом, император и японская «палата общин» в общем механизме власти являются не органами силы, а органами бессилия.

Где же в таком случае органы силы?

Вот они, идя сверху вниз.

Во-первых, Тайный совет. Он состоит из 25 пожизненно назначаемых императором убоженных сединами «государственных мужей». Конкретно все эти 25 относятся к «классу Танаки» и в соответствии со своим преклонным возрастом являются самыми черными реак-

1) «Гаймусе» — японское название министерства иностранных дел.

ционерами. Хотя по конституции Тайный совет имеет лишь совещательный голос и созывается только по инициативе самого императора, «де-факто» он узурпировал в своих руках большую часть тех необъятных прерогатив, которыми по букве закона наделен император. «Де-факто» именно Тайный совет решает все важнейшие политические вопросы, назначает и сменяет правительства.

Во-вторых, органом силы является неизвестный конституции, но «де-факто» существующий кабинет министров, который до сих пор всегда состоял из представителей «класса Танаки» и в который только в самые последние годы, и притом в самых ограниченных дозах стали просачиваться представители «класса Кухары». Однако, из предыдущего ясно, что власть кабинета министров вытекает уже из власти Тайного совета, оставаясь им ограниченной и от него зависимой.

В-третьих, органом силы является также верхняя палата парламента, состоящая из 405 членов разного качества и звания. Она включает в себя сейчас 35 принцев, 31 маркиза, 18 графов, 66 виконтов, 65 баронов, — всего 215 человек, уже по самому званию своему принадлежащих к составу «палаты пэров». Она включает далее 120 членов по личному назначению императора из верхушки буржуазии и из рядов высшей бюрократии, 4 представителей университетов и 66 выборных от верхней группы налогоплательщиков. Итак, 335 членов «палаты пэров» являются неподвижными, пожизненными, частью даже потомственными ее членами, и только 70 в слабой степени отражают течение жизненных процессов. По социальному признаку всех их можно разделить примерно так: около 300 относятся к «классу Танаки» и немного больше 100 — к «классу Кухары». «Класс Кухары» представлен здесь, таким образом, довольно сильно, но зато самый объем власти верхней палаты далеко уступает объему власти кабинета, не говоря уже о Тайном совете.

К этим трем основным органам силы, предусмотренным или, по крайней мере, предполагаемым конституцией, — органам, в сумме составляющим механизм власти современной Японии, — надо прибавить еще два, правда, гораздо менее влиятельных института, о которых конституция вообще никогда не думала и не гадала. Это прежде всего императорская «камарилья», возглавляемая министром двора и хранителем императорской печати. Это далее пресловутое «Генро», или, точнее, бледная тень когда-то всемогущего «Генро», — старый, выживший из ума принц Сайондзи. Впрочем, он сейчас уже не столько власть, сколько икона, к ко-

торой считает долгом приложиться каждый японский «государственный муж», когда он берется за какое-нибудь серьезное дело<sup>1)</sup>.

Но все-таки в Японии имеются некоторые элементы буржуазной «демократии»! Все-таки в ней существует палата «народных представителей» с правом утверждения бюджета! Все-таки в ней функционируют выбираемые всеобщим голосованием провинциальные собрания и муниципалитеты! Все-таки в ней провозглашена «свобода печати»... Как могут при таких условиях Танаки и Кухары столь бесконтрольно распоряжаться судьбами страны?

О, для этого имеются тысячи средств и путей! Я остановлюсь здесь, однако, лишь на нескольких, самых важных и решающих.

Прежде всего два слова о японском парламентаризме. Это — поистине замечательное произведение природы. Князь Ито, творец японской конституции, бывший горячим поклонником прусских образцов прошлого века, отменил полномочия нижней палаты более чем скупое. Права ее ничуть не больше прав «палаты пэров». Депутатская неприкосновенность обставлена столь каучуковыми оговорками, что превращается в мыльный пузырь. Правительство не ответственно пред парламентом. Длительность сессии палат не должна превышать 3 месяцев в году... Как-будто бы немного, совсем немного!

И, однако, Танаки и Кухары ухитряются даже это немногое с помощью ловких трюков и хитрых толкований на практике превратить в ничто. Вот один чрезвычайно характерный пример.

Кабинет Танаки пришел к власти в апреле 1927 г., уже после закрытия нормальной сессии парламента. В мае Танака созвал палаты на 3-дневную экстренную сессию, которая вся целиком была посвящена мерам по «санитариванию» громкого банковского краха, сведшего в могилу кенсейкайский кабинет Вакатцуки. Меры эти были заранее

1) «Генро» (в буквальном переводе — «старейшины государства») — это вожди кланов Десю, Сатсума, Хидзен и Тоза, «сделавших революцию» 1868 г. Они образовали не предусмотренную конституцией, но чрезвычайно могущественную олигархию, которая в течение полувека (1868—1924 гг.) оказывала решающее влияние на судьбы Японии. Важнейшими членами «Генро» были князь Ито, маршал Ямагата, Курода, Матсуката. В его состав входили также Иноуэ, Итагаки, маркиз Окума, принц Сайондзи и др. Так как «Генро» новыми лицами не пополнялось, то постепенно оно вымирало и сейчас представлено лишь «последним из могикан» — принцем Сайондзи. «Генро» принадлежало исключительное право назначения премьер-министра, а последний не предпринимал ни одного серьезного шага без согласия «Генро». Один из членов «Генро» обычно всегда бывал председателем Тайного совета, а другие его члены нередко бывали премьерами, министрами, вождями армии и флота.

согласованы с оппозицией и приняты почти без прений. Далее парламент был распущен на обычные каникулы и вновь собрался для действительной работы только в конце января 1928 г. Так как, однако, Танака не располагал в палате большинством и опасался вотума недоверия, который мог бы затруднить его положение, то первое и единственное заседание «палаты общин» продолжалось ровно 2 часа. В конце этого заседания парламент был распущен и вслед за тем назначены новые выборы. Вышедшая из этих выборов палата собралась в мае того же года на экстренную сессию, которая занималась главным образом лишь сметами и вопросами предстоявшей коронации, где обе партии — и сейюкай и минсейто<sup>1)</sup> — старались превзойти друг друга в проявлениях монархической лояльности. Спорные проблемы почти не подымались. Экстренная сессия просидела не больше двух недель, и парламент вновь разошелся до января 1929 г., когда он уже, наконец, собрался на подлинно регулярную сессию. Таким образом, в течение почти двух лет Танака «де-факто» правил без парламента! Вот что значит умение «толковать» конституцию!

### Оптом и в розницу

Какие истинно гомерические размеры носит в Японии коррупция! Коррупция не составляет, конечно, какого-либо специально японского изобретения. Коррупция имеется в каждом капиталистическом государстве. В таких странах, как Франция или Америка, она принимает даже совершенно скандальные формы. Но все-таки нигде в мире нет ничего подобного тому, что творится в Японии! Нигде в мире министры, политики, общественные деятели, чиновники, журналисты и прочая, и прочая, и прочая не продаются оптом и в розницу так легко, так нагло открыто, так цинично! И притом все без исключения! Япония тут побила действительно мировой рекорд. Она воистину является классической страной политической коррупции.

Легенда рассказывает, что физическим родоначальником этой язвы, раздающей сейчас сверху донизу весь японский государственный аппарат, был некий Хоци Тору, вождь партии сейюкай и председатель токийской городской думы на рубеже XX столетия. Этот юркий и изобретательный джентльмен явился героем пелого ряда самых гнусных скандалов, которые были связаны с проведением трамвайных линий, устройством водопровода, развитием электрического освещения и налажива-

нием всяких иных коммунальных служб столицы. Долгое время, однако, Хоци Тору выходил из этой грязи почти не запачкавшись, ибо в объяснение своих диких хищений он выдвигал одну замечательную теорию: «Он-де ворует не для себя, а ради пополнения партийных фондов сейюкай». В обстановке японских нравов это объяснение звучало почти как оправдание. Действительно, в 1900 г. за свои «заслуги» Хоци Тору был назначен министром путей сообщения и уже готовился начать быстрое восхождение по путям «имперской» политики. Однако, повалился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сломить. Как раз в тот момент, когда смелый прохоридец, казался, достиг вершины власти, в прессе и в широких общественных кругах против него поднялась такая буря негодования, что новоиспеченный министр путей сообщения вынужден был выйти в отставку, а десяток его ближайших соратников угодили в тюрьму. На этом дело не кончилось. Несколько месяцев спустя Хоци Тору подвергся нападению со стороны одного из своих врагов и пал смертью вора и мошенника в здании той самой городской думы, которая служила главной ареной его художеств.

Я не верю в полную достоверность этой легенды только в одном пункте: Хоци Тору obviously возведен в ранг пионера и родоначальника коррупции. Корни японской коррупции гораздо глубже. Во всем остальном легенда совершенно правильна. Как бы то ни было, но, хотя Хоци Тору безвременно скончался под ножом противника, дух его остался жить среди японских государственных деятелей, а изобретенная им теория получила среди них необычайную популярность. Кто бы сейчас ни воровал, про него всегда скажут: «Он, он делает это не для себя, он делает это для партии». И тут обычно с удовлетворением ставится точка.

А воруют все и воруют помногу!

Формы японской коррупции чрезвычайно многообразны и подчас по-восточному красочны.

Начну с партийных фондов. Откуда они берутся?

Японская буржуазная партия — будет ли то сейюкай, или минсейто, или досикай — не имеет ничего общего с нашим, советским представлением о политической партии. У нее нет ни массового членства, ни регулярных членских взносов, ни какой-либо твердо установленной программы, ни нормально действующих органов внутрипартийной демократии. Японская буржуазная партия, это — вождь или группа вождей с толстым кошелем и с целой сворой больших и малых хищников, желающих получше присесть к

1) «Минсейто» — наследница прежней «Кенсейкай».

жирному государственному пирогу. Деньги для такой партии — все. И потому проблема партийных фондов — для нее основная проблема. Как же она разрешается на практике?

Я уже касался этой проблемы вскользь, когда рисовал жизненный путь Танаки. Остановлюсь сейчас несколько подробнее.

Первым и, пожалуй, самым важным источником пополнения партийных касс являются «секретные фонды» различных министерств и государственных учреждений. Особенно крупную роль при этом играют «секретные фонды» таких министерств, как министерство внутренних дел, министерство финансов, военное министерство и министерство морское. Далее, немалое значение имеет Южно-Манчжурская железная дорога, «секретные фонды» которой дают кассе правящей партии 500—800 тыс. иен в год. Еще крупнее значение двух больших колоний — Кореи и Формозы. Они тоже имеют свои «секретные фонды», а сверх того еще громадные суммы внебюджетного характера. Особенно прибыльна с этой точки зрения Формоза. Колонии доставляют партийным кассам миллионы и миллионы иен ежегодно. В Квантунге <sup>1)</sup> бывают источники и несколько иного порядка. Так, сейюкай в течение многих лет получала крупные суммы для партийных целей с выручки «бюро по продаже опиума» в Дайрене — учреждения, занимавшегося преступной контрабандой опиума в Китае. Отсюда, притянуто, почему первым актом каждой вновь пришедшей к власти партии является наряду с распределением министерских портфелей также назначение вполне «своих» людей на посты председателя Южно-Манчжурской железной дороги и генерал-губернаторов Кореи, Формозы и Квантунга.

Вторым — и, пожалуй, не менее важным, чем первый, — источником партийных доходов необходимо считать «добровольные взносы» и «подарки» отдельных капиталистов, капиталистических групп и концернов. Я уже рассказывал, как и почему это делается, когда описывал карьеру Танаки и Кухары. Однако, подобного рода махинации отнюдь не являются изобретением только этих двух породистых авантюристов. Нет, такова всеобщая практика. Так поступают все эти Митсуи, Митсубиси. Ясуда, Сумитомо, Фурукава и прочие «капитаны промышленности и финансов». При этом, так как никакой серьезной принципиальной разницы между

сейюкай и минсейто даже в дупу нельзя усмотреть и так как обе партии поочередно меняются у власти, то все более серьезные концерны стараются страховаться и на Антона и на Онуфрия: они платят «на всякий случай» и туда и сюда. У нас широко распространено мнение, что Митсуи стоит за спиной сейюкай, а Митсубиси — за спиной минсейто. В этом мнении — истина, но неполная истина. Реальное положение таково: Митсуи платит главным образом сейюкай, но одновременно кое-что дает и минсейто, а Митсубиси платит главным образом минсейто, но одновременно не забывает и сейюкай. Такова хитрая механика японских партийно-политических отношений!

Третьим, но уже более второстепенным источником партийных доходов является широко поставленная розничная торговля титулами, чинами, орденами, теплыми местечками. Японцы — любители высоких званий и пестрых побрякушек. Партия, в данный момент стоящая у власти, делает прекрасный гешефт из этой болезненной страсти своих соплеменников. Она просто и цинично продает государственные почести по определенной и отнюдь небезвыгодной для себя расценке. Существует строго выработанная такса на «виконтов», «баронов», «графов», «князей» и т. д., при чем, напр., место в «палате пэров» стоит примерно около 200 тыс. иен...

Таковы излюбленные формы — да позволено мне будет выразиться — «коллективной» коррупции.

А что сказать о коррупции «индивидуальной»?

Когда я мысленно подхожу к этой колючей теме, в памяти у меня невольно всплывает одна яркая, незабываемая картина...

Тихое горное озеро на вершине прекрасной горы. Японский отель из фанеры и бумаги, издали похожий на легкий картонный домик. Раздвижные стены и мягкие циновки. Широкая веранда, висящая над водной глубиной, и черные, горящие глаза моего собеседника. Он курит и говорит, говорит и курит. Он — японский «левый» социалист и талантливый молодой историк. Он превосходно знает всю грязную подноготную японской политики и быстро, неудержимо, волнуясь и спеша, рассказывает мне то, что годами было близко к его сознанию:

— Вы спрашиваете о формах индивидуальной коррупции? — восклицает он. — О, их много, страшно много! Они — все равно что песок морской! Ну вот возьмемте хотя бы лиц административного ранга и положения. В Японии пойдяк такой: приходит к власти сейюкай. — немедленно все посты губернаторов, вице-губернаторов, полицмей-

<sup>1)</sup> Квантунг — южная оконечность Ляодунского полуострова, принадлежащая Китаю, но находящаяся в 99-летней «аренде», у Японии.

стеров, уездных начальников и т. д. замещаются представителями этой партии. Ибо правящая в данный момент партия желает иметь машину государственного управления целиком в своих руках. Но вот произошла перемена, к власти пришла минсейто — картина сразу же меняется; сейюкайские администраторы по всей линии немедленно вылетают; и на их место спускается такая же стая администраторов новой партии. Так как японские кабинеты не отличаются большим долголетием (жизнь их редко превышает два года), то эта дорого стоящая игра в *changoz vos places* повторяется довольно часто. Мало того. Господствующая партия хочет обычно не только держать в руках административный аппарат, но стоять также твердой ногой и в муниципалитетах, особенно в муниципалитетах крупных городов. Это тоже продельвается. Вы спросите как? Лучшим ответом на ваш вопрос будет следующая небольшая история.

Китагава-сан (так звали моего собеседника) на минутку остановился, крепко затыкнулся из своей длинной трубки и затем, помолчав немного, продолжал: — Выборы 1926 года дали в токийском муниципалитете кенсейкайское большинство. Это было понятно. В то время у власти были кенсейкайцы, а в Японии уже давно так повелось, что на выборах всегда побеждает та партия, которая в данный момент держит в своих руках министерские портфели. Ведь к услугам этой партии тогда и «секретные фонды» и административный аппарат. Однако, весной 1927 г. кенсейкайское правительство Вакацукки пало, и власть перешла к сейюкайскому кабинету Танаки. Сейюкайцам страшно хотелось сразу же захватить в свое владение столь важную «командную высоту», как столичный муниципалитет, и они принялись за «работу»... Прежде всего надо было выкинуть посаженного кенсейкайцами мэра города Нисикубо. Это удалось сравнительно просто. Гласные-сейюкайцы устроили в заседании думы несколько громких скандалов, разыграли как по нотам страшный мордобой в заседании муниципалитета... Вся мебель в зале городской думы была сломана в куски и пущена в ход во время драки... Было несколько проломанных голов, несколько изувеченных рук и ног... И, в конце концов, Нисикубо вышел в отставку. На его место был назначен сейюкаец... Несколько сложнее было дело с самим городским думой. Ведь она все-таки выборное учреждение!.. Но и тут сейюкайцы нашли выход... В центре Токио, на Нихонбаси, находился большой рыбный рынок. Каждая крупная лавка, по японскому обычаю, имела перед своим помещением на тротуаре

несколько уличных лотков для продажи рыбы, сдававшихся в аренду мелким торговцам за 200—300 иен в месяц. В связи с переустройством города после землетрясения 1923 года рыбный рынок был перенесен в другое место, Цукидзэ, где лотки на тротуарах выставляться оказалось неудобным. Тогда крупные рыбники подняли шум по поводу понесенных ими «страшных» потерь и потребовали от столичного муниципалитета соответственных «компенсаций». Торг между рыбниками и гласными продолжался довольно долго, но, в конце концов, весной 1928 года муниципалитет вотировал рыбникам 700 тыс. иен «возмещений», за что «благодарные» рыбники распределили среди гласных 200 тыс. иен. Как видите, рыбники в убытке все-таки не остались! Полмиллиона иен они положили себе в карман... Далее. В районе Токио имеется подгородная трамвайная линия Кейсей. Владельцы ее уже много лет добивались разрешения довести линию до самого города, но муниципалитет им всегда отказывал. И вот летом того же 1928 года давно просимое разрешение, наконец, было дано. Что случилось?... Ничего особенного! Просто около полмиллиона иен из кассы трамвайной компании таинственным образом переключалось в карманы «отцов города». И дело было сделано... Так вот сейюкайцы вытащили на свет божий обе эти скандальные истории и подняли целую кампанию.

Были пущены в ход полиция и юстиция. Пресса в течение ряда недель обливала помоями кенсейкайских гласных. А потом начались аресты «народных избранников» по обвинению в лихоимстве и взятках. И какие аресты! Мало-помалу число посаженных в тюрьму гласных дошло до 43 из общего количества 88! Тогда сейюкайский министр внутренних дел пришел в состояние священного негодования и в целях «очищения» общественной атмосферы распорядился распустить опозоривший себя муниципалитет и назначить новые выборы. Ну, а на новых выборах, конечно, победили сейюкайцы. Ведь у власти во время выборов стоял Танака. Вот и вся моя история. Не правда ли, она очень поучительна?..

Признаюсь, я был сильно ошеломлен простотой японских политических нравов и не мог удержаться от довольно большого вопроса:

— Но, может быть, токийская история является только исключением?

— Увы! — резко прервал меня Китагава-сан, — токийская история — не исключение, а правило. То же самое происходит на всем протяжении страны. Детали и формы бывают различны, но суть везде остается одинакова. Коррупция насквозь проела наше «местное самоуправление».

— А государственный аппарат? А центральное правительство? — быстро вырвалось у меня.

— И там не лучше, — отвечал мой собеседник. — Все эти губернаторы, полицмейстеры, уездные начальники и прочие администраторы — самые беспардонные взяточники и воры. Они даже не понимают, как это можно не красть? Для чего тогда власть? Возьмите любого из наших администраторов, — каждый из них твердо убежден, что власть прежде всего является рычагом для перекачивания золота из карманов населения в собственный карман. А министры? Колониальные сатрапы? Генералы и адмиралы? Чиновники?... Для характеристики их «морального лица» достаточно двух-трех ярких примеров. Вот хотя бы Огава, министр железных дорог в кабинете Танаки, — за десять часов до формальной отставки правительства он спешно дал разрешение на постройку 12 новых рельсовых путей, за что получил несколько миллионов иен от соискателей. При новом правительстве Хамагуци он попал под замок. Или Яманаси, генерал-губернатор Кореи при Танаке, — он до такой степени злоупотреблял взятками при сдаче предпринимателям различных концессий, что после выхода в отставку сейюкайского правительства попал под суд и должен был сложить с себя еще до решения дела все придворные чины и ордена. Или Амаока, председатель совета по пожалованию орденов, — он прославился продажей орденов оптом и в розницу, особенно в период коронации (осенью 1928 г.), и кончил тем, что при смене правительства угодил в тюрьму. Хотите еще примеров? Могу продолжать до бесконечности...

— Нет, пожалуй, довольно, — заметил я, — но вот что я хотел бы от вас услышать: неужели все буржуазные партии Японии одинаково безнадежны. Вы говорили до сих пор все больше о сейюкайцах, — ну, а как минсейтовцы? Не наблюдается ли среди них более здоровых тенденций?

Китагава-сан залился презрительным смехом.

— Вы — наивный человек, — возразил он, — если думаете, что существует хотя бы малейшая разница в морали между сейюкайцами и минсейтовцами. Два сапога пара. Я рассказывал вам про сейюкайца Огаву, а вот послушайте, что сделал глава того же министерства железных дорог в предшествующем кенсейкайском кабинете Вакатцуки. В самый день отставки правительства он в спешном порядке решил постройку шести трамвайных и железнодорожных линий... конечно, не ради одних лишь прекрасных глаз соискателей. Или — начальник столич-

ной полиции при кенсейкайском кабинете Ота за несколько часов до падения правительства выдал патенты на открытие 7 новых «домиков гейш» в Токио... тоже, конечно, не без соответственных компенсаций. Или — сам глава кенсейкайского кабинета Вакатцуки. Имя его связано с такими громкими и грязными скандалами, что, когда в конце 1929 года он был назначен председателем японской делегации на лондонской конференции по морским вооружениям, в стране поднялся огромный шум. Целый ряд митингов резко протестовал против посылки Вакатцуки в Англию, считая, что такой акт явится «серьезной компрометацией японского престижа. Специальные делегации ездили к Вакатцуки и убеждали его во имя «чести родины» выйти в отставку. А что вышло из этого? Ровно ничего! Вакатцуки не вянул воплям «патриотов» и все-таки отправился в Лондон. В какой другой стране возможно что-нибудь подобное? Нет, в Японии все буржуазные партии связаны круговой порукой коррупции!

— Но ведь в таком случае, — заметил я, — судебные и иные преследования взяточников и казнокрадов должны превращаться в сплошной фарс?!

— Вы совершенно правы! — с усмешкой откликнулся Китагава-сан, — так оно и есть на самом деле. Помните, как 43 гласных токийской городской думы были арестованы за взятки в 1928 году? Вы знаете, что с ними дальше случилось?... Да ничего особенного. Их поддержали немножко в тюрьме, а потом, когда закончились выборы и в муниципалитете твердо уселось сейюкайское большинство, арестованные были освобождены, дело же о взятках положено под сукно. Да и как же иначе? Когда следователи стали разматывать этот муниципальный клубок, то очень быстро выяснилось, что нити от кенсейкайских гласных идут к сейюкайским гласным и даже гораздо выше — к самим сейюкайским членам кабинета Танаки. Поневоле некоторым слишком ретивым следователям дали обухом по голове!. Или сейчас, — минсейтовское правительство Хамагуци с большой помпой затеяло громкие процессы против Огавы, Амаоки, Яманаси и других героев администрации Танаки. Сплошная комедия! И тут нити от сейюкайских героев прямым ходом тянутся к минсейтовским героям, и я готов свою голову прозакладывать, что вся эта шумиха кончится ничем. Уже есть даже несомненные симптомы такого оборота дел. Еще бы! Ворон ворону глаза не выклюет. А ведь сейюкай и минсейто — два черных, зловещих, из одного и того же «морального теста» склеенных ворона, сидящих на обескровленном теле современной Японии.

Солнце медленно спускалось за остроконечные вершины гор, розовым огнем отражаясь в потемневших водах озера. В вечернем воздухе была разлита какая-то серебряная тишина. Стройные купы деревьев темногустеющими пятнами вырисовывались на фоне серо-желтых скал. Широкая веранда гостиницы тонула в трепетно-таинственных тенях. Китагава-сан угрюмо курил и молчал. А я смотрел на открывавшийся передо мной чудный ландшафт, вдыхал ароматы наступающей японской ночи и думал:

— Так вот каков тот всемогущий «приводный ремень», с помощью которого Танаки и Кухары выправляют и контролируют движение бесчисленных колес и колесиков великой 90-миллионной империи!

### Шпионаж

Впрочем, есть еще один, и притом далеко не последний, «приводный ремень», который заслуживает нашего особого внимания...

Передо мной лежит письмо одного моего друга, долгое время работавшего в советских учреждениях в Японии. Оно настолько характерно, что я приведу его целиком.

«Итак, еще два дня, — пишет мой друг, — и я навсегда расстанусь с Японией. Доволен ли я этим? О, да, очень доволен. Не потому, что я не люблю Японию или считаю ее неинтересной страной. Как раз наоборот. И с политической, и с экономической, и с культурной точек зрения Япония заслуживает величайшего внимания. И лично я чрезвычайно многому научился за время пребывания в Токио. Но беда в том, что жизнь в этой стране имеет для нас целый ряд весьма ощутительных дефектов, и самым крупным и наиболее неприятным из них, несомненно, является та густая сеть всеобщего, всеведущего и вездесущего шпионажа, в которой мы, советские работники, здесь буквально задыхаемся.

Вы скажете: шпионаж имеется везде, особенно шпионаж за гражданами Советского Союза. Верно. Однако, нигде этот шпионаж не достигает такой рафинированности, такой виртуозности, как в Японии. Для того, чтобы вы как следует поняли меня, я буду чрезвычайно конкретен.

Когда советский работник приезжает в Японию, он сразу же попадает под специальное наблюдение полиции. На первых порах обычно это делается совершенно открыто, открыто до наивности, до цинизма. Просто один или двое шпионов неотступно ходят за вами по пятам, не прячась и не смущаясь, а, наоборот, все время ощущая себя при исполнении важной государственной

обязанности. Вы очень скоро узнаете их в лицо, они вам мило улыбаются, охотно оказывают различные мелкие услуги. Моя жена, напр., заставляла шпионов носить за ней покупки, а я нередко пользовался их услугами при отыскании какой-либо улицы или дома. Все это они проделывали беспрекословно, даже подобострастно, особенно после того, как стали получать от меня по полтиннику на чай. Такое полицейское наблюдение наименее обременительно. Оно просто забавно. В конце концов, при желании от открытого шпиона всегда можно удрать или, запутав след, сбить его с толку.

Но эта наиболее примитивная форма шпионажа применяется только вначале. Когда из «новичка» вы превращаетесь в «старожил», система меняется. Открытое «наблюдение» прекращается. Входят в силу иные, более тонкие средства шпионажа, и тут вы начинаете явственно ощущать, как густая и душная сеть мельчайшего полицейского надзора захлестывает вас со всех сторон. Достигается это тем, что все, решительно все японцы, так или иначе соприкасающиеся с нами, оказываются прилежными «информаторами» полиции.

Человеку, никогда не бывавшему в Японии, трудно себе представить всеобщность господствующего здесь шпионажа. А между тем она безгранична. Вся наша домашняя прислуга, все наши «ама-сан», няньки, кухарки, горничные дают сведения полиции. Все наши «бои» в полпредстве и торгпредстве, даже и те, которые числятся членами «левых» профсоюзов, дают сведения полиции. Все наши поставщики, магазинные мальчишки, привозящие продукты, повара в нашей товарищеской столовой, портные и портнихи, обшивающие нас и наших жен, сапожники, жестяники, маляры, ремонтные рабочие, по тем или иным причинам бывающие в советских учреждениях, — все они дают сведения полиции. Все японцы-учителя, занимающиеся с нашими студентами-японистами, все японцы-врачи, которые нас лечат. Все японцы-журналисты, которые к нам ходят, точно так же дают сведения полиции. Особенно журналисты! В Японии вообще трудно решить, где кончается журналист и начинается агент полиции. На этом цепь, однако, не кончается. Все министерские чиновники, с которыми мы имеем дело, все купцы и промышленники, с которыми мы торгуем, все генералы и саныники, с которыми мы устанавливаем связи, также дают сведения полиции. Все, все! Я отнюдь не преувеличиваю. Вся разница между моей «ама-сан» и высокопоставленным адмиралом заключается только в том,

что «ама-сан» бегаёт с своей «информацией» к постовому городовому, а адмирал сообщает ее товарищу министра.

Вы легко можете себе представить, как подобная обстановка действует на наше настроение. Чувствуешь себя связанным по рукам и ногам. Живешь в состоянии постоянной нервной напряженности. Привыкаешь смотреть на каждый шаг, каждый жест, каждое слово окружающих тебя людей с подозрением. Приучаешься сдерживать каждое свое непосредственное, свободное движение. Такая обстановка очень утомляет и раздражает. И, когда в такой обстановке проживешь несколько лет, чувствуешь, что где-нибудь на Кавказе или в Крыму нужно серьезно полечить свои нервы, а главное — переменить место работы. Вот почему я думаю с облегчением, что через два дня меня уже не будет на территории Японии.

Нужны ли какие-либо комментарии к этому письму?

Не думаю. Оно говорит само за себя. Конечно, шпионаж имеется повсюду. Конечно, за советскими работниками за границей везде «смотрят» с преувеличенным вниманием. Но все-таки где, в какой другой стране этот «надзор» принимает такие истинно гомерические формы, как в Японии?!

Впрочем, острее шпионажа направляется не только против «большевиков», не только против проживающих в Японии иностранцев. Шпионаж проникает до корня в жизнь самих японцев. Возьмите любое министерство — все чиновники в нем шпионят друг за другом, — начальники за подчиненными, подчиненные за начальниками, — и все доносят о своих наблюдениях вездесущему полицейскому уху. Возьмите любую капиталистическую фирму — все ее служащие также шпионят друг за другом, старшие за младшими, младшие за старшими, и все доносят тому же полицейскому уху. Возьмите школу — учителя шпионят за учениками, ученики шпионят за учителями, и все опять-таки доносят полицейскому уху. Возьмите газету — сотрудники шпионят за редактором, редактор шпионит за сотрудниками, и все неуклонно осведомляют полицию. И так далее, и так далее до бесконечности. Вся Япония, с севера на юг и с востока на запад, оказывается связанной одной сплошной, непрерывной цепью взаимного шпионажа. Получается всеобщая круговая порука шпионажа, в тисках которой задыхается 60-миллионный народ...

Откуда это? Почему японцы обнаруживают такую феноменальную страсть к шпионажу?

Дело тут, конечно, не в каких-то мистических особенностях японского характера, как о том часто говорят евро-

пейцы, а в определенных исторических условиях и традициях. Еще в эпоху средневековья в японской деревне сложилась своеобразная система внутренней организации. Каждые пять дворов образовывали специальную административно-хозяйственную единицу — «гонинкуми» — с своим старшиной и своей печатью. Все члены «гонинкуми» были обязаны оказывать друг другу в случае надобности материальную помощь. Сверх того, все они были связаны круговой порукой не только по внесению податей, но и по поведению каждого из них. Если кто-либо из членов «гонинкуми» совершал преступление, ответственность ложилась на все «гонинкуми». Эта система достигла полного завершения и расцвета в Токугавскую эпоху (1603—1867), превратившую Японию в идеальное полицейское государство. В соответствии с общим духом своего времени «гонинкуми» XVII—XVIII вв. стали очагами самого мелочного, самого назойливого шпионажа. Каждый член «гонинкуми» боялся, что ему придется отвечать за проступки другого члена «гонинкуми», и потому все члены с опаской и недоверием внимательно следили друг за другом. И так как подобная система существовала свыше 250 лет, то привычка к шпионажу вошла в плоть и кровь населения, превратилась в его вторую натуру и приобрела характер какой-то «национальной» особенности японцев.

Пореформенная Япония мало что изменила в этом отношении. Ведь не даром же Япония — не Европа! Полицейские традиции Токугавской эпохи в полной мере сохранились вплоть до настоящего дня. Слегка изменились лишь их внешние формы и проявления. Да и то не очень. И потому я с полным убеждением готов утверждать, что современная Япония, несмотря на свой «парламентаризм», на свою американизированную прессу и свои поставленные по последнему слову техники фабрики и заводы, является глубоко полицейским государством, несомненно, самым полицейским из всех существующих сейчас в мире. Я склонен думать, что в этом отношении она превосходит даже царскую Россию. Ибо, хотя полиция в царской России была необыкновенно могущественна, она не пользовалась престижем в широких кругах населения, ее не любили и не уважали даже в кругах буржуазии и гражданской и военной бюрократии. Офицерство старой армии относилось к полиции (включая сюда и жандармерию) с явным презрением, чиновничество смотрело на нее с плохо скрытой брезгливостью, люди «свободных профессий» — с резкой враждой. Выйти замуж за полицейского пристава для



дочери полкового командира был «мезальянс», а для дочери врача или адвоката — настоящий скандал. И за вычетом штатных полицейских агентов мало кто готов был оказывать ей услуги по части доносов и «информации». Наоборот, дача полиции тех или иных сведений в сколько-нибудь «приличном обществе» считалась позором и непристойностью.

В Японии совсем иначе. Полиции здесь не просто боятся, — к ней относятся с уважением и уважением во всех кругах населения (кроме, конечно, коммунистов). Выйти замуж за полицейского офицера здесь значит сделать «хорошую партию». Давать полиции ту или иную «информацию» никто, кроме сознательных революционеров, не считает зазорным. Наоборот, делиться всякими «сведениями» с полицией тут рас-

сматривается, как самое хорошее и патриотическое дело. Для среднего японца заниматься шпионажем столь же естественно, как для птицы петить или для лошади бегать. Ибо к этому население приучили 2½ века токугавского режима.

Вот почему шпионаж является японской добродетелью! Вот почему японцы являются лучшими шпионами в мире!

А вместе с тем Танаки и Кухары получают в руки еще один весьма крепкий и гибкий «приводный ремень», из которого они умеют делать прекрасное употребление...

Так находят логическое завершение формы полувосточной, полувосточной феодально-капиталистической диктатуры, в железных рукавицах которой задыхается современная Япония.

# Из прошлого

## ОЛИН ИЗ ЗАЧИНАТЕЛЕЙ

(К истории пролетарской поэзии)

Г. Лелевич

Мы — первой радости дыханье,  
мы — первой зелени расцвет.

С а м о б ы т н и к .

Давно ли каждое собрание — ячейки ли, района ли, общее ли собрание рабочих, красноармейцев — неизменно оканчивалось пением «Интернационала». Едва опустились руки после итоговых голосований, едва отзвучали слова последних извещений, едва усталый и вспотевший председатель объявил охрипшим голосом о закрытии собрания, — и уже поднимаются серые шинели, кожаные куртки, и сперва недружно, а потом все стройнее раскачивается:

Встава-а-а-ай, проклятьем заклеиме-е-нный...

Отбушевали первые годы революции. Военная гроза сменилась могучим напряжением стройки. Дialectика революционной стратегии, сложная смена отступлений и наступлений сделали нас более скупыми на внешние проявления чувств. Но когда безграничный энтузиазм перестройки мира, беспредельный пафос социалистической реконструкции прорываются сквозь обычную сосредоточенную деловитость, все тот же простой и величественный напев рвется с наших губ:

Встава-а-а-ай, проклятьем заклеиме-е-нный...

Да и какая же другая песня может быть гимном первой страны социализма, кроме излюбленной песни международного пролетариата?

Но, когда мы повторяем родные и до последней буквы знакомые нам строки мирового пролетарского гимна, вспоминаем ли мы хоть иногда того, кто создал эти строки? Да что вспоминаем! Знаем ли мы хоть его имя? Люди, особо интересующиеся литературой, смутно помнят, что французский оригинал «Интернационала» написан коммунаром Эженом Потье. Но кто перевел песню Потье на русский язык, кто подарил нам текст, распе-

ваемый миллионами рабочих и крестьян, — это покрыто мраком забвения.

В 1922 г. в статье тов. Евг. Левицкой «Из жизни одесского подполья» я нашел следующее место:

«Быстро и бесследно промелькнула Елена Кац, приехавшая из-за границы, — серьезная и вдумчивая пропагандистка; ее брат Арон Кац был автором такой популярной теперь «Пролетарской марсельезы». Однажды, придя к нам, он попросил прослушать, как им переложен «Коммунистический манифест» марсельезы, и с большим воодушевлением пропел: «Мы марсельезы гимн старинный па новый лад теперь споем». Мы все пришли в восторг, немедленно записали слова, и через несколько дней наша типография выпустила «Новую марсельезу» в огромном количестве экземпляров не только для нашей организации, но и для соседних городов.

«Новая марсельеза» быстро завоевала себе почетное место среди революционеров, и с каким жаром пели мы ее во время наших прогулок на берегу моря или катаясь на лодке. Чувствовалось, что «великий день освобождения» уже близок» («Пролетарская революция», 1922 г., № 6, стр. 143—144).

Меня порядком смутило это сообщение тов. Левицкой. Дело в том, что в сборничке революционных стихотворений «Перед рассветом», составленном покойной В. Величкиной, имелась справка. Из справки этой явствовало, что «Песнь пролетариев» (та самая, которую тов. Левицкая называет «Пролетарской марсельезой») еще до появления Каца в Одессе была напечатана в заграничном с.-д. журнале за подписанием «Данин».

Встретившись примерно через год с тов. Левицкой, я поделился с ней своим сомнением и высказал предпо-

ложение, что Коц мистифицировал одесских товарищей, присвоив себе чужое стихотворение. Так пало на Арона аца тяжелое подозрение в плагиате.

Спустя немного времени, сия юридическая загадка была разрешена. Тов. Левицкая неожиданно встретила своего старого соратника по одесскому подполью и между прочим сообщила ему о моем подозрении. Подозрение рухнуло. С полной достоверностью выяснилось, что подпись «Данин» была просто-напросто псевдонимом Каца (не Каца, а Коца, — тов. Левицкая после почти двадцатилетнего срока не совсем точно передала фамилию автора прекрасной революционной песни). Вскоре мы встретились, и я слушал, как ветеран пролетарской поэзии неторопливо повествовал о своей жизни и литературной деятельности.

Аркадий Яковлевич Коц родился в 1873 г. в Одессе в семье мелкого служащего, в обстановке нужды и лишения. С 13 лет он поддерживал семью уроками. Потом — горное училище в Горловке и служба на угольных шахтах Подмосковского и Донецкого бассейнов. Двадцати пяти лет приехал в Париж и поступил в горный институт. Во Франции сблизился с социал-демократической эмиграцией и, вернувшись в Россию, вступил в 1903 г. в Р. С.-Д. Р. П. С 1903 по 1907 г. Коц вел интенсивную пропагандистскую и агитационную работу в мариупольской и одесской партийных организациях.

Разгром революции 1905 года и безвременье реакции надломил Коца. Подобно многим и многим, он отошел от революционной работы, и служба по горному делу заменила участие в освободительной борьбе пролетариата. Этот отход не прошел даром и, вернувшись в 1914 г. к политической деятельности, Коц оказался в рядах меньшевиков. Лишь в 1920 г., пройдя извилистый путь блужданий, Коц сумел достигнуть отвратительную контрреволюционную сущность меньшевизма и оценить грандиозное дело Октябрьской революции и ленинской партии. Где теперь А. Я. Коц, не знаю.

В этой биографии нет ничего особенно выдающегося и яркого, но этот скромный человек в эпоху первой русской революции сумел вписать важную страницу в историю пролетарской поэзии.

В 1902 г., находясь во Франции, Коц напечатал под псевдонимом «А. Данин» в журнале «Жизнь» два стихотворения. Одно из них уже упоминавшаяся «Песнь пролетариев», другое —

первый русский перевод «Интернационала», тот самый перевод, который и сейчас поется всеми. А в 1907 году Коц издал книжку стихов.

Вот — передо мною эта книжка, небольшая, всего в 32 страницы. На обложке ее значится: «Д.—н. Песни пролетариев. Книгоиздательство «Наш голос». Серия «На разные темы» № 4, 1907. Цена 8 коп.»

Эту маленькую книжку нигде не купишь. Экземпляр ее хранится за семью замками в библиотеке им. Ленина в ряду величайших библиографических редкостей. Так редка она не потому, что ее в свое время раскупили, а потому, что немедленно по выходе она была конфискована и не успела дойти до читателя. Царизм прекрасно понимал, как опасно для его устоев художественное слово, ставшее на службу рабочей революции.

Эта редкая книжка — один из самых первых сборников стихов пролетарских поэтов в России. Это — одно из самых первых выступлений нашей пролетарской поэзии. Все особенности начального этапа в развитии поэзии рабочего класса отразились в одиннадцати стихотворениях, составляющих книжку «Д.—на».

Поэзия «Д.—на», конечно, — писк политической поэзия. Мы находим у него отклики на ряд политических событий и явлений, волновавших тогда общественность.

Усиливается толстовская проповедь непротивления, и из-под пера пролетарского поэта вырывается гневная отповедь:

Там, где пред грозным палачом  
Народ смиренно спины клонит,  
И под ярмом и под бичом  
Бессильно падает и стонет,  
Там, где страданиям нет числа,  
Где попираются от века  
Пятой ликующего зла  
Права и чувства человека,  
Где мысль униженно молчит,  
Сложив беспомощные крылья,  
И дух восстания убит  
Отравой рабского бессилья, —  
Там — нет, не мир и не любовь, —  
Там нужен мощный клич восстания,  
Там нужно немощную кровь  
Зажечь огнем негодованья...  
Там нужно ненависть борца  
Вдохнуть в заснувшие сердца,  
Давно привыкшие к смиренью,  
И в час возмездья роковой  
Забить в набат и звать на бой —  
К освобожденью

Доносится весть о позорной расправе фон-Валя над виленскими арестованными революционерами и о героическом выстреле Гирша Леккерта, и поэт создает негодующее стихотворение «Расправа».

Царские умирители торжествуют победу над борцами декабрьских баррикад, и с губ поэта срываются мужественные строки:

Еще недавно, под этой кручей седой  
 скалы,  
 Вадымая пену, ревели в гнев, росли валы,  
 И, вал за валом, взрывая дружно морской  
 песок,  
 Скале упрямой могилу рыли у самых ног...  
 И вдруг — победа! В бессильном гневе сва-  
 дился враг:  
 Утес холодный, утес бездушный повержен  
 в прах  
 На гимн победный сменили волны свой  
 прежний гнев,  
 Но был недолог их песни мощной лихой  
 напев...  
 К добыче моря подкралась люди своей  
 чредой  
 И раскололи на глыбы камня гранит се-  
 дой  
 И, ограждаясь от волн зловещих, как от  
 врагов,  
 Броней гранитной, сдавили море у бере-  
 гов...  
 Бушуйте волны. Вросайте с гневом свои  
 валы,  
 Пока не рухнет последний камень седой  
 скалы.

Точно также, как у колыбели пролетарского социализма в России стоял крестьянский социализм Чернышевского, землевольцев, народовольцев, — и у колыбели пролетарской поэзии стояла революционно-демократическая поэзия разночинцев. Не сразу, с трудом преодолела поэзия рабочего класса влияние своей разночинческой предшественницы. Сказывалось тут и то обстоятельство, что на очереди в России стояла буржуазно-демократическая революция, и пролетариату приходилось бороться также за разрешение исторических задач, которые ранее стояли и перед революционерами-народниками. Потому-то в стихах ранних пролетарских поэтов так часто словесные формулы и образы, непосредственно заимствованные у поэтов революционного народничества и даже у Рылеева и Огарева. В книжке «Д—на» мы находим стихотворение «Иди за мной», чрезвычайно характерное в этом отношении. Вот оно.

Она стояла предо мной  
 Вся озаренная лучами,  
 С своей улыбкой неземной  
 И вдохновенными очами.  
 Могучий голос задрожал,  
 И, полный страсти затаенной,  
 Он то молил, то угрожал,  
 То нервной дрожью трепетал,  
 Как шопот женщины влюбленной...  
 «Смотри, как жалки и смешны  
 Твои печали и тревоги:  
 Давно разгнанные сны,  
 Давно развенчанные боги...  
 Здесь человек поработен,  
 В движеньях сердца осторожен,  
 В желаньях жалок и смешон,  
 А в жертвах — мелок и ничтожен.  
 Как бы вледененный в глуши,  
 Он чужд борьбы и чужд волнения...  
 В его порывах нет души,  
 В его восторгах — вдохновения.  
 Огнем бессмертья не согрет,

Он чужд святого беспокойства.  
 В его делах величия нет,  
 В его страданиях нет героизма.  
 Беги из стен своей тюрьмы!  
 Беги, беги из этой тьмы,  
 Слепой, глухой, бесчеловечной,  
 Где гаснет взор, тупеет слух,  
 Где гибнет тело, гибнет дух  
 И где ничтожество лишь вечно...  
 Иди за мной! перед мольбой  
 Склонись с доверчивостью страстной,  
 И новый мир перед тобой  
 Открою я рукою властной.  
 Тот мир — мир гнева и борьбы,  
 Великой силы пробужденья,  
 Где полымяются рабы  
 На мощный клич освобожденья,  
 Где очищаются сердца  
 В огне высокого страдания,  
 В борьбе с насильем без конца,  
 С позором рабского молчанья...  
 Иди! Я выйду на простор,  
 С тобой сольюсь своим дыханьем,  
 Зажгу отвагою твой взор  
 И речь зажгу неголованьем...  
 С насильем, пошлостью людской  
 Борись беспрепятной рукою  
 И улыбайся, умирая:  
 Я поцелуюми любви  
 Сомкну в тот миг уста твои,  
 Чело бессмертием венчая...»

Это стихотворение целиком укладывается в рамки радикальной мелкобуржуазной поэзии XIX века. От первой до последней строчки оно могло быть написано каким-нибудь поэтом 60-х, 70-х или 80-х гг. В нем нет ни одного слова, которое вносило бы специфические пролетарские ноты.

Традиционная фразеология старой революционно-демократической поэзии встречается в ряде стихотворений «Д—на». В стихотворении «Слятва» мы читаем:

Бьет тот час, когда народ  
 Умирает за свободу...

И далее:

Я спешу на подвиг ратный...

В другом стихотворении «Расправа» встречаются строки:

Вновь на позор его влекли,  
 Пытали, резали и жгли  
 Освирепевшие тираны...

Вся словесная оснастка этих стихов отдает гражданской поэзией народнических, а то и декабристских времен.

Но сквозь густой налет традиционной общедемократической идеологии и фразеологии то тут, то там прорываются новые, пролетарские классовые мотивы. Сквозь пререкветых лохмотьев народнической традиции виднеются широкие плечи и могучие бицепсы нового класса — гегемона революции. Часто поэт поет «гимн старинный», но этот гимн звучит «на новый лад».

Перевод «Интернационала», например, уже никак не может быть отнесен к общедемократической поэзии. Это — отчетливый гимн международ-

ной пролетарской революции. Кстати, текст этого перевода, напечатанный в книжке «Д—на», несколько разнится с текстом, который обычно поют. В строчке «весь мир насилья мы разроем» обыкновенно слово «разроем» заменяют более распространенным и обычным словом «разрушим». Последнее четверостишие гимна в книжке «Д—на» выглядело так:

И если гром великий грянет  
Над этой сворой палачей,  
Так разве солнце перестанет  
Сиять огнем своих лучей?..

В популярной некогда «Майской песни» Д-на попадаются такие строки:

Словно по взмаху рабочей руки  
Смолкнут машины, котлы и станки..

Это — тоже строки, рожденные в атмосфере классовой борьбы пролетариата. Между прочим, строки эти явственно перекликаются со знаменитой «Союзной песней», написанной некогда Георгом Гервегом для ласселевского Всеобщего Немецкого Рабочего Союза.

Эта пролетарская струя, пробиваясь в творчестве Коца, наиболее полное, законченное и яркое выражение нашла себе в «Песни пролетариев» — одном из самых замечательных произведений ранней пролетарской поэзии. По словам Левицкой, Коц назвал это стихотворение переложением «Коммунистического манифеста». Эта характеристика близка к истине. В основе песни действительно лежат идеи и образы великого дитища Маркса и Энгельса. Заключительный лозунг «Манифеста», обласпавший впоследствии Минского на искусственные и неудачные стихи, звучит в песне «Данина» убежденно и впечатляюще:

Пролетарии всех стран,  
Соединяйтесь в дружный стан!

Этот девиз в первые прозвучал в русской поэзии.

В сжатых, чеканных строфах выражена диалектика гибели капитализма, подготавливающего силы, призванные его уничтожить:

Силен наш враг — буржуазия!  
Но вслед за ней на страшный суд,  
Как неизбежная стихия,  
Бе могильщнки идут.  
Она сама рукой беспечной  
Кует тот меч, которым мы,  
Низвергнув власть позорной тьмы,  
Проложим путь к свободе вечной..

Не устршит нас бой суровый...  
Нарушив ваш кровавый пир,  
Мы потеряем лишь... оковы,

Но заводем целый мир!  
Дрожите ж, жалкие тираны!  
Уже подхвачен этот зов!  
Под красным знаменем борцов  
Уж поднимаются все страны...

Совершенно неоспоримо, что эти строфы проникнуты диалектически — материалистическим мировоззрением рабочего класса. Творческий метод диалектического материализма рождается одновременно с самой пролетарской литературой, как ее родовой признак, хотя, конечно, на протяжении десятилетий выступает в неразработанном, незавершенном, несовершенном виде.

К идеям «Коммунистического манифеста» автор «Песни пролетариев» присоединяет указание на новое обстоятельство, принесенное новой эпохой:

В стране, подавленной бесправьем,  
Вам слышно ль — близок ураган!  
То в смертный бой с самодержавьем  
Вступает русский великан...

Два потока, слившись, образовали пролетарскую поэзию. Поэты-рабочие, начавшие с оплакивания былой собственнической жизни и с бессильных жалоб, постепенно прониклись классовым сознанием и стали классовыми поэтами пролетариата. Поэты-интеллигенты, начавшие с индивидуалистических или расплывчато-демократических мотивов, прониклись идеями научного социализма и тоже стали классовыми поэтами пролетариата. Коц — представитель второй группы. Не даром в его книжке мы встречаем достаточно четкое образное выражение пролетарского мировоззрения, но не встречаем совершенно мотивов рабочего быта, так обильно представленных в поэзии Шкулева, Нечаева, Ноздрина, Самобытника и др.

Новое идейное содержание молодого класса не сразу находит себе адекватную поэтическую форму. Долгое время бросается в глаза разрыв, диссонанс между новыми идеями и ветхим традиционным оформлением. Плеханов давно отметил и объяснил эту фатальную беду раннего искусства восходящих классов. Коц не избежал общей участи — да и не мог избежать.

На плечах Шкулева и Нечаева, Коца и Тарасова поднялись Самобытник и Демьян Бедный, Герасимов и Гастев, в свою очередь проложившие дорогу Безыменскому и Светлову.

Будем же помнить зачинателей славного и нелегкого пути пролетарской поэзии.

# Литература и искусство

1. Арк. ГЛАГОЛЕВ. Альманах «Земля и фабрика». — 2. П. МАРКОВ. Очерки современного театра. — 3. Евг. ЛАНН. Пробег по современной американской литературе.

## 1. АЛЬМАНАХ „ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА“<sup>1)</sup>

Арк. Глаголев

Общественно-художественное значение сборников Зифовского альманаха определяется главным образом теми большими «заглавными» вещами (преимущественно романами), кои составляют их основное содержание, основной их стержень. Такими в последних выпусках альманаха «Океан» П. Низового, «Женщина» Г. Никифорова, «Поперек поля» М. Иринина, «Битва» Вл. Лидина.

Альманах «ЗИФ» приобрел — и без основания — репутацию серьезной художественной литературы. Это заставляет нас отнестись к нему с должными требованиями. Надо сразу подчеркнуть, что основной материал данных книг весьма неравноценен. На ряду с общественно-значимыми вещами (роман Никифорова и др.) некоторые стержневые произведения (Низового, Иринина) обнаруживают нежелательные тенденции. В литературном развитии альманаха приходится констатировать некоторые «перебои».

\*\*\*

Наиболее «весомое» произведение в данных книгах — «Женщина» Никифорова.

Георгий Никифоров — писатель весьма интересный, с своеобразным художественным лицом, прекрасно знающий широкие рабочие массы, всегда затрагивающий в своих произведениях общественно актуальные проблемы. Передовой рабочий читатель знает и любит Никифорова. Не оставит он без внимания и новый роман Г. Никифорова. Заглавие последнего — «Женщина» — носит несколько неточный характер. Роман посвящен не столько «женщине», сколько проблеме интеллигенции. Его тема — перерождение дочери буржуазного интеллигента, искренний переход ее на сторону пролетарской революции.

Хотя тема — интеллигенция и революция — уже многократно служила предметом повествования наших писателей, хотя у нас сейчас на очереди стоит ряд гораздо более существенных тем, чем отображение процесса первоначального приятия интеллигенцией революции, роман Никифорова все же тематически представляет интерес, ибо на ряду с уже работающими на революции интеллигентами у нас еще действительно имеются группки интеллигентов, еще только переходящие (в настоящее время) на сторону пролетариата, даже и из числа интеллигентски-мелкобуржуазной молодежи.

Перерождение молодой «героини» своего романа Никифоров показывает довольно убедительно и обстоятельно. Образ Файки вырисовывается перед нами на определенном социальном фоне. Мы видим не только одиночную фигуру Файки, но и ту железнодорожную мастерскую, со всей ее текущей, «будничной», конкретной обстановкой, где переплавляется сознание дочери инженера Покровского.

При помощи ряда дополнительных образов автор художественно детализирует и конкретизирует свое изображение общественного поведения Файки.

Многие из отдельных дополнительных действующих лиц вырастают в образы самостоятельного художественного значения; таков, например, образ старого рабочего Брякина. Как почти всегда у Г. Никифорова, этот образ представителя старой рабочей производственной гвардии и в данном случае художественно весьма выразителен. Познакомиться с Брякиным нашему молодяку будет безынтересно.

Роман Г. Никифорова, однако, не лишен и некоторых литературно-художественных недостатков. Одним из них является образ любовницы инженера Покровского, некоей Соньчик, вопло-

<sup>1)</sup> Альманах «Земля и Фабрика». Изд. «ЗИФ». 1929—1930. Выпуски: 5 — стр. 360; 6 — стр. 348; 7 — стр. 271; 8 — стр. 413; 9 — стр. 233. Цена каждой книги 2 р. 30 к.

щающей, по замыслу автора, отрицательный тип сугубо-буржуазной женщины. Принципиально введение в роман подобного персонажа может быть оправдано: этой фигурой автор хотел более рельефно оттенить идейно-психологическую специфику своей центральной героини; Сосьчик нужна как контраст по отношению к Файке. К сожалению, эта вспомогательная деталь, в отличие от других, литературно подана так, что она только портит роман, оставляя на его страницах пятно банальной литературщины. Не в обиду будь сказано тов. Никифорову, Сосьчик кажется прямо списанной с «героинь» Вербицкой. Для того, чтобы показать буржуазно-мещанскую природу Сосьчик, вовсе не обязательно «обнажать» эту Сосьчик «до пояса». «Блестящее тело молодой женщины» и зное количество ее «любовников» в числе всего прочего свидетельствуют также и о чрезвычайной примитивности литературного выявления социального характера Сосьчик. Растянуто-нудно-банальные разговоры Сосьчик с Файкой о «женской правде», «красивых женщинах» и т. п., поданные совершенно в стиле Вербицкой, художественно дискредитируют многие страницы первой части романа.

Стремясь к художественному углублению образа Файки, писатель нередко подменяет таковое весьма примитивным «психологизмом», принимающим характер опять-таки вымученной и скучной литературщины. В изображении любовного увлечения Файки и молодого комсомольца Федора дано слишком много художественно-трафаретных «сложных переживаний». В Никифоровском изображении сердечных отношений Файки к Федору проявляются самые затасканные шаблоны дореволюционной беллетристики. Файкины мысли о «невинном, младенческом лице» своего ровесника Федора и своей «игре» с ним гораздо более шли бы к какой-нибудь «бальзаковолетней» «бель-фам» довоенного образца, ведущей любовную «интригу» с «застенчивым» «младенцем», чем к юной девушке, в натуре которой, как хочет нас убедить автор, так много было элементов именно подлинной юности, сделавших возможным идейно-психологический переход Файки на сторону пролетариата. Психологически-образная литературщина в изображении любовной «игры» Файки с Федором — существенный художественный дефект «Женщины».

Примитивный психологизм, черты достоевичины, ненужно преувеличенного (не за счет художественного качества, а лишь только количества) «психологизма», воспринимаемые сейчас как чистейший литературный шаблон,

присутствуют в обрисовке образа старого партийца Шаронова и его взаимоотношений все с той же Файкой. Многие и многие раздумья Шаронова излишне «психологичны». Сейчас для читателя совсем не «звучат» такие самопризнания Шаронова, как, например: «...До того я дошел в мыслях о себе, ног не могу отодрать. Волоку ноги по земле от стыда... Мне бросить-то стыдно Файку, а итти с ней еще стыднее. Никогда я так не мучился от самого себя». Никаких основательных причин для такого «мучительства» и «стыдливости» между тем у Шаронова абсолютно нет. Читателю это «мучительство» Шаронова кажется совершенно непонятным и воспринимается лишь как литературная дань Никифорова ложно, примитивно понимаемому писателем «психологизму».

Тов. Никифоров совершенно напрасно на «жилплощадь пролетария» Шаронова впустил трафаретнейшего «книжного интеллигента», наполненного примитивнейшей «психологически-образной» литературщиной. Брякин совершенно прав, когда протестует против этого «умственного сочинительства» Шаронова, хорошо понимая весь его внешний, искусственный характер, хорошо ощущая, как это «мучительство» совершенно не вяжется с подлинным образом Шаронова в его целом. Напрасно тов. Никифоров не доверился Брякину. «Психологизм» Шаронова (как и некоторые другие «психологические» места в романе) совершенно не вяжется с общей художественно-социальной логикой как образа Шаронова, так и всего романа в его целом (романа по своему жанру социального, а не «психологического» в традиционном-примитивном понимании последнего термина).

Подлинное социально-психологическое углубление, истинная социально-эстетическая конкретизация художественных образов в свете современных задач стилового развития нашей художественной литературы никак не могут сводиться к квази-психологическому «мучительству» типа шароновского. Наши беллетристы достаточно уже нагружали своих литературных героев подобным «мучительством», и сейчас надо всячески избегать этих «психологических» шаблонов особенно таким писателям, глубоко социальным, как Г. Никифоров.

Подобные шаблоны примитивного «психологизма» портят и другую вещь, общественно весьма небезынтересную — «Оползень» С. Левмана. Один из центральных образов этой повести — секретарь заводской комсомольской ячейки Павел Чугунов — представляет актуальный общественный интерес. Это характернейший представитель

того рода общественников, которые весьма склонны к «головокружению от успехов», которые весьма склонны не замечать, что их стремление «обогнать» партию, их ультра-«левые» поступки объективно ведут к самым правым последствиям и делам. Автор подает фигуру Павла с надлежащим общественно-художественным критицизмом. Он верно, напр., подчеркивает, что «лево-уклонистская «теорийка» Павла (со ставкой на «сверхчеловека») объективно совершенно смыкается с буржуазными «теориями» представленно-го в повести инженера Дубровского. Общественно-политическое разоблачение Чугуновской идеологии имело бы, однако, еще более художественно-выразительный и литературно-выпуклый характер, если бы облик одного из противопоставляемых Павлу Чугуну действующих лиц повести, старого партийца Тураева, не был излишне «психологически-образно» окрашен. Шаблоны примитивного психологизма, наблюдавшиеся нами в романе Никифорова, в еще большей степени присутствуют в повести Левмана (в изобретении Тураева). В облике Тураева, как и в Никифоровском Шаронове, слишком много рефлексии, самоанализа, «растерянных» взглядов, «одиночества» и т. п. В изображении любви Тураева к Долецкой особенно много этого ненужного, тягучего и нудного квази-психологизма. Скудным шаблоном веет от размышлений Тураева о своем неожиданном «безразличии к страстным письмам женщины, которую он так любил и, может быть, вопреки всему и самому себе все еще любит?» и т. п. Подобное «психологизирование» сейчас начинается уже «восприниматься» как штамп.

Между прочим, следует заметить, что и сюжетный мотив — любовь старого партийца и молодой комсомолки — также начинает сейчас ощущаться как трафарет. Достаточно указать, что в одних только разбираемых сборниках Зифовского альманаха он повторяется три раза (у Никифорова, Левмана и в песне Крутикова «Стержень»).

Усиленное «психологизирование», не без чертчек некоей «достоевички», наблюдается и в рассказе С. Вашенцева «Совесть».

Для успешной борьбы с литературным схематизмом, формализмом, беспринципным литературным описательством и всяческим иным упрощенчеством в области искусства, сводящим последнее к бескровной абстракции, к простому примитиву, в числе прочего требуется и преодоление психологистической методики, приводящей сейчас не к социально-художественной конкретизации литературных произведений, а лишь только к трафарету

Ряд таких произведений, как, например, «коммуна имени Яковлева» Александра Макарова, пьеса (из жизни совхоза) Д. Крутикова «Стержень», «Стихи о совхозе» А. Штейнберга, даже «Битва» Вл. Лидина и др. свидетельствуют о стремлении альманаха итти в ногу с нашей современной жизнью. Однако, эти вещи больше приходится расценивать как знак хорошего стремления, далеко еще не получившего адекватного художественного выражения. Авторы этих вещей художественно социологизируют еще довольно слабо. Так, например, у А. Макарова жизнь совхоза служит только фоном для зарисовки любовной истории одного из действующих лиц. Лидина более всего занимается отыскание всяких «колоритных» и «красочных» «обломков империи». Классовая борьба, происходящая в наши дни, куда более серьезнее и сложнее, чем лидинская «битва» с анекдотическими человеческими «раритетами» типа «благочестивого» Паши, отставного археолога Молодчагина, отставного, «принципиально» обовшившегося «князя», и других «отставных». Писать двухсотдвадцатистраничную повесть для разоблачения подобных индивидуумов (неоднократно давно разоблаченных не только жизнью, но и нашими беллетристами, — даже Гумилевский, напр., это делал еще несколько лет назад) — это значит стрелять из пушек даже не по воробьям, а — в пустое пространство. Будем надеяться, что в следующих выпусках альманаха мы увидим и более социально-углубленную проработку этой тематики.

\* \* \*  
По-иному приходится расценивать «Океан» П. Низового и «Поперек поля» М. Иринина — центральные вещи пятого, седьмого и восьмого выпусков альманаха. Со стороны своего художественного мастерства, талантливости они — особенно «Океан» Низового — принадлежат к числу сильнейших вещей в ряду разбираемых. Особый подход к ним диктуется их идеологической спецификой, заставляющей нас отнести к этим произведениям весьма критически.

Главный герой «Океана» — архангельский помор-промышленник Вильям — ярчайшее олицетворение индивидуалистической стихии. Его северная угрюмость и нелюдимость, его вражда к городу, к обществу, его одиночество, его величайший эгоцентризм — это не только знак его «этнографической», «северной» природы, но и знак его социального существа. Вильям не только внешне, географически, отрывается от всего мира, но и внутренне, социально-наглухо отгораживает себя от всех. Вильяму не нужна жизнь, уже кем-то до него организованная, ему нужна



«пустыня», «голый, мертвый берег», где бы он смог единолично и полновластно создать новую жизнь, новую «расу», новый «народ», став его единственным родоначальником и повелителем.

И, весь объятый пафосом колонизаторского строительства, с несокрушимой верой в себя и в правоту своих замыслов, Вильям, как повествует П. Низовой, блестяще осуществляет такие. Он становится родоначальником, отцом большого семейства, и крепким, богатым промышленником-собственником. «Вильям упорным каждодневным трудом своим округлял хозяйство». «...Вильяму нельзя роптать на судьбу: промысел рыбный и звериный уже четвертый год идет отлично. Каждую весну и осень он скупщику-фактористу сдает на порядочную сумму товару и забирает у него все необходимое для хозяйства». Вильям крепко богатает, превращаясь в зажиточного колониста—с собственниками культурного «европейского» типа. «У него уже составила приличная библиотека... Появился граммофон»...

Жизнь Вильямовского семейства подчас прямо наполнена своеобразной мещанско-буржуазной «идиллией», «мещанским счастьем». Свидетельством сего может служить, например, жанровая сцена, данная в главе 13 части I романа (стр. 133 V книги альманаха): «После того как желудок наполнен и спешной работы не предвидится, можно и отдохнуть. Вильям идет в соседнюю комнату и располагается на широкой двуспальной кровати... Покончив с уборкой посуды, Вера проверяет у двоих старших (детей) выученное за день. Потом начинается урок музыки... Сам отец плохо играет на пианино. Зато любит в свободное время побренчать на гитаре; при хорошем настроении иногда запоет вполголоса морскую или рыбацкую песню. Ребятишки окружают его. Довольна и Вера: слушает, улыбаясь; тих и радостен спокойный час отдыха... Вильям настолько уверен в правоте своего жизненного пути, настолько монолитен, настолько предан своей индивидуалистически-колонизаторской «миссии», что и в своих детях он видит только продолжателей таковой. Он стремится дать им строго выдержанное в духе своей идеологии воспитание». Двадцать пять лет удачной, счастливой колонизаторской жизни окончательно утвердили безмерный индивидуализм Вильяма, чувствовавшего себя уже совершенным полноправным и абсолютным «хозяином побережья». «Здесь каждая четверть земли полита, моим потом. Здесь каждый камень может сказать о моем сверхчеловеческом усилии в борьбе

за существование, за утверждение своей личности. Хозяин здесь—я!.. Здесь, здесь—только я и моя семья...» (Подчеркнуто мною—Арк. Г.).

Революция нарушает покой Вильямовского царства. Она отнимает у Вильяма его старших сыновей. Они, побывавшие на фронте гражданской войны, начинают осознавать, как Дмитрий, или еще только ощущать, как Андрей, общественную узость и ограниченность отцовских замыслов и идеалов. Дмитрий, ставший большевиком, наиболее ясно понимает внутреннюю враждебность отца к революции, он порывает связь с ним, уходя строить иную жизнь. Андрей гораздо более колеблется: «раздвоенный», он переживает мучительную драму, склоняясь то на сторону отца, то на сторону Дмитрия. Вильям остается один, с твердым, однако, намерением продолжать неизменно свое дело, свою колонизаторскую «миссию».

Образ Вильяма в целом не является совершенно единичным в нашей новейшей художественной литературе. Достаточно, например, вспомнить Артамоновых М. Горького и Андроновых из романа А. Яковлева «Человек и пустыня» и др. Все это—социально-родственные явления. Индивидуалистически-приобретательские, собственные тенденции психоидеологии Вильяма социально родственны психоидеологии первоначального капиталистического накопления, представителями которого являются Андроновы и Артамоновы. К произведению П. Низовой вполне применимо наименование романа А. Яковлева «Человек и пустыня». У Низовой в «Океане» та же тема. Было бы, разумеется, социологически неверно отождествлять Вильяма с Андроновыми и Артамоновыми. Он только зародыш последних. В обстановке общества, покоящегося на частнособственническом хозяйстве, Андроновым является всякий мелкобуржуазный собственник, стремящийся перешагнуть границы голодного прозябания в сторону «человеческой жизни». Вильямы не только потенциально близки Андроновым. На страницах романа Низовой такого социального превращения и реализации социальных возможностей, заложенных в Вильяме, как определенном общественном типе, не происходит. Но, тем не менее, важно помнить, что именно из среды Вильямов рождались пионеры первоначального капиталистического накопления, превращавшиеся в Андроновых и Артамоновых.

К критической оценке романа Низовой, нас вызывает, однако, не самый его материал. Вильямы могут служить

объектом художественного внимания общественно - передового художника, более того, они представляют собой весьма большой интерес для нас: проблема середняка-индивидуала относится к числу актуальных. Но, поставив в своем романе эту проблему, Низовой уклонился от окончательного, положительного художественного разрешения ее. В этом — корни нашей неудовлетворенности «Океаном», корни нашего критического отношения к роману.

Ярко и образно показав нам тип середняка-индивидуала, со всеми характерными чертами его психоидеологии, Низовой не проявил надлежащей художественной активности. Писатель оказался слишком плененным и замороженным волюнтаристической мощью личности Вильяма, энергией его индивидуального героизма, мощным размахом его энтузиазма. Во всем этом, действительно, много своеобразной «красоты». Строительный энтузиазм и трудовой героизм Вильяма — несомненные ценности. Однако, все эти ценности, бывшие бесспорными в обстановке дореволюционной России, сейчас нуждаются в тщательном пересмотре. В эпоху социальной революции на деревне мы ставим вопрос о направлении энтузиазма, о характере самих методов строительства. Индивидуалистические методы жизненного строительства Вильяма не являются теми методами, какими строится новая жизнь, новая деревня. Трудовой героизм и строительный пафос индивидуалов Вильямов нуждаются в переводе на иные социальные рельсы. П. Низовой же индивидуалистически-обывательские тенденции Вильяма осуждает и разоблачает крайне невяжко, нечетко, слабо. Художественная аналогия Вильяма в романе П. Низовой решительно соперничает с художественным критицизмом романиста в отношении к своему герою. Потенциальная андроновщина — кулацкий душок — в Вильяме не подвергнута достаточно сильному художественному обстрелу. Революция, перерождение и уход старших детей объективно несколько не меняют психоидеологии и поведения Вильяма. Революция, по существу, проходит где-то в стороне от основного действия романа. Большевик Дмитрий по отношению к отцу держится весьма пассивно, он не пытается перевоспитать отца, всецело предоставляя последнего самому себе. Авторский критицизм по отношению к Вильяму, выражаемый образом Дмитрия, крайне недостаточен. Вильям остается прежним непреклонным индивидуалистом, гордым, непоколебленным «нидшаанцем». Он не видит никаких объектив-

ных препятствий — Низовой художественно затуманивает их — для продолжения своей прежней колонизаторской «миссии». «Надо приниматься за работу». «Верно, справимся... Начнем снова. Карты смешаны, игру начинаем сызнова...» Внутренне - художественные критические указания автора на социальную невозможность продолжения Вильямом своей прежней «игры» крайне нечетки, бледны, невыразительны. Мы не можем сказать, что П. Низовой смотрит на Вильяма исключительно глазами Вильяма, однако, известного общественно - художественного «нейтралитета» в отношении Низовой к своему герою скрыть невозможно. Належащий критицизм и социологизм в «Океане» отсутствуют.

Тенденции, пронизывающие роман Низовой, — неопределенная середняцкая психоидеология, художественное ударение на сильную обособленную от широких крестьянских масс личность, художественная замороженность индивидуалистическим мелкобуржуазным мужицким волюнтаризмом, — проявляются также, например, в большой повести Мих. Иренина «Поперек поля» и в рассказе Н. Никандрова «Красная рыба».

В центре повествования М. Иренина, посвященного деревне, стоят буйные, своевольные, стихийно-могучие, своеобразные личности Оленки и ее свекра Матвея Козлова.

Матвей Козлов — человек такого же социального склада, как и Вильям П. Низового. Матвей — образ крепкого, зажиточного деревенского «богача» («почтен был род, железом крыт дом, и туга Матвеева мощна»), с огромной верой в «силу мужицкой мощи своей», с огромной хозяйственной энергией («сулел мужик с головой в хозяйство: вставал раньше всех, ложился всех позже»). Замыслы Матвея шли далеко, — отдавая сына своего в реальное училище, мечтал Матвей увидеть в нем не менее как одного из Ломоносовых. Стихийная сила, огромная воля, ярчайший индивидуализм проявляются в каждом жесте Матвея. Такая же яркая индивидуальность, наполненная стихийным бунтарством, Оленка, жена Матвеевского сына, ставшая любовницей Козлова - отца. Оленка и Матвей — достойная друг друга пара, яркое своеобразие которой резко подчеркивается полной бесцветностью Матвеевского сына, мужа Оленки — Егора. В ряде сцен (свадьба Егора, косяба, и др.) автор с великодушной изобразительностью и выразительностью демонстрирует перед нами стихийную мощь и красоту этой пары, протывостоящую своевольному гордым вызовом всем исконным заветам старой деревенской жизни Худо-

жественное увлечение автора этой парой, особенно Оленкой, — налицо. Как же разрешает М. Ирнин жизненные судьбы Матвея и «лихой» Оленки?

Действие в повести Иринина происходит не только до революции, но и после нее. Однако, не революцией сражен Матвей. Революцию он встретил с «умом»: «вольным почином» отпер двойные двери кирпичного своего лабаза, отмерил себе не ахти какую толику хлеба, чтобы хватило до нового, а остальные, многие не считанные гуды отказал на пропитание бесхлебных саначинцев», за это «оставили саначинцы за Матвеем давний его почет и на буйных мирских сходках не грозили ему, как многим, красным пегухом и смертными кольями» (Подчеркнуто мною. — Арк. Г.) Конец Матвея носит случайный, чисто стихийный характер. Матвея убивают отцы сыновей-дезертиров (из Красной армии), выданных властям Матвеем, гневные плателщики за пойманных сыновей». Социальный момент в художественной мотивировке убийства Матвея совершенно отсутствует. Конец Матвея так, как он дан у М. Иринина, социально Матвея не разоблачает, но, наоборот, даже не свободен от черт некоторой объективно художественной апологии образа Матвея. «Матвеево спокойствие», гордый отказ от какого-либо бегства от опасности и от сопротивления («он ни разу не поднял руки, — его били беспрепятственно») и т. п. — лишь только еще один штрих — и при этом художественно весьма выразительный — великой внутренней мощи личности Матвея. Подобно опять-таки Вильяму П. Низового Матвей сходит со страниц повести М. Иринина объективно художественно — непобежденным. Социально неопределенными предстают перед нами жизненные пути и судьбы Оленки. После смерти Матвея «пошла каруселью непрожитая Оленкина жизнь». Повальный пошел брод — гревовой бабье самосоженье, слепой бабий бунт, неведомо против кого и против чего направленный. В конце концов Оленкин бунт как-будто бы некоторым образом оформляется. Оленка, ее одинокое жилище становится таким центром, способствующим дифференциации Саначина на два лагеря — молодежи и стариков. Оленка стихийно перерождается, сменяя «брод» на крепкую дружбу с саначинскими комсомольцами. Картина стихийного, анархического, индивидуалистического «буцта» Оленки против тосного деревенского жития сменяется в конце повести картиной — очевидно уже более определенной — коллективной борьбы молодежи со «ста-

рками». Однако, несмотря на то, что в одном деревенском лагере оказываются комсомольцы, а в другом — «богачи» типа «белобородого Феокиста Колосова», — метод художественного изображения этой борьбы М. Ирниным все же нельзя признать социологически четким, ясным, вполне верным.

Методика изображения этой борьбы детей и отцов у Иринина в сильнейшей степени «разбавлена» биологизмом. Проблема «детей» и «отцов» художественно подается и разрабатывается на столько в социальном разрезе — как классовая борьба в деревне, сколько — как стихийная борьба молодости, вообще, биологически молодых сил и старости, вообще же, старости, стихийно завидующей нерастроченной силе детей.

Символ «неистово молодеющей земли», необычайного цветения природы, «обезумевшей» «от щедрых земных соков», образ, как сказали бы раньше, «языческой», «дионисианской», «вакхической» стихии, враждебной «старикам» («земля не узнавала их, и они не узнавали землю») и идущей «заодно» с «сыновьями», — чрезвычайно характерно оттеняет биологический уклон автора «Поперек поля» в художественной трактовке данной проблемы. Об окончательных судьбах Оленки и результатах борьбы саначинских «отцов и детей» Ирнин умалчивает.

Культ сильной личности, опять-таки представляющей частно — собственническое хозяйство, мы видим и в бо льшом рассказе Н. Никандрова «Красная рыба» в лице центрального его образа «атамана» некоей рыбацкой «артели». Этот «атаман» (подлинно атаман) — прямой родственник Вильяма П. Низового.

Художественные произведения, посвященные проблеме середняка-единоличника, проблеме мужицкого мелкобуржуазного индивидуализма и т. п., каковыми в данном альманахе, повторяем, являются «Океан» Низового и «Поперек поля» Иринина, не должны являться простым литературным фактом, пассивно, некритически регистрирующим стремления и чаяния «середняка», но должны быть действительным общественным фактором, активно помогающим середняку изживать индивидуалистические — собственнические инстинкты, активно способствующим превращению середняка — одиноличника в завтрашнего колхозника, словом, эти художественные произведения должны бороться за ту социальную переделку середняка, которая в наши дни проводится революционным крестьянским авангардом в союзе с пролетариатом.

## 2. ОЧЕ КИ СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРА

### II Марков

#### «Олимпиада национальных театров»

##### I

В июне-июле на специально организованной Олимпиаде в Москве восемнадцать национальных театров показывали свои спектакли. Олимпиада приняла внушительные размеры и вылилась в событие беспорного культурно-политического значения. Количество участников достигло 1.000 человек. Помимо ленинградского Трама и московского театра им. Вахтангова, в Олимпиаде участвовали: Госет белорусский, 1-й государственный белорусский театр, украинские театры — Веселый Пролетар и Краснозаводский, грузинский театр им. Руставели (вне Олимпиады играл 2-й госгосет Грузии под упр. Марджанова), театры армянский, туркский, башкирский, туркменский, марийский, татарская драма, татарская опера, узбекская драма, узбекский мюзтеатр. Было сыграно около 50 пьес (образцы национальной драматургии, переработки классиков и русской советской драматургии). Олимпиада захватила также и смежные области: кино демонстрировало 30 фильм нацироизводства: двадцать музыкальных и певческих ансамблей дали 10 этнографических концертов. Богатство и разнообразие спектаклей — вне сомнения. Оно не случайно. Освобожденные творчески силы входящих в Советский Союз народностей наглядно демонстрировали свои возможности. Политика Союза получила подтверждение с новой стороны — со стороны искусства. Формула «пролетарского по содержанию, национального по форме» искусства наполнилась содержанием в практической работе. Как бы ни были различны по идеологической силе и по художественному качеству сыгранные представления, невозможно не констатировать быстрого роста страны и не восхищаться его темпом. В Олимпиаде участвовали национальности большого культурного развития, как грузины, украинцы, армяне, белоруссы, на ряду с марийцами, у которых тринадцать лет назад был лишь один человек с высшим образованием и которые на Олимпиаде показали театр одного года от роду. Итоги Олимпиады становятся предметом пристального рассмотрения. Олимпиада — отправная точка для изучения национализма, и марксистская эстетика получит для вопросов о «национальном искусстве» и «коммунистической культуре», об «этнографии», и ее взаимоотношении с «национальными», о связи «нацтеатров» со «столбовой дорогой советского театра» и «культурным на-

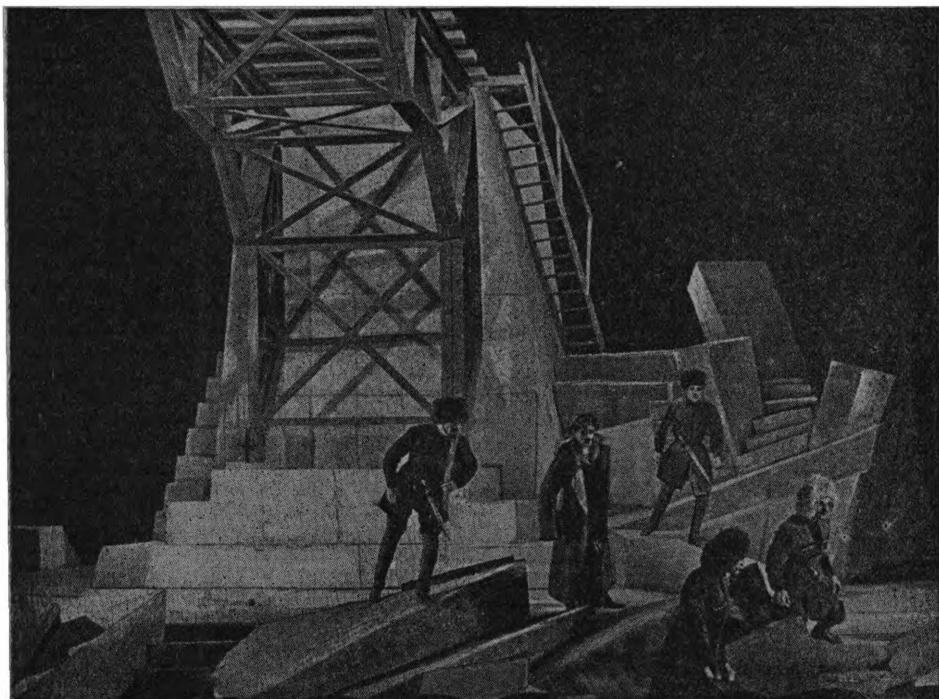
следием прошлого» — богатый материал в часто противоречивой, полной успехов и неудач, живой и талантливой работе театров.

Многие из них («Анзор» в театре им. Руставели, «Овечий источник» в Белгосете) идут в уровень с достижениями центральных московских театров, обладающих и большими техническими возможностями, и большей театральной культурой. Работу нацтеатров нельзя рассматривать вне взаимной связи с работой всех театров Союза. Ясно намечаются их общие тенденции при ярком своеобразии каждого в отдельности. Отчетливо осознанная общественно-политическая задача искусства объединяет все гастролировавшие в Москве коллективы. Их руководители и участники чувствуют себя не только художниками сцены, но и строителями социализма, не только творцами нацискусства, но и проводниками коммунистической культуры. Украинский Краснозаводский театр определяет свою целевую установку как «активное участие в общем социалистическом строительстве, ознакомление и вовлечение рабочих масс в бурный процесс национально-культурного строительства на Украине, диалектическое раскрытие явленного, образов, проблем нашей действительности, а также прошлых исторических событий с классово-пролетарской точки зрения». Основатель Белгосета — Рафальский — утверждает, что «театр должен быть утилитарен и активно, действительно служить интересам нашего строительства. Он должен агитировать, пропагандировать, врываться в гущу действительности, отмечая все, что мешает нашему росту и продвижению вперед, и утверждая все, что помогает победе социализма». «Нацтеатр, как и нацкультура в целом, не является целью, а только способом интернационализировать массы». Руководитель театра им. Руставели Ахметели заявляет о подчинении театра «задачам социалистической культурной революции». И хотя бы и в этих декларациях звучали отголоски отброшенной теории «социального заказа» — как они звучат у Ахметели — и хотя бы порою теоретические формулировки не достигали нужной отчетливости, тем не менее основная их направленность ясна.

Вторая не менее существенная черта — количественный рост нацтеатров Украины, знавшая до революции единственный опыт серьезного «стабильного» театра (Садовского), а в большинстве располагавшая этнографическими труппами с рядом блестящих дарований, в настоящее время насчитывает 4 госу-

дарственных оперных, 8 государственных драматических, более 15 передвижных, рабоче-селянских театров. Татарская республика обладает театрами в Казани, Астрахани, Оренбурге, Уфе и сотнями рабочих и крестьянских самодеятельных кружков. Количественный рост в высших проявлениях театрального искусства переходит в борьбу направлений. На Украине «Березиль» Курбаса, «лабораторно-экспериментальным» путем идущего к единой национально-революционной форме», оспаривает реалистические методы театра им.

театры с еще большей остротой, чем РСФСР, ощущают проблему кадров. Немногочисленные старые кадры актеров в подавляющем большинстве стоят в стороне от большой театральной культуры, дальше, чем актеры господствовавшей национальности. Отдельные исключения не идут в счет — они доказывали творческие возможности, а не общий культурный уровень на театров. Актеры приучались к приемам «национал-этнографического» или «провинциально-буржуазного» театра и, естественно, не удовлетворяют задачам, ко-



Грузинский гос. театр им. Руставели. Сцена из пьесы «Анзор» («Бронепоезд»).

Франка, под руководством Гната Юры. В Грузии Сандро Ахметели «театрализует» особенности грузинского слова и движения, между тем как Марджанов ведет театр по этапам общеевропейской эволюции. На ряду с 1-м Белорусским театром работает 2-й Белорусский, созданный Смышляевым и некоторо время экспериментировавший над театрализацией обрядов. Белгосет противопоставляет себя как театр «содержания» и «драматический» по преимуществу московскому Госету, которого обвиняет в преобладании формально-музыкальных элементов.

Быстрый темп развития захватывает педагогические учреждения, а в методах работы с организованным зрителем театры идут в уровень с РСФСР. Нац-

торые провозглашены теперь руководителями театров. Возникшие в республиках студии взялись за воспитание и пополнение мастеров театра. Национальности, не имевшие ранее театров (марийцы), встали на путь органического рождения театра из студий, видя в театре единый коллектив, спаянный общностью мировоззрения и приемов. Этот путь принят большинством театров или как основной, или как подсобный. Белоруссы создали в 1-м Гостеатре актерское ядро из любительских театральных кружков, пополнив его, с одной стороны, профессиональными актерами, с другой — молодыми силами из рабочих кружков. Одновременно были организованы в Москве две студии (белорусская и еврейская), вырос-

шие в интересные и смелые театры. В настоящее время студии-школы, многие из которых были организационно связаны с Москвой, обратились в самостоятельные техникумы, состав которых комплектуется из трудящихся масс (в башкирском техникуме состав учащихся почти на 100 проц. пролетарский и на 80 проц. комсомольский).

Растет и укрепляется связь со зрителем. Украина насчитывает в своих театрах до 80 проц. организованного зрителя. Спектакли 1-го Белгосттеатра за месяц вперед закупаются предприятиями и профсоюзами. Башкиры несут шефство над деревней, красноармейскими частями и инструктируют самодеятельные кружки. Завоеывая свои достижения, надтеатры преодолевают тяжелое наследство прошлого: половину принятых в тюркский теа-техникум учащихся нужно было обучить грамоте. Еще сильнее и резче противодействие театру, который разрушает установленные обычаи и становится могучим средством культурной пропаганды со стороны враждебных классовых сил. Недавно две узбекских артистки — Нурым и Халча — были убиты лишь за то, что сняли паранджу и пошли на сцену. Духовенство охраняет религиозные зрелища, противопоставляя их поступательному ходу нацискуства и подменяя ими театр. Строительство театра обратилось в фронт классовой борьбы. Различные классово-общественного окружения и неравномерность культурного уровня определяют различие каждого из театров. Имея общие тенденции, они идут своеобразными ходами. Без признания своеобразия этапов, на которых они находятся, невозможно понять их естественную противоречивую эволюцию. Классовое противодействие принимает различные формы — от активной и явной борьбы, подобной убийству артисток, до скрытого и тонкого воздействия на новое мощное искусство. Художественные нути театров зачастую спорны, а порою ошибочны. Это не может затемнить огромного культурного значения их утверждения себя как факта, как явления. И чем великопнее их победы, тем строже и доброжелательнее должен быть анализ того прекрасного художественного события, каким была первая Всесоюзная Олимпиада нацтеатров.

## II

Украинцы, армяне, белоруссы, грузины, евреи имели до Октября в той или иной степени развитой театр. Специфическое положение театров определяло их эстетические качества. Они вербовали зрителей среди слоев национальной буржуазии. Широкие круги

русских зрителей они пленяли этнографизмом. Успех украинских спектаклей коренился в напевах, лихих плясках и жирной бытовой окраске. «Национальное» не соприкасалось с передовыми театральными течениями. Включаясь в круг современных проблем, театр проигрывал по сравнению с подавлявшим его театром господствующей национальности. Не встречая поддержки, он не вылился в формы стройно организованного коллектива и остался «бродячим» театром. Превосходные актерские дарования Заньковецкой, Клары Юнг, Каминской, Месхашвили, Сиракуйш одиноко терялись среди мещанского репертуара, в постоянных переездах, со случайными декорациями, без направляющей режиссерской руки, но с рядом суровых административно-правительственных ограничений. Государство допускало нацтеатры или как безобидное этнографическое увеселение, или как тусклый подголосок русскому театру. В «этнографизме» проскальзывала подавленная тоска по национальной культуре, искривленная в чувствительное увлечение пережитками старины. Театр задержался надолго на этом первом этапе. Многие актеры уходили в русские театры, находя в них благодарную почву для личного развращения дарований и порывая с национальной сценой. Революция преодолела этот первый этап. Не отказываясь от своих редких завоеваний, театры обязаны были установить новую точку зрения на свои подневольные годы. Для этой группы национальностей речь шла не о создании нацтеатров (поскольку они уже существовали), а о сложном переплетении отношений к «народному» искусству, к предреволюционному нацтеатру и, наконец, к «столбовой дороге советского театра». Вставал вопрос о «реконструкции театра». Испытывая порою национал-шовинистические влияния и борясь с ними, театры одновременно должны были проявить подлинно критическую оценку своего прошлого и подлинную волю к творчеству своего искусства.

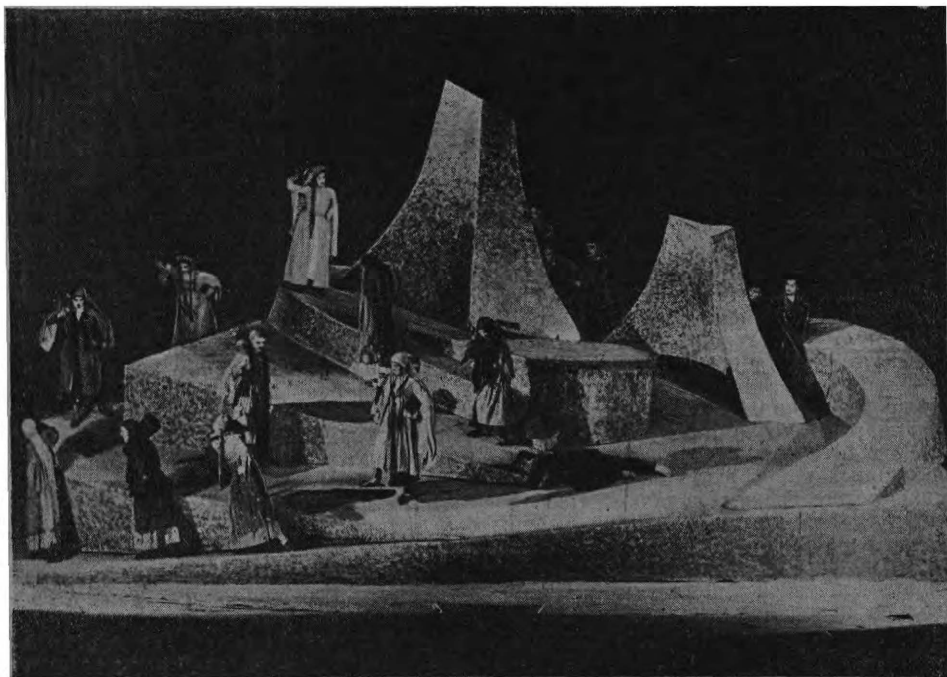
Для других национальностей (татар, башкир, тюрков, туркмен, узбеков, марийцев) вопрос вставал в несколько ином разрезе. Им приходилось думать о принципиальном утверждении театра как самостоятельного и боевого искусства и о методах его создания. Им приходилось бороться за самое существование театра. Застарелое и веками охраняемое бескультурье, моральные и бытовые предрассудки мешали его начинателям. Религиозные обряды заменяли сцену подобно тому, как русское средневековое византийское богослужение сливалось для его наивного посетителя с театральным зрелищем. До 1917-го года тюркская женщина не имеет

права на актерство. Театры создаются в республиках, население которых в своем большинстве неграмотно.

«Национальная мелкая буржуазия, подчинившись революции и уступив напору современности, давит на растущее искусство и вносит в него элементы, чуждые коммунистической культуре. Задача этой группы театров естественно сводилась к утверждению, защите и организации нацтеатра, как факта при яростном религиозно-бытовом противодействии и мелкобуржуазных влияниях. Вместе с тем молодой

первого творчества и зараженности революцией преобладает над анализом и порою затемняется чуждыми влияниями.

Узловой пункт этих перецветающих тенденций сосредоточился в репертуаре, т.е. в том содержании, которое сообщили нацтеатры зрителям. Их предреволюционный репертуар — где он имелся (у первой группы театров) — не отвечал новым заданиям. Он нуждался в пересмотре. Пересмотр дал печальные итоги. Украинские мелодрамы чувствительной окраски, еврейские



Грузинский гос. театр им. Руставели. Сцена из пьесы «Ламара».

театр задумывается об образцах сценического искусства, на которые ему следует ориентироваться, — момент «учебы» в его взаимодействии с нац-элементами был неизбежен. Мелкая буржуазия готова защищать «национализм», низводя его к реакционной и пресловутой этнографии, и в свою очередь, ища образцов в прошлом искусстве, толкает к мешанскому театру XIX века.

Резкое разделение театров на две группы сказалось на репертуаре и режиссуре. Если для первой группы наиболее существенной чертой является «реконструкция» театра при явном критическом отношении к материалу, то вторая группа переживает момент первоначального «накопления материала», при котором взволнованный пафос

пьесы Гордина с душераздирающими сценами или плоские оперетты — репертуар подчиненности, подавленной тоски и благополучной поучительности — не обещал блистательного возрождения. Две-три классических украинских комедии, пьесы Сундуньянца для армян, несколько грузинских отрывков могли войти в репертуар и то только при условии их сценически-режиссерской ревизии. Главная же забота направилась на построение современной драматургии.

С новой силой привлекало прежде недоступное национальное прошлое, которое, казалось, можно было перенести на сцену в ярких и побеждающих красках. Героические и горькие картины историй в спектаклях переплетаются с национальными легенда-



ми. Отсюда — двойственность заданий и противоречивость выполнения. Если башкиры рассказывают о крепостном праве («Карагул»), а евреи вспоминают восстание девятьсот пятого года («Глухой»), то грузины воскрешают борьбу хевсуров с кистами и времена кровавой мести («Ламара»), а тюрки — полузабытые и фантастические предания героических мятежей («Невеста огня»). Легендарная история не гарантирует современного спектакля. Порок вместе с легендами и увлекательными сказаниями в драматургию несильно проклязывает поэтическая защита окаменевшего быта и сладких воспоминаний или же отвлеченная мораль угнетенных, лишенная конкретного содержания. Историческая легенда — неверная и шаткая основа. «Невеста огня» в тюркском театре — лучшее тому доказательство. Вряд ли можно приять псевдо-восточную феерию о благородном единоборстве двух братьев и о первых атеистических и свобододолюбивых восстаниях за успешное начало. Имена знакомых героев увлекательно приближают театр к зрителю, но, приближая искусство, не углубляют его познания, а завлакивают условной пышностью и ложной красотой. Чувствуя внутренние противоречия «легендарности», тонкие и передовые режиссеры принимают эти драмы новышнего и декламационного тона в качестве откровенного предлога для формальных поисков и подчиняют сценарий режиссерским задачам. Избрав народную поэму о несчастной любви Фархада и Ширин для пышной драмы, полной вздохов и приключений восточной лирики, узбекский театр подчеркивал ее происхождение условностями сценического дубка. «Ламара» — пьеса, в неприкосновенности сохраняющая достоинства и недостатки песенного эпоса — послужила Ахметели для лабораторных поисков жеста и речи. И как бы двойственно ни было положение режиссеров, они находили оправдание в том, что, подчинив «этнографизм» «эксперименту», возводили театр на высший эстетический уровень, который, в свою очередь, нужно было перешагнуть. Они искали в этих пьесах национальный стиль — своеобразное стилизаторство в новых условиях.

Авторам чисто исторических пьес помогал конкретный материал, который удерживал их от опасности умеренного этнографизма. Он невольно понуждал их к большой строгости и заставлял думать о социальных корнях. Башкирская мелодрама «Карагул», погружая зрителя в 40-е годы XIX века, объединяет легенду о национальном герое с бытовой обрисовкой крепостного права. Хотя плакатные рисунки помещиков, баев и военных не

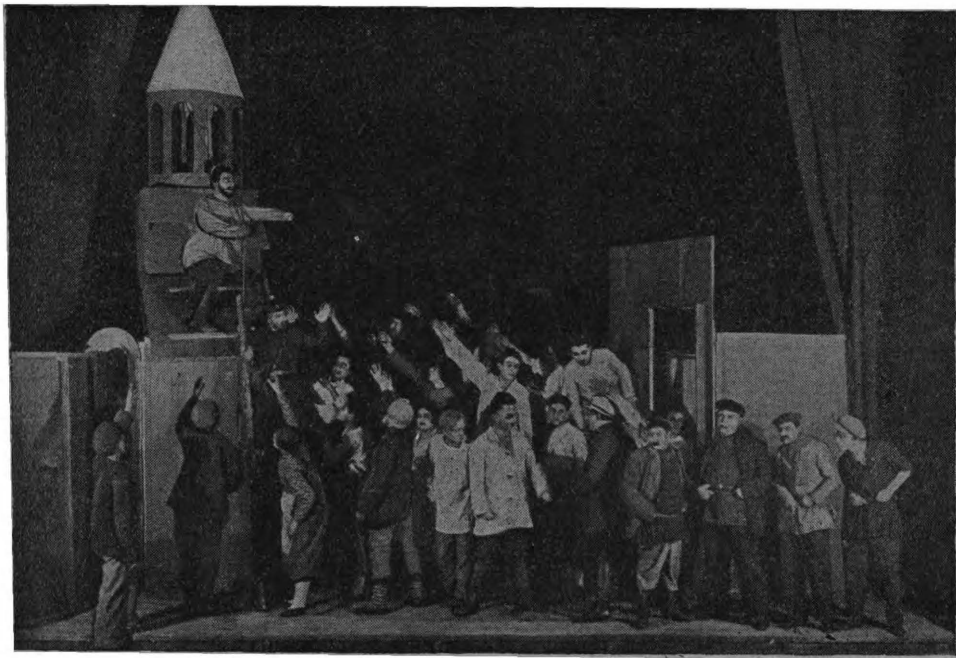
выливаются еще в живые и полнокровные образы, — в пьесе явно бьется интерес к социальному прошлому. Но уже «Вотвин» Вевюрка и «Глухой» Бергельсона в Белгосете закрепляют тревожную атмосферу девятьсот пятого года, затхлый быт маленьких местечек, тяжелый гнет сумрачной религии и нарождающийся гнев и ожесточенно-глухую борьбу против тягостно-жестокости строя и расслоение еврейской бедноты и рабочих. Применительно к ним еще невозможно говорить о диалектическом методе, но уже справедливо признать их классовую направленность в социальную серьезность.

Касаясь современных тем, авторы повторяют пройденный советской драматургией путь — от первоначальных и памятных, полных пафоса агиток до глубоко-обобщающих социальных полотен. Если ряд вещей имеет значение только для нацдрамы, то ряд других перерос национальные рамки и легко входит в обиход общесоюзной драматургии. Потому так велико различие между первыми и робкими опытами узбеков и тюрков и законченным творчеством украинских Микитенко и Кулиша. Насколько последние, усвоив и подчинив своим задачам технику современной сцены, резко и широко раскрывают свои полотна, настолько первые еще находятся в путях неотчетливых впечатлений и непреодоленной подражательности. Две области приковывают их внимание: перестраивающийся быт и пережитая героика гражданской войны. «Севиль» рассказывает о рождении и освобождении тюркской женщины. Революционная для Азербайджана тема много теряет от узкого ее разрешения. Автор захватывает проблему от общей переоценки установленной морали и увлекается личной «мещанской драмой». Чувствительности, с одной стороны, внутренняя связанность и робость — с другой заставляют его придерживаться традиций театра XIX в. Борясь за свободу женщины, автор одновременно защищает ряд семейных устоев, делая уступку тюркскому быту. Революционный финал пьесы с неизбежным приходом красных звучит формально. Автор «Севиль» еще на переломе. Он не решил для себя многих кардинальных вопросов. Оттого так заметны в его пьесе чуждые влияния. «Два коммуниста» (Узбекский театр) показывают напряженность и авантюристичность гражданской войны в стенах и аулах Узбекистана. Но *couleur local* достигается зачастую вставными номерами. Национальная психология не сливается с социальной. Как-будто у художников узбекского театра нет четкого мирозерцания, а следовательно



и мастерства. Их пьесы — в большей степени результат приподнятой и искренней восторженности, чем художественного анализа. Оттого «мир» встает в их глазах преувеличенным. Разрозненные эпизоды связаны лишь внешними событиями, без обнаружения причинной связи. Оттого так велико в них нагромождение событий, и «борьба с басмачеством» — тема пьесы — раскрывается через груды убийств, заговоров, семейных несчастий, налетов, сражений, предательства: автор еще не умеет «выбирать» среди нахлынувшие

окраина встает в живых и убедительных очертаниях. «Диктатура» Микитенко по праву вошла в общесоюзный репертуар. Автор умно разобрался в переустройстве украинской деревни, нигде не искривляя художественного сознания, избегая тоскливой упрощенности. Идеологические положения вырастают из глубокого знания своеобразных процессов, происходящих на Украине. Образы бедняка Малоштана, кулака Чирвы, студента Гусака — понастоящему типичны. Автор в самой манере показа сохраняет оптимизм и



Гос. театр Армянской ССР. Сцена из пьесы «Ярость».

го на него разнообразного и богатого материала.

Театры первой группы касаются более актуальных тем. Белоруссы с особым вниманием останавливаются на индустриализации. Во многом следуя основным «индустриальным» схемам, Кобец в пьесе «Гута» наблюдательно и свежо рассказывает о стекольном заводе в глухом углу Белоруссии. Зорко отмечая факт влияния крестьянского окружения на отсталые слои рабочих, он передает его в живых образах. Чуждаковатый изобретатель — рабочий появляется среди домашних изобретений, и сочувственный юмор лишает часто исполняемый образ сентиментальности, не уничтожая его пафоса. Кобец сливает отдельные черточки быта с целеустремленностью пьесы: она не кажется нарочитой, и белорусская

лукавство юмора. Не затемняя классовый характеристики и тонко связывая между собой образы пьесы, Микитенко подчеркивает элементы национальной психологии, — музыкальные построения фразы и характерность образов незаметно передают тот *coeur local*, которого напрасно думают добиться другие драматурги внешними средствами. Не зная имени автора и читая пьесу в переводе, читатель безошибочно угадает место действия, — так существенно отмечена пьеса чертами «национального» и так глубоко познана диалектика национального развития.

По отношению к советской драматургии и классике речь идет не о формально послушном исполнении на другом языке русских и иностранных пьес, а об обогащении вынужденно-

бедного репертуара через переработку и усвоение достижений мировой драматургии и старейшей из советских республик. Из русских выбор оставался преимущественно на пьесах, соприкасающихся с бытом и процессом реконструкции той или иной республики. Узбеки играли «Мятеж», имея в виду общность места действия: пьеса не подверглась переделке, — лишь элементы узбекского быта сценически были подчеркнуты. Армянский театр перенес «Ярость» в обстановку армянской деревни, не производя значительных изменений в построении пьесы. Пьеса Яновского обща, тема дифференциации деревни легко укладывалась в армянский быт, и актеры успешно выразили образы армянских крестьян. Такой простой выход объяснялся отсутствием в сценарии Яновского черт, типичных исключительно для средне-русской подосы. Театр им. Руставели, напротив, коренным образом переработал «Бронепоезд» Вс. Иванова. Обратив северный «Бронепоезд» в южный «Анзор», театр отнесся критически к первоначальному тексту пьесы, перенося действие из Сибири в Дагестан, он изменил многое в ходе пьесы и в характеристике образов. Он свел на-нет «белогвардейскую» линию и подчеркнул моменты крестьянского восстания. Превратив Вершинина в Анзора, а сибиряков в горцев, театр усилил связь вояжд с массой. Не интересуясь романтикой Незеласова, он не пренебрегал романтикой национальной — в патетические сцены аула, заменившие памятную сцену на колокольне, он ввел грузинские пляски, песни и любовную лирику поэта, чуждого натиску восставшего племени. В «Анзоре» сплелись революционность с национальной романтикой. Спектакль получил полновзвучную силу и красочность.

Среди классических пьес Олимпиады «Овечий источник», «Гамлет», «Уриэль Агоста», «Человек, который смеется», «Доходное место», «Пепо» — армянского классика Сундуньянца. Многие из них исполнялись без серьезного их переработки, и тогда режиссерская трактовка становилась определяющим моментом (трагедия Гуцкова — в постановке Марджанова, роман Гюго — в тюркском театре). Но те же турки решились и на более ответственный шаг. Он окончился неудачей из-за отсутствия старого принципиального подхода. Они пытались приблизить «Гамлета» к сознанию зрителя, перенес действие из датского двора в средневековый и вполне мифический Азербайджан. Положения драмы Шекспира настолько противоречили азербайджанскому быту, никогда не знавшему королей и пышного двора, а способ театральной интерпре-

тации был настолько шаблонен и оперно-трафаретен, что спектакль вылился в новую и, на этот раз, непонятную вариацию легенды о неведомом и прекрасном принце. Снова и снова подтверждалась опасность механического подхода к живой задаче переработки классиков. Сценическая смелость на самом деле оказалась формальной бессодержательностью. Шекспировское мироощущение, вложенное в рамки восточной феерии, выверилось, обратившись в канву для мелодрамы. Особенно проигрывает этот вполне катастрофический подход, хотя бы и продиктованный лучшими намерениями, в сравнении со спектаклями «Фуэнте Овехуна» («Белгосет»), «Пепо» Сундуньянца (армянский театр), которые правильно и остро наметили способ передачи классиков. Они имеют принципиальное значение. Молодой режиссер Литвинов решительно и умно обошелся с прославленной драмой Лопе де Вега, в течение первых лет революции часто исполнявшейся на наших сценах. Литвинов окончательно отсекал все королевские сцены, но развил и расширил сцены крестьянского быта, уничтожив намеки на монархические тенденции; он нащупал широкий социальный фон, перекинув мост от зрителя испанского ренессанса к зрителю еврейского местечка; не утратив в патетике, трагедия возникла из быта крестьян феодальной Испании; блестящая установка Тышлера и тонкая работа Литвинова скупым декоративным оформлением перадали живописную и бунтующую испанскую деревню. Во имя оживления «Пепо» — пьесы классика XIX в. — армянский театр широко воспользовался разбросанными в пьесе элементами «народной игры». Он как бы провел связующую нить от Сундуньянца к Гольдони. Полные жизнерадостного веселья комедии Гольдони, созданные в эпоху прогрессивной борьбы буржуазии с отживающим феодализмом, легко обращаются в предмет современного спектакля: армяне, не потеряв театральной силы Сундуньянца, вернули своего классика к новой жизни. Театр разбил «Пепо» на эпизоды, подчеркнув многопланность построения пьесы и прослойки национального быта. Переведа «моральную» установку пьесы в «социальную», режиссура довела «моральные» различия образов до преувеличенных «классовых» масок побежденного прошлого. «Мораль» выросла в сатиру. Театр перетолковал пьесу. Он смотрел на Сундуньянца глазами нашей современности.

### III

Узбекские песни, кавказская пляска, башкирские танцы сами по себе —

предмет искусства. Ими восхищаются на родине и на чужбине. Соблазнительно заполнить ими спектакль и показать их в своеобразном единстве. Соблазнительно раскрыть чуждую и пряную красоту плохо знакомого мира. Для деятелей нацтеатров это тем более увлекательно, что никогда еще их народности не могли во всей роскошествующей полноте обнаружить богатств своих ритмов и напевов. Поэтому часто происходит противоречивое смещение задач актуального спектакля и этнографического исследовательского концерта. Мертвая красота воскрешенных, а на самом деле убегающих

вместе с «накоплением материала», поддерживало реакционные начала быта. Эту опасность заметили сами художники. Они искали спасения в экспериментальном формально-театральном подходе. Работая над «Ламарой», Ахметели изучает грузинский жест и голосоведение. Для него принципиально важны и значительны не «восточные» движения сами по себе, а их основные законы, которые могут служить фундаментом национальной актерской техники, на которых действительно построены его спектакли. Вторая линия преодоления этнографизма — его «театрализация». «Этнография» пе-



Гос. украинский производственный театр. Сцена из пьесы «Диктатура».

обычаев не равносильна национальной культурной революции. Неограниченный этнографизм связан с идеализацией прошлого. Нельзя за красотой песен забыть возрастающую борьбу и вместе с прямой остротой плясок увлечься новым ориентализмом.

Между тем не критический этнографизм проскальзывал во многих спектаклях Олимпиады. Башкиры и узбеки пользовались «вставными номерами» и украшали обязательные сцены площади или базара песнями и плясками, разрывая единство спектакля. Сценарий служил не диалектическому раскрытию быта, а статическому его изображению — и тогда быт кишлаков и аулов становился самопелю. В то время как театр, увлекаясь открывшимися возможностями, закреплял на сцене бытовые картины, — это любование национальным заслоняло действительность современного художника и незаметно,

реводится в утонченные и эстетические формы. Узбекский режиссер Уйгура в ряде спектаклей проводит Вахтанговский метод «иронической игры» и «отношения», послушно повторяя приемы, впервые обнаруженные мастером в «Турандот». Узбекский базар изображен не фотографически точно, а условно и преувеличенно. В этой «игре в базар» отдельные моменты быта, в особенности вызывающие осуждение, даны в манере уничтожающего гротеска. Ясно, что оба эти пути — лишь паллиативы. Этнографизму суждено раствориться в социальном спектакле. Большинство театров, вступая в пору свободного творчества, одновременно и вполне неизбежно на ряду с «нацтилизаторством» ставят вопрос об «образце», — вопрос предательский и лукавый, ибо, конечно, прямой подражательностью вопрос не разрешается и не исчерпывается. По существу, он

сводится к выбору этапов обще-театрального развития, подлежащих преодолению и усвоению. Соблазнительно в ускоренном пробеге повторить основные моменты развития революционного театра, взяв за исходную точку состояние театра в предреволюционный период, ошибочно видя в нем итог предшествующей культуры.

Тюркский театр исходил из культуры театра XIX в. Он искал соответствия между «национальным» и «театральным» в театральной эффектности, удовлетворяющей мнимым «восточным» вкусам к красочности и порожденной оперно-условным театром. Практически это привело к подмене «национального» трафаретно - театральным. Буржуазная театральная культура, в ее упадочных и вырождающихся формах, стала путеводителем советского нацтеатра. Катастрофическим результатом такого подхода стал «Гамлет», где вместо приближения шекспировой трагедии к тюркскому зрителю, режиссура окончательно отрезала возможность соприкосновения, подчеркнув всеми затхлыми и аляповатыми штампами XIX в. не трагические проблемы Шекспира, а «условности» его сценария. Режиссерские методы XIX в. перекинулись и на пьесы, трактующие вопросы современной морали. В «Севиль» безрассудно использован мещанский театр с его традиционно-приторным изображением фальшивых благородств и добродетелей. Подражание мелко-буржуазному театру нельзя рассматривать формально. Его эстетические корни лежат в общем культурном положении Азербайджана. Вопрос об эмансипации женщин — тема «Севилья» — достаточно актуален: до настоящего времени участие актрис в спектакле встречает отпор и считается позорным. Этот вопрос возникает в тесной связи с рядом подобных вопросов, представляющих в своей совокупности содержание реакционного национал-шовинистического мирозерцания. Противоречие возникает вследствие того, что данный вопрос взят в разрыве от остальных, — оттого театр, борясь за эмансипацию и равенство женщин, одновременно оставляет нетронутым статус буржуазной семьи. Формально же подобная постановка вопроса замыкает театр в рамки мещанской драмы и толкает его к трафарету игры, ничего общего не имеющего с национальным искусством. Так возникает второе, не менее решающее противоречие: подражание этапам, в усвоении которых нацтеатр не нуждается. Тюркский театр оказался в плену у худших традиций прошлого века. «Подражательность» противоречит переработке и усвоению. Порою мы имеем лишь существование элемен-

тов национального театра и театра, послужившего образцом. Например, татарский театр послушно следует за новейшей модификацией Малого театра. Используя в драматургии приемы Тренева («Любовь Яровая») и Ромашева («Огненный мост»), театры вкрапливают в эти изображения ряд скенческих «национальных» моментов, не приводя их к единству.

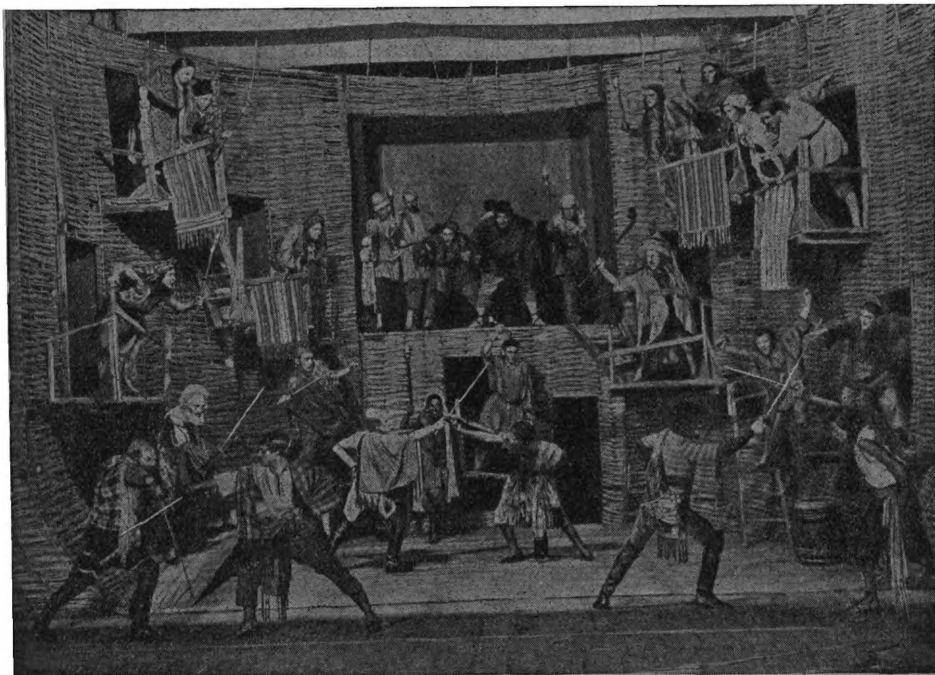
Подробное повторение всех этапов советского театра не приводит к плодотворным результатам. Оно объяснимо лишь как временный переход к самостоятельному творчеству. Дело заключается не в подражательности, которая затемняет национальное искусство не менее, чем голый «этнографизм». Усвоение и переработка начала актерского и режиссерского мастерства, добытого советским театром и ставшего общим достоянием его передовых представителей, — гораздо более помогают оформлению национальных особенностей и «диалектике национального развития». Не подчинение себя советскому театру и не противопоставление ему, а переработка его завоеваний в плане методологии. Не удаление от него во имя «музейной этнографичности» и не слепое подражание, а тесная с ним связь ради овладения элементами культуры, без которых невозможно развитие национального театра. Не нивелировка под московский образец, а раскрытие интернационального содержания в национальной форме методами современной театральной культуры, покоящейся на диалектическом материализме, раскрытие этим методом в национальной культуре элементов культуры коммунистической — только такое сочетание обеспечивает окончательную победу на фронте искусства. Это сочетание нашло еще неполное, но убедительное выражение в спектаклях грузинского театра им. Руставели, Государственного белорусского театра, Белгосета и театра Армении. «Пепо», «Анзор», «Фуэнте Овехуна», «Гута» — разнообразные, глубокие, погружающие зрителя в атмосферу национальной психологии проявления «столбовой дороги наискусства», смычка культур, объединенных общей тенденцией.

Все эти театры включают себя в общую сеть театров Союза. Будучи национальными, они отрицают национальную ограниченность. Вопросы театральной идеологии, режиссерской и актерской методологии, вытекающие из общего мирозерцания, получают в их глазах первостепенное значение. Они с особым вниманием остановились на особенностях актерского материала, который был в их распоряжении. Армянские спектакли организуют откры-

тый темперамент, условность игры, некоторую плакатность образов в стройное единство. Театр им. Руставели создал на основе раскрытых им элементов грузинского ритма и движения спектакли исключительной легкости и захвата. Белгосет исходит из особенностей еврейской мелодии и жеста. Хаотической разбросанности этнографических увлечений руководители театров противопоставили единство целеустремленного спектакля. Найденный ими актерский «специфичной культуры». Строгие законы ритма,

тельности дал пламенные, социально-насыщенные образы борющихся за свободу горцев. В «Овечьем источнике» Литвинов изобретательно связал еврейское искусство и быт Испании, — и здесь мелодия речи, движения, пляски, не впадая в стилизацию, внезапно раскрыли живой и страстный пафос восставшей деревни испанского средневековья.

Склонность к переработке современной культуры вырастает из целевой установки спектакля. Чем резче, очевиднее и актуальнее заложенная в не-



Гос. еврейский театр Белоруссии. Сцена из «Овечьего источника».

жеста, голосоведения, удобные конструктивные площадки, музыкальное построение — оформляли спектакль.

Прилагая к драматургическому материалу приемы передового советского театра, ища социальное раскрытие пьесы, режиссура обращала внимание на всю совокупность элементов, составляющих национальное лицо. Ревизия старой пьесы Сундуньянца на небольшой сцене эриванского театра дала ошутительные результаты. Старый классик зажил по-новому в блеске темперамента и условной игры, нигде не переходящей в беспредметный восторг и постоянно приложенной к умно раскрытой картине армянского прошлого. «Анзор» не переходил в легенду о Дагестане, а в страстной легкости движения, в театральной зарази-

го идея, тем настойчивее и необходимое чувствует театр потребность в гибком и четком сценическом языке, не допускающем недомолвок или смешения с инородными влияниями. Путь нацтеатра — путь борьбы. Чем внимательнее он приближается к методологии современного театра, тем меньше он увлекается беспредметным этнографизмом, чем пристальнее всматривается в диалектику развития своего народа, тем вернее он идет к цели. Отмеченные пафосом социального переустройства, — через анализ национальных особенностей, обусловленных жизнью страны, через преодоление и переработку методов современной культуры, — рождаются победоносные спектакли, показанные на Олимпиаде.

## 3 ПРОБЕГ ПО СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Евг. Ланн

1

Бенджамен Франклин — не только изобретатель громоотвода и один из «отцов американской независимости». Он — отец современной массовой книги в Америке. На его «Субботней Вечерней Почте» и на альманахах «Бедный Ричард» воспитывался вкус американского мещанина — самой страшной разновидности всемирного мещанства. Больше 150 лет назад основан был еженедельный иллюстрированный журнал, теперь его тираж доходит до 3 миллионов. Кто его читатель? Американская улица. Мещанина можно найти в каждой социальной группе. В Америке он посещает 225 тысяч церковных зданий, читает тысячу религиозных газет и журналов, отдает своих пятнадцать миллионов детей в воскресные школы и на 175 богословских факультетов, линчует негра и готов линчевать коммуниста, гонит спирт, голодает за сухой закон, презирает неудачника без чековой книжки и признает только одну литературу — рекомендованную «Субботней Вечерней Почтой». Его духовный отец — «великий Бенджамен»; детей своих мещанин называет в честь Франклина не реже, чем в честь Вашингтона и Линкольна. Но последние двое обеспечили американскому мещанину сытую жизнь, организовав устои его государственности. Над духовной его культурой они не попечительствовали. Это взял на себя основатель «Почты». Он даровал своему народу тринадцать заповедей, — в них он постарался восполнить пробелы исторических десяти, опубликованных на горе Синае.

Как известно, синайскими заповедями руководствуется не очень много пламенных их почитателей. Весьма немногие из американских читателей «Почты» руководствуются франклиновскими. Но от писателя они требуют строить положительных героев по «Списку Добродетелей» Бенджамена. Отрицательные типы должны этот «Список» начисто отвергать. Когда мы его читаем, во весь свой духовный рост встают перед нами потребители бесчисленных magazine'ов — иллюстрированных журнальчиков, диктующих своим писателям характер массовой книги. Не стоит приводить его целиком — выберем наиболее характерные добродетели. Например: воздержание — «Ешь не до отвала, пей не до опьянения». Бережливость — «Грать только во благо другим и себе — т.е. ничего не расточай зря». Трудолюбие — «Не теряй времени, будь всегда

занят чем-нибудь полезным, отсекай ненужные поступки». Порядок — «Пусть все твои вещи будут на своих местах; пусть для каждого твоего дела будет отведено определенное время». Целомудрие — «Редко предавайся сладострастию, разве только для здоровья и создания потомства, никогда не предавайся ему до тупости, слабости, вреда самому себе или спокойствию и репутации другого». И, наконец, смирение — «Подражай Иисусу и Сократу» (!).

Когда мещанин требует от своего писателя, чтобы его герои были ходячими параграфами из этого списка, когда девушки в массовой литературе подражают в своем смирении Иисусу и Сократу, добродетельные юноши тратят деньги только во благо себе и другим, а положительные старики всегда заняты чем-нибудь полезным и никогда не объедаются и не опиваются, нельзя не признать, что из всех «массовых» литератур самая пошлая — американская. Имена писателей, популярных в этих иллюстрированных еженедельниках и месяцаках для семейного чтения? Их не перечислить, да и не стоит, — все они не выше какой-нибудь Кэтлин Норрис, роман которой «Мать» был напечатан в «Atlantic Monthly», а затем разошелся тиражем в 600.000 экземпляров, или Рафаэля Сабатини, чьи исторические романы в стиле Дюма также тиражируются сотнями тысяч, а затем попадают на экран кино.

2

Обозревая расстановку классовых сил в сегодняшней литературе Америки, следует помнить: через все эти многочисленные популярные журналы и приложения к многотиражным газетам — некоторые из них, разумеется, «литературней» «Субботней Вечерней Почты» — прошли многие из тех писателей, которые ныне являются очень популярными у американского буржуа. По своим литературным достоинствам эти писатели значительно выше рядовых сотрудников журналов, поставляющих свой товар на американскую улицу и не заслуживающих упоминания. Писатели эти и сейчас, достигнув известности, появляются гостями на страницах magazine'ов. Классовое их лицо обнажено вполне откровенно. Все они очень далеки не только левым писательским группам, но и радикализму буржуазной интеллигенции. Крайне популярный у буржуазного американского читателя Джозеф Гергешеймер, издавший до пятнадцати книг, занимается в своих романах и

повеллах вопросом об отношении между полами. Несмотря на свое умение дать психологический портрет женщины, несмотря на свое историческое чутье в описании быта и нравов середины прошлого века, Гергешеймер очень неглубок в анализе тех драматических положений, которыми изобилуют его книги. Буржуазия видит в нем судью по вопросам эстетической культуры; такую репутацию он приобрел любовным описанием «светских» салонов в своих романах и статьями в журналах об образе жизни промышленной и финансовой знати. Популярен — особенно среди буржуазного юношества — Зэн Грей — охотник, путешественник и спортсмен, умеющий показать диких зверей и природу экзотических стран в пределах американского континента. Он значительно выше небезызвестного у нас Кэрвуда, который в лучших своих книгах — о животных — неизмеримо явнее Джека Лондона, а в остальных является плохим литературным закройщиком. Появляется и сейчас на страницах «Субботней Вечерней Почты» Скотт Фитцджеральд, имевший большой успех своими романами «Эта сторона Рая» и «Прекрасное и Проклятое»; себя он рекомендует как «пессимиста и коммуниста (с нищенским оттенком) (!) и любителя всех книг, вышедших в период между V и XV веками нашей эры», — типичный представитель поверхностного американского эстетизма, повторяющего зады европейской буржуазной эстетики. Учеником той же эстетики является и Карл Ван Вехтен, автор романов «Петер Виффль», «Татуированная графиня», «Негритянский рай» и др. Среди американских эстетствующих мастеров прозы Ван Вехтен один из самых тонких и острых. Его языковая культура действительно высока, — Ван Дорен прав, замечая: «Вехтен изобрел свой собственный язык, свойственный ему одному». В поэтике он мало оригинален: в романе Петер Виффль он писал: «Жизнь — собрание вещей; простого их перечисления достаточно, чтобы дать читателю возможность почувствовать форму и цвет, атмосферу и стиль». Себя он считает учеником Уайльда, Теофиля Готье, Гюисманса и убеждает читателя, что все подлинные эстеты «каталогизировали», сводили жизнь к «перечню объектов». В таком упрощении чувствуется желание порисоваться, и не даром Чарльз Болдуин назвал этого буржуазного эстета — прекрасное, кстати сказать, знающего музыку — позером.

Ни Ван Вехтен, ни, тем более Джемс Бранч Кэбелл не являются достаточно популярными сре-

ди читателей magazine'ов. В поэтике Кэбелла отход от социальной тематики обнаруживается еще более явственно, чем у Вехтена, ибо последний пытается иногда разрешить социальную проблему, — например, негритянскую, — забывая о своей поэтике. Разрешает он ее так, что ни один из стопроцентных янки возражать не станет, что же касается Кэбелла, — этот никаких социальных проблем не ставит. Своим романом «Джорген» он вызвал возмущение лицемерных старых дев, и роман был изъят из продажи. Кэбеллу не повезло: никакого вызова буржуазному обществу он не собирался делать свободной трактовкой вопросов пола и, вероятно, был удивлен «успехом» романа не меньше, чем его читатели на континенте. Во всяком случае, ни до, ни после «Джоргена» он не фиксировал своего внимания на указанном вопросе, уводя своих героев от реальной жизни в романтический мир, созданный крайне причудливой фантазией. Один из его героев пытается обосновать этот увод в «страну грез»: «С бессильной тоской мы боремся, чтобы найти исход великим силам, которые — мы знаем — есть у нас, хотя и не ведаем, как они зовутся. И потому мы, мечтатели, отправляемся странствовать по стране Сторисенд, — а подчас и в более опасные места! — в поисках жизни, которая позволит нам раскрыть все наши способности». И Кэбелл отправляет своих героев в страны реальные и мифологические, а в романы вводит сказочные и легендарные персонажи. Это своеобразие Кэбелловского романтического жанра, фантастического романа-аллегории отводит автору «Джоргена», «Рыцарства», «Тени орла» и др. особое место среди буржуазных мастеров американской прозы. Такой оригинальностью не отличается Эрнест Хемингуэй, чья связь с воинствующей американской плутократией особенно отчетливо обнаружилась в последнее время. Но сила Хемингуэя не в оригинальности жанра, — автор сборника новелл «В наше время» и др. является одним из самых крупных мастеров сюжета, выдерживающим сравнение с лучшими художниками современной Европы. Почти каждую новеллу Хемингуэй — в новеллах он сильнее, чем в романе — строит на сюжете очень остром и свежем, а прибегая к темам хорошо знакомым, умеет найти такой сюжетный мотив, которым тема обновляется. Социальная тематика ему в полной мере чужда, но в такой же мере чужда ему и романтика Кэбелла; для усиления экспрессивности своих реалистических новелл он нередко вводит трагические положения; композиционное чутье позволяет ему извлекать из этих поло-



жений наибольший эффект. Так же избегают социальных тем три других мастера новеллы, объединенные единством избранного ими жанра. Все трое — Вильбур Дэнлиэль Стиль, Линкольн Колькорд и Ахмед Абдулла — мастера романтической новеллы. Несмотря на резкое социальное отличие своих героев от «утонченных» персонажей Вехтена и Гергешеймера, выступивший со сборником «Конец Земли» В. Д. Стиль нисколько не попытался показать классовые черты в психологических портретах своих рыбаков; остановился он на этом человеческом материале только потому, что ему нужны были «души простые и сильные». Анализ эмоций и страстей этих сильных душ Стиль развернул на фоне морской романтики и тех опасностей, какие море несет. Прекрасный язык и умение владеть техникой романтической новеллы заставляют считать его крупным художником. Несмотря на иную тематику, но также связанную с морем и поданную в таком же романтическом плане, мы находим у Линкольна Колькорда, автора сборников «Орудие богов» и «Игра жизни и смерти». Несмотря на очевидную зависимость от Конрада, этот новеллист является вполне законченным мастером так же, как и Ахмед Абдулла — афганец по национальности и француз по воспитанию. В лучшей своей книге новелл «Достопочтенный джентльмен», отмеченной в свое время премией французской Академии, Абдулла зарисовывает китайцев, нисколько не заботясь о психологическом реализме своих портретов. Скупость изобретательных средств и острота романтического рисунка обеспечивают за ним видное место среди лучших американских писателей, тесно связанных с господствующим классом и чуждых радикальным слоям буржуазной интеллигенции.

## 3

Ни завсегдатаи magazine'ов, ни те писательские круги, которые прикрывают свою связь с американской plutократией фиговым листком хорошо знакомого лозунга «искусство для искусства», не склонны произвести переоценку буржуазных ценностей. Для них они незыблемы, а если и стоит с их точки зрения внести небольшие поправки в существующий социальный порядок, писатели эти охотно уступают другим группам право поднять вопрос о таких поправках.

Состав писательских кругов, ревизующих устои современной Америки, разумеется, не однороден. Объединяет эти круги заинтересованность социальной проблематикой: все они обращены лицом к тематике сегодняшнего

американского дня — к быту, к нормам моральным, к процессу переваривания буржуазной Америкой европейской культуры, к формированию психологического портрета «бизнесмена» XX века. И в последнюю очередь — к классовому соотношению сил. Для этих групп — наиболее интересных нам, ибо книги их дают лицо Америки, — характерной является одна черта: идейные шатаются. Сегодняшний смелый критик социальной жизни завтра «отдыхает» над какой-нибудь «общечеловеческой» проблемой, а послезавтра находит для своей критики крайне мягкую формулировку. Сегодняшний социальный сатирик завтра пародирует не с меньшей едкостью стиль и манеру популярных писателей. Раскрыв в очередном романе тайны — часто уголовные — политических карьер, писатель обрушивается в следующем на шарлатанов от медицины.

Границы этой писательской группы — вернее групп — широки. От радикала и социалиста Э. Синклера до Теодора Драйзера, не скрывающего, что своей критикой хочет буржуазии помочь, располагаются те, чьи книги дают нам представление о социальных процессах, происходящих сегодня в Америке.

Оценивая Эптона Синклера, следует сознательно не применять эстетического мерила. Ибо язык его художественной прозы не носит и следа отделки, ошибки в композиции очевидны, а психология его героев часто крайне упрощена. Поэтому нет ничего легче, как отмахнуться от Синклера, отнять у него право называться художником и посоветовать ему заняться журналистикой. Такие строгие судьи существуют не только на Западе, но и у нас. Они называют Синклера агитатором и полагают, что выносят ему окончательный приговор. Но приговор этот обращается против них. Ибо эти судьи проходят мимо самого важного и самого ценного в писательском облике Эптона Синклера — мимо исключительного писательского его темперамента и искренности. Эти два качества помогли ему создать на Западе новый жанр — агитационный роман. Эти два качества, несмотря на ряд его промахов, обусловили острую экспрессивность его многочисленных, хорошо известных у нас книг. Синклера можно упрекать во многих эстетических грехах, но все они тусквеют, если отдать себе отчет, что самый большой опасности, угрожающей автору агитромана, — опасности сфальшивить, — Синклер не знает. Он не только верит в то, за что борется уже много лет, — начиная с «Джунглей», — но ни на один момент не позволяет читателю усомниться в его глубокой, подлинной



искренности даже тогда, когда бывает риторичен. Его риторика — необходимый элемент его жанра — всегда бывает окрашена эмоциональной взволнованностью и потому всегда оправдана как прием воздействия на читателя. В лучшей своей книге — романе «Бостон» — в самой страстной и самой сильной обвинительной речи, какие знает художественная литература, Синклер показал, до каких высот патетического красноречия можно поднять риторику и какая выразительная сила в ней заключена. В Синклере прельщает и выскатального критика еще одна черта: типичный интеллигент по душевному своему строю, он тем не менее не знает колебаний в своей борьбе за социализм. Пусть этот синклеровский социализм — понятие крайне неотчетливое, и так же неотчетливо представляет Синклер пути к социализму, но его заряженность идеей социалистического мира обеспечивает ему почетное место в ряду подлинных борцов за новый мир.

Вступлением своим в состав редакции «Новые Массы» Джон Дос Пассос показал, что ладифистская его идеология, давшая трещину еще в романе «Три солдата», изжита им до конца. «Три солдата» явились для Америки книгой более нужной и важной, чем «В огне» Барбюса; «Манхаттан» и новый роман его «42-я параллель» обнаружили большой художественный рост Дос Пассоса, обновление его стилистических приемов и композиционных задач. Дос Пассос как художник еще не вполне сложился, его преданность лозунгам «Новых Масс» еще требует испытания временем, но уже теперь его фигура на фоне американской литературы настолько значительна, что ни одна его книга не должна выпасть из поля зрения.

У нас почти не знают самого законченного американского стилиста — Уольда Фрэнка. Две его книги «Праздник» и «Перекресток» (City Block — «Квартал», но не «Перекресток») прошли незамеченными, хотя Фрэнк — крупнейшее явление современной американской литературы. Свой художественный путь он начал не с преклонения европейскому эстетизму ковра прошлого века, но ориентацией на французский унаимизм Жюль Ромена и организации журнала «Семь искусств», сплотившего все силы «Молодой Америки»: таких критиков, как Ван Вик Брукс, Менкен, Буорн, поэтов — Фроста, Робинсона, Ли Мастерса, и мастеров прозы — Андерсона, Драйвера и др. Всех их объединила высокая художественная культура, но состав их был крайне неоднородный: Фрэнк принадлежал к самому левому крылу группы, — в момент объявления войны

Германии он открыто заявил, что в случае призыва отказывается от исполнения патриотического долга. Это было дело нешуточное, если принять во внимание настроение стопроцентных янки. За истекшие с этого момента годы Фрэнк не отрезал от своего пацифизма и интеллигентского радикализма, разделяя эту социальную платформу со своими французскими друзьями Роменом, Дюамелем и Вильдраком, а в своей последней книге об американской культуре «Новое открытие Америки» он выступил против идеологов отечественной буржуазии, развивая лозунг «Руки прочь от России». На его стилистическом мастерстве, непревзойденном в Америке, мы останавливаться не будем. Для нас он интересен не только этим, но и тем своим вкладом, какой внес в процесс переоценки духовных ценностей, созданных «преуспевающей» американской буржуазией. За эту переоценку принялась радикальная интеллигенция, и одно из первых мест в рядах этой группы принадлежит Фрэнку. В двух своих книгах очерков по истории культуры — «Наша Америка» и упомянутая выше, — в своих романах «Темная мать», «Лишний человек», «Праздник», «Рахаб», в сборнике статей «Salvos» он раскрыл ту роль, какую сыграл пуританизм в создании культурных ценностей капиталистической Америки. Он показал формирование «деляческой» идеологии и хищника-бизнесмена, взрощенных религией предков современного янки. И неудивителен поэтому успех его книг в Европе, — она много нового узнала об Америке от Фрэнка, который показал к тому же ряд интеллигентов новой формации.

Целую галерею таких «новых американцев» показал другой большой художник Шервуд Андерсон, ближайший сотрудник Фрэнка по журналу «Семь искусств». Стилистической особенностью этого своеобразного мастера — автора «Уайнсбург Огайо», «Растяпы», «Триумфа яйца», «Маршируют» — является предельная простота синтаксиса и ритмика его прозы, а герои Андерсона — «чужие люди» бешеному темпу американских городов, практицизму и смертельной борьбе за доллар современных героев Нового Света. Андерсон не уставал показывать такую разновидность интеллигенции, о существовании которой мы не знали, — группу, живущую вне ритма американской жизни и глубоко этой жизни враждебную, группу, обреченную на гибель в условиях американского сегодняшнего дня.

Огромной заслугой такого писателя, как Синклер Льюис, следует считать исключительный по выразительности портрет того самого героя, кото-

рый обрекает на гибель персонажи Андерсона. Имя этого героя — Бэббит — и в Америке стало нарицательным. Портретным мастерством Льюис превосходит всех американских современников, не исключая и Драйзера. Он это доказал другими двумя портретами — Мартина Арроусмита и Элмера Гентри; последний войдет в галерею классических типов XX века — с таким великолепным реализмом никто до Льюиса не писал служителя церкви, разве только Франс своего аббата Куаньяра. Но Синклер Льюис — очень холодный и очень «спокойный» художник: обнажая социальную механику современной жизни, он не позволяет добавить «от автора» ни одного слова. Часто читатель недоумевает — до конца ли Синклер Льюис заклеил своих героев, не сохранил ли он в созданным им живым людям симпатии, сколь бы эти люди ни были отвратительны. Вполне очевидно, что Льюис не может быть на стороне Бэббита и Гентри, и тем не менее... тем не менее художник в нем любит выношенный образ и эту любовь преодолеть не может. Вот почему крайне труден анализ социального лица Льюиса, связанного с буржуазией теснее, чем упомянутые выше радикальные интеллигенты, и способного удивить читателя неожиданностью. Последний его роман «Додсворт» подтверждает это опасение.

Обозревая группу крупных левобуржуазных писателей, нельзя пройти мимо фигуры В. Вудворда. Появление в 1925 году романа «Вздор» сразу выдвинуло этого дебютанта в первые ряды радикально настроенных художников. Последовавшие за «Вздором» два романа и две биографические монографии — о Вашингтоне и Гранте — заставили увериться в том, что бывший директор банковского концерна не сменил вех после своего дебюта. Вудворд пришел к социализму из кабинета банкира, лучше, чем любой интеллигент, избравший писательскую профессию, он знал кулисы Уолл-стрита, где американский капитал управляет судьбами не одного своего отечества. Остановив «на третьей скорости» свою карьеру, он рассказал о том, как эта карьера делается, рассказал так умело, что сомневаться нельзя было — в литературу входил большой социальный сатирик. Не зубо-

скал, в роде Кобба и Ринч Ларднера, но писатель с устойчивым социалистическим мировоззрением, знающий, что капитализму нельзя помочь, сколько бы ни хлопотали вокруг него — «павшей лошади, лежащей поперек дороги» — многочисленные ветеринары. Бывший неудачливый репортер и удачливый банкир обнаружил отчетливое представление о характере избранного им жанра и стилистическое мастерство, которым он был обязан первоклассным учителям — Франсу и Гурмону.

У Теодора Драйзера такой школы не было. И потому так неровен его язык и так причудлива композиция его романов. Но причудливость эта не задумана. Она является следствием того несомненного факта, что Драйзер очень часто не справляется с материалом. Это неудивительно. Ибо Драйзер — самый ненасытный из американских писателей. Он хочет вместить в свои романы если не всю Америку, то во всяком случае весь американский город — все социальные группы и очень много профессий. Он хочет провести читателя сквозь быт, нравы и нормы тех групп, какие учился внимательно наблюдать, а потому сквозь эти группы проводит героев; не на каждой группе он останавливается в равной мере, — пролетариат он знает плохо, — но драйзеровская жадность к живой жизни поражает. Именно это его качество — масштаб писательского охвата — заставляет некоторых американских критиков считать автора «Титана», «Финансиста» и «Американской трагедии» первым писателем Америки. Ибо ни его обнаженный натурализм в старой манере, забытой европейской литературой, ни стилистическое мастерство не дают ему права на такое высокое звание. Спорным является помещение Драйзера в группу радикальной интеллигенции; читатели наши знают Драйзера и знают, что Драйзер нимало не посягает на те устои, которыми держится современный капитализм. Принципы «свободной игры эконоимических сил» он оправдывает, — своего Фрэнка Коупервуда он любит, но систему буржуазного мира принимает не во всех частях. Кодекс морали он ревизует температурно, почему и не место ему в ряду тех, кто благословляет сегодняшнюю Америку.

## Книжное обозрение

1. С. П. ПОД'ЯЧЕВ «Полное собрание сочинений». Ник. Смирнова.—
2. Е. МИКУЛИНА «Закрома пятилетки». Я. Фрида.—
3. ЖОРЖ ДЮАМЕЛЬ «Записки доктора Кошу». Д. Фибиха.—
4. МИХАИЛ НИКИТИН «Путь на север». Макса Зингера.—
5. АГНЕССА СМИДЛИ «Дочь земли». Б. Пенса.—
6. ЮРИЙ СОБОЛЕВ «Чехов». Н. Замошкина.

**С. П. Под'ячев.** — «Полное собрание сочинений» т.т. I—IX, ЗИФ, 1928—1930 г.

Первые крупные произведения С. П. Под'ячева связаны с годами предгрозя, с тревожными годами, предшествовавшими революции 1905 г.

Эта общественная полоса ярко отражена в одной из ранних повестей Под'ячева «Забытые». Повесть «Забытые», а на ряду с ней очерки «В работном доме» и «По этапу» — единственные (и, кстати, наиболее слабые) вещи Под'ячева, посвященные городу.

Под'ячев — писатель исключительно деревенский. Его деревенские рассказы достигают большой выразительности, большой художественной крепости.

Под'ячев, писатель жесткий и суровый, дал в своем творчестве замечательные по внутренней осмысленности картины деревенского быта. Деревенский быт у Под'ячева далек от всякого даже призрачнейшего романтического покрыва. Многие из его рассказов жутки: непрерывные драки, пьянство, поножовщина, убийство. И все-таки все это показано (и рассказано) деревенским же человеком, человеком, видящим в своем литературном герое такого же, как и он сам, бедняка, угнетаемого и помещиком, и земским начальником, и кулаком, и священником. Под'ячев — отчетливый писатель: у него нет ничего незаконченного. Выводы его всегда целостны и ясны. Он — исключительно революционный писатель.

Деревня в творчестве Под'ячева обрисована всесторонне, со всеми ее печальями, радостями и надеждами. Рассказы «Дома» и «Тьма» ярко отражают внутрисемейную деревенскую жизнь. Особенно характерен второй, где два брата избивают третьего, приходящего из города бедняка, в ту же ночь после побоев повесившегося на чердаке. Этот третий — Микишка — чахоточный,

когда-то на средства капризной помещицы учившийся в гимназии, был «забастовщиком». «Забастовщик», дитя 1905 г., занимает в рассказах Под'ячева особое место, — ему отведены лучшие рассказы писателя.

После 1905 г. в деревне начался упорный процесс расслоения. Практика столыпинского «хуторского хозяйства», создание «крепкого» мужика-хозяина неустанно разграничивала крестьянство.

Тип полновластного деревенского хозяина хорошо показан Под'ячевым в рассказе «Семейное торжество», заканчивающемся убийством.

Кровавой развязкой — убийством — заканчивается и другой, близкий к «Семейному торжеству» рассказ — «Разлад».

«Разлад» — один из лучших рассказов Под'ячева: он сжат, густ, крепок и художественно сочен. Рассказ полон бытового драматизма. Соединяя в себе несколько отдельных, но нерасторжимо слитых общностью художественного задания сюжетов, рассказ характеризует Под'ячева как писателя-мастера. Люди, действующие в рассказе, — живые люди. Они запоминаются, они волнуют читателя своей жизненной полнотой.

Другое крупнейшее произведение С. П. Под'ячева, «Среди рабочих», до сих пор остается одним из лучших художественных произведений, посвященных воспроизведению условий быта и труда с.-х. батраков. Если в «Семейном торжестве» и «Разладе» встречи мужика и помещика, отношения их даны в форме вводного сюжета, то повесть «Среди рабочих» целиком основана на противопоставлении двух начал: рабочего и эксплуататорского.

Повесть «Среди рабочих» исключительно революционна. В ней много социальной и бытовой остроты, много и внутрлического, отцовского и материнского тепла.

Однако, огонь домовитого очага очень редок в творчестве Под'ячева. И только в рассказе «Дома», рассказе, опять автобиографическом, любовь к детям, жалость к ним, нежность доведены до главенствующего, хотя и неясного начала. Под'ячев очень скуп на лирические отступления, — у него, например, почти отсутствует пейзаж, — но повесть «Среди рабочих» и в этом смысле является исключением. Пейзаж встречается здесь очень часто, особенно в заключительной части повести, связанной с пребыванием рабочих в монастыре.

Деревня, повторяем, охвачена Под'ячевым со всех сторон. Его творчество — широчайший свиток бытового, экономического и социального положения деревни в глухую пору 1905—1917 гг.

В творчестве Под'ячева есть немало рассказов, обрисовывающих деревню и во время империалистической войны.

В эпоху войны российская литература, как известно, носила бутафорскую казацкую шапку и картонный щит. Но та ее часть, группа крестьянских писателей, которая всегда стояла в стороне от «модных» художественных течений, и на этот раз осталась под своими старыми знаменами. Под'ячев — лучшее тому подтверждение. Его «военные» рассказы — все те же правдиво-глубокие, реалистически-ясные рассказы.

В книге «За грибами — за ягодами» читатель сталкивается с поражающим обнищанием и оскудением деревни, высушенной огненным ветром войны. Особенно тяжела жизнь для женщины, многострадальной матери и вдовы. Не менее тяжело положение и мужика, оставшегося дома, особенно отца-старика. Петр Барабошкин («За язык пропадают») рассказывает о своих хождениях по мытарствам за отнятым «пособием», и в этом небольшом, замечательно ярко, почти стенографически переданном рассказе Под'ячев дает великолепный снимок столкновений трудовой деревни с властями — взятчиками и попом, «охранителем» властей.

Поп и кулак — два излюбленные персонажа в позднейших рассказах Под'ячева.

Под'ячев, писатель-крестьянин, после Октябрьской революции вступивший в ВКП(б) и занявшийся горячей общественной работой, дает в позднейших своих рассказах художественное отражение деревни в эпоху напа. Рассказы этого периода — логическое завершение его прежнего творчества — чрезвычайно остры, сатирически-злобны и ценны. Они написаны революционным, уверенным, глубоко наблюдательным художником. Все основные особенности Под'ячева: зоркость, про-

зрота, законченность, словесная ясность и договоренность, народный, без малейшей фальши, язык, натуралистическая живость диалога — все эти особенности сказались в революционных рассказах Под'ячева особенно сгущенно и ярко.

Позднейшие рассказы Под'ячева, конечно, агитационны, но и попрежнему художественны. Любим выведенный в них человек, — пусть бывший графский «холуй» («Письмо») или кустарь церковных «чудес» («О. Стефан»), или, наконец, жадный торгаш («Вот он — я»), — любой человек сохраняет все свои живые черты. В этих рассказах попрежнему много драк и пьянства (особенно пьянства), но здесь можно найти уже и других людей, невозможных (или почти невозможных) в условиях старого деревенского быта (например, рассказ «Нашел»).

Под'ячев особенно близок советской общественности, широким трудовым массам и первым вестникам новой рабоче-крестьянской литературы — рабочим и селькорам. Последние с успехом и пользой могут учиться у Под'ячева и богатейшему языку, сохранившему все оттенки народного говора, и художественной простоте, доведенной до пределов общевосприимчивости, и реалистически-зоркому подходу к событиям и людям.

*Ник. Смирнов.*

**Е. Микулина.** — «Закрома пятилетки». (По совхозам Нижней Волги). Очерки. Изд-во «ЗИФ». Стр. 126. Цена 90 коп.

Совхозы — фабрики зерна, выросшие в бескрайней степи, на месте разоренных помещичьих гнезд. Клейтраки и Ойль-Пули. Комбайны. Горьковатый запах отработанного бензина, смешивающийся с сытным ароматом парчевых пшеничных нив. Героические будни, борьба со стихией, со степью, с деревенской косостью и недоверчивостью. Тонны золотой белотурки, что везут обозы тракторов к поездам, для городов...

Обо всем этом живо рассказывает Е. Микулина, об'ехавшая ряд нижневолжских совхозов. Из поля внимания автора не ускользают мельчайшие детали внутрисовхозной жизни. И положительные и отрицательные явления находят свое отображение на страницах книги. На ряду с упорным, самоотверженным трудом трактористов, механиков, работников совхоза — ведомственные трения, взаимные неполадки, борьба уязвленных самолюбий, бюрократизм, проявляемый отдельными представителями администрации, — явление, пагубно отражающееся на успехе общей работы. Этот объективизм авторского подхода придает кни-

ге столь нужный в наше время характер деловитости и практицизма. Быт совхоза показан с фотографической четкостью, неприкрашенный бесплодной восторженностью и лирическими славословиями.

Интересно рассказывает автор о первых днях совхоза. В голой, снежной степи в мороз трактористы производят сборку только что прибывших машин.

«Если уронить часть от трактора, она бесследно пропадает в глубоком снегу. Люди работают молча, трактор постепенно растет, и вдруг крик... Парень снял рукавицу, чтобы протереть запорощенные глаза, и влажной рукой схватился за гайку, гайка прилипла. Рванул — гайка отскочила, содрав кожу с пальцев...»

После свирепого бурана, занесшего снегом поселок до крыши, люди идут к тракторам продолжать сборку. Тракторы исчезли. «На белой, ровной поверхности ничего не видно... Все занесено ночным бураном. Через десять минут по всей площади рассыпались люди, длинными палками протыкая снег. Лопатами откапывали будущих стальных коней...»

Не менее волнующе описывается в книге степной пожар.

Микулина — прежде всего газетчик, журналист. И потому на книге ее — налет газетной беглости, схематичности, скольжение по поверхности. Это — только ряд моментальных фотографических снимков. Мы знаем, что и фото может раскрыть фактуру вещи. Кино достаточно это показало. Однако, в данном случае как раз этого и нет. Микулина пошла по линии наименьшего сопротивления, честно описывая то, что видела и слышала, но художественно не углубляя виденного.

*Д. Фибих.*

**Михаил Никитин.** — «Путь на север». Очерки Туруханского края. Изд. «Федерация». М. 1929 г. Стр. 160. Ц. 1 р. 20 к.

Михаил Никитин переборщил. Пройти по Енисею на пароходах и илимках, писать хотя бы и в удобочитаемой форме дневник экспедиции «Киносибири» — это еще не значит показать Туруханский край. В лучшем случае, это будет лишь книга очерков Енисея и о енисейцах. Но даже красавец Енисей с его порогами, камнями, перекатами слишком акварельно написан Никитиным. Для этой великой реки, прорвавшейся сквозь камни и тайгу из центральной Сибири ко льдам Карского моря, нужно более широкое полотно.

«Началось это так. По заказу «Киносибири» я написал либретто для сценария из тунгусской жизни. Либретто

было категорически отвергнуто, затем столь же категорически принято, — рассказывает историю своей книги Никитин. И дальше у читателя создается твердое убеждение, что Никитин в первый раз идет по Енисею и только знакомится с краем. Автор к тому же сам искренне заявляет: «Я не компетентен в вопросах туземного хозяйства. Я могу говорить только о мероприятиях, необходимость которых очевидна даже для самого неподготовленного наблюдения».

Любознательность и самосовершенствование похвальные качества, но дозволительно выразить недоумение перед хозяевами и «Киносибири», сначала заказывающими либретто, а затем посылающими либреттиста изучать край.

Михаил Никитин дает отдельные портреты, зарисовки и сцены удачно и, главное, живо. Утверждения автора о возможности вести огородничество на Енисее безусловно верно и ценно. Цынга давно бы исчезла с енисейских берегов, если бы енисейцы копали грядки, сажали картофель, капусту, огурцы, заготавливали продукты на долгую полярную зиму.

Никитин имел встречу с интереснейшим человеком Сибири Бабкиным. «Бабкин бывший партизан. В свое время он взял приступом город Енисейск и организовал советскую власть на Енисейском севере. В Туруханском крае его знает каждый туземец. Чумы поют о нем песни. Почему наша литература, которая жадно ищет нового героя, проходит мимо таких людей, как товарищ Бабкин?» — вопрошает автор.

Такого случая нельзя было упускать прежде всего самому автору! Нам кажется, что рассказы Бабкина, которых нет в книге, могли бы послужить ей украшением.

В книге приведена краткая история Туруханского края, красочно показаны остяки и тунгусы. Очерки читаются легко и при нашем безкнижьи о нежитом севере ее следует рекомендовать.

*Макс Зингер.*

**Агнесса Сמידли.** — «Дочь земли». Авториз. перевод с английского П. Охрименко. «Земля и Фабрика» 1930. М.-Л. Стр. 293. Ц. 1 р. 62 к.

Вся книга А. Сמידли — горячий монолог. Эта книга, имеющая вид «и спове ди» и отмеченная влиянием повествовательной манеры Горького, выделяется на фоне современного американского реализма, — она потому именно и овладевает вниманием читателя, что является страстной обвинительной речью. На скамье подсудимых — капиталистический строй, угнетатели всех стран и всех разновидностей.

Обвинительная речь Сמידли склады-

вается из фактов. Вот вам дикая, нищенская, рабская жизнь американских мелких фермеров и обкрадываемых горняков. Вот искусственная военная лихорадка («помощь союзникам»), организованная банками и заводчиками и питающаяся мясом тех же парней, трудовой «черны». Вот поучительная встреча с американской плечистой «свободой», которая, как это давно известно, помахивает не факелом, а резиновой дубинкой полисмена и отличается милым обращением фашистского сыщика. Вот преследования, которыми демократическая Америка подворагает индийских революционеров и националистов, чтоб оказать любезность Англии.

Писательница, не отделившая себя от мирового революционного движения, связанная с освободительным движением Индии, принимающая участие в работе антимпериалистической лиги, подходит, конечно, к социальным мотивам иначе, чем простой «объективный наблюдатель». Книга пропитана непримиримым отношением к эксплуататорам и боевым духом («я не пацифистка»); это делает ее особенно ценной.

Такое впечатление немного ослабляется разработкой мотива положения женщины в капиталистическом обществе. Этот мотив (особенно — в конце книги) разворачивается надрынно, почти исключительно на «любовном материале». Гармония между личной жизнью и общественной деятельностью невозможна. Правда, в этом опять-таки виноват капиталистический строй; но, построив на этом надрынном мотиве эпилог, и таким образом выделив его, подчеркнув, — автор совершил ошибку.

Конечно, этим не зачеркивается сказанное выше. Книгу следовало бы выпустить массовым изданием — быть может, с некоторыми сокращениями. Перевод литературен.

*Я. Фрид.*

**Жорж Дюамель.** — «Записки доктора Кошуа». Перевод с французского Ю. Тамашева, с предисловием Я. Фрида. Издательство «Земля и Фабрика» М.—Л. 1930. Стр. 110. Ц. 80 коп.

Серией психологических романов (о Салавене) и серией документальных новелл, посвященных войне, представлены две основные темы Дюамеля.

Из последних книг («Клуб на улице де-Лионна» и «Записки») видно, что Дюамель не перестает разрабатывать оба эти цикла. Но в то время, как история о Салавене мельчает и вырождается в какую-то приключенческую мелодраму (см. «Клуб»), — война все еще продолжает питать творчество писате-

ля, позволяя ему создавать новые и иногда прекрасные вещи.

Любопытно, что в эти поздние отклики на войну, в рассказ о далеком уже, хотя и злободневном прошлом, Дюамель почти не вносит поправок на современность. Он как-будто заботится только о консервации, о том, чтобы сохранить в неприкосновенности это прошлое и свое отношение к нему. По-прежнему мы слышим от Дюамеля возвышенный и безнадежный пацифистский протест против войны. Как-будто ничего не изменилось.

Однако, читая «Записки», мы должны помнить, что в действительности Дюамель идейно эволюционирует, в последнее время закономерно переходя от «гуманизма» к объективно империалистическим выступлениям. Именно мелкобуржуазный гуманизм заставил Дюамеля в его «Беседе с европейской цивилизации» бросить лозунг активной защиты Европы от освобождающихся колониальных народов.

Как бы то ни было, «Записки доктора Кошуа» (в подлиннике «Семь последних ран») в качестве книги воспоминаний принадлежат тому Дюамелю, который был ранен войной, а не тому, который к ней призывает.

Из собранных здесь рассказов одни («Молодежь на войне») приближают нас вплотную к фронту. Это — реалистическая документированная проза. В других место действия — госпиталь; жизнь особая, замкнутая («Записки доктора Кошуа» и др.). Эта замкнутость местами превращает рассказы о докторе Кошуа в своеобразный психологический гротеск.

Наконец, в вещах, подобных лирическому отрывку «Рой», война, как таковая, еще более отдалена от нас, освещена каким-то «общим», отвлеченным смыслом. Это как бы «притча» о пчелином рое. Важна здесь не столько война, сколько судьба пчелиного гнезда, гибнущего в последние дни боины, когда на фронте все уже — «без перемен», если не считать важной перемены, которую — по мысли Дюамеля — вносит в мировой порядок смерть битых непогодой пчел. Эта коротенькая притча должна говорить нам о том, что на весах дюамелевского правосудия погибший пчелиный рой, «темный плод, огромный, мохнатый, живой», весит не меньше, чем самые страшные плоды войны. Не даром Дюамель-судья пишет во вступлении к книге: «Бога нет. Всякое же правосудие с человеческим ликом я отвергаю» (Разрядка моя. — Б. П.). «Я стараюсь держаться в стороне... но нет, я все же издаю законы: свои законы. Я творю правосудие: свое правосудие».

Какое же это правосудие? Оно — сверхчеловеческое, такое же, какое дол-

жно бы быть, если бы бог все же «существовал». С точки зрения этого правосудия нет виновных и виновны все.

Невиновен даже полковник Пиатр, симулирующий болезнь, чтобы спастись от фронта, и посылающий на фронт других («Записки»). Ибо в финале этого рассказа Дюамель, «вынимаемая» из Пиатра все потраченные на него сатирические стрелы, говорит: «Он несчастен, он более несчастен, чем вы можете вообразить».

Самые «достойные» слова о войне — слова лейтенанта Серна: «Нет, — сказал он, — у нас нет ненависти к бошам... Я знаю, я убиваю их, но...»

Дюамель считает эту формулу исчерпывающей. Он выносит приговор всем, для кого «но» не существует, в том числе тем, кто чувствует беззастенчивую ненависть к виновникам войны и строю, ее породившему.

При всем том военные книги Дюамеля, как верно отмечает автор предисловия Я. Фрид, способны заряжать «активным антимилитаризмом, стремлением бороться с организаторами империалистических войн». Действительно, дюамелевская психология и философия войны бледнеют перед разрабатываемой им физиологией империалистической бойни, перекрываются массой документального материала, с которым этот автор привык обращаться чрезвычайно добросовестно. В этом смысле Дюамель-врач оказывает неоценимые услуги Дюамелю-писателю.

Понятно, что в конечном счете Дюамеля определяет не это совмещение (художник слова и врач), а заложенные в социальной природе его творчества противоречия.

Действительность изображается им войственно не потому, что он писатель, поэт (эмоции, психология) и врач (физиология, ratio), а потому, что он выразитель чаяний «ума и сердца» мелкобуржуазной интеллигенции.

Противоречия (ненавидит войну — примиряется с ней и т. д.) в произведениях Дюамеля остаются обнаженными, «торчат», потому что ни скепсисом, ни лирическими отступлениями, ни омором (отражения компромисса в плане художественном) снять эти противоречия нельзя. Они отражают специфическую идейную и моральную иерархию, характерную для мелкобуржуазной среды.

Дюамель-идеолог далек от нас, мелок, просто старомоден. Но это не мешает ему быть весьма интересным и поучительным для советского читателя автором: настолько хорошо и просто отражены в военной литературе Дюамеля психоидеологические «страдания» той части интеллигенции, на которую пролетариат может и должен

воздействовать в определенные моменты классовой борьбы. Особенно — борьбы с военной опасностью. В предисловии серьезно освещается творчество Дюамеля. Перевод четкий, в общем согласный с «духом» Дюамелевой фразы.

*Б. Песис.*

**Юрий Соболев.**—«Чехов». Статьи, материалы, библиография. Изд. «Федерация». М. 1930 г. Стр. 345. Ц. 3 р. 55 к. (в пер.)

Главный мотив книги сводится к вполне своевременной попытке «разгримировать» Чехова от напастованной буржуазно-либеральной критики». Ю. Соболев чувствует настоятельную необходимость приблизить Чехова к современности. Подобная задача под силу только марксистскому научному анализу, ибо в творчестве и жизни Чехова всякому «да» противостоит «нет», чеховскому знаменитому «нэ-тэ» — чеховский же здоровый смех, субъективизму писательских высказываний — объективный смысл произведений. Без диалектического метода исследования обойтись тут невозможно. Ю. Соболеву, не владеющему этим методом, «разгримирование» не удалось, и он вынужден был в конце концов признаться, что его труд лишь «личный путь к Чехову», материал для будущего портрета «без грима». Но одним этим признанием своеобразное и на наш взгляд мало убедительное решение Соболевым проблемы о Чехове не снимается.

Доказав рядом справок, что М. Кольцов в своем выступлении об освобожденном им от «грима» Чехове слыхком осовременил писателя, Ю. Соболев сам впал в то же самое заблуждение, только значительно смягченное прекрасным знанием Чеховской биографии и произведений. Так что рецензируемая книга не свободна от некоторой «гримировки» Чехова на новый лад, вытекающей, между прочим, и от безобожного смешения автором книги наивно-биографического и художественно-социологического приемов. «Лирические» намерения автора постоянно перебиваются попытки дать объективную оценку чеховского образа и наоборот: «политическое» в Чехове сводится к «этическому» и т. п. Если Чехов отвергал от себя кличку «пессимиста» и предпочитал электричество целомудрию, а «Трех сестер» называл не драмой, а «веселой комедией», то ведь этим фактам можно противопоставить факты иного порядка. И не в «противоречиях» тут даже дело, а в обязательном сведении их исследователем к диалектическому единству и выведению подлинного образа писате-

ля на классовом фоне эпохи. Ю. Соболев же далек от этого подхода к теме. В одном месте он, правда, очень близко подошел к правильному решению вопроса (см. указание о владевшей Чеховым иллюзии свободного творчества, — вот здесь бы и воспользоваться автору энгельсовыми положениями на этот счет), почему-то оставленному им, однако, без разработки.

С предметной же, не методологической стороны работа его, наоборот, очень содержательна, лишена ненужной «академичности» и увлекательно написана. В нее входят: руководящая статья о творческом пути Чехова (почему-то обрывающаяся на полуслове и неточно названная, — в ней трактуются главным образом вопросы поэтики), несколько эскизов о драматургии Чехова, обстоятельные рецензии на новые книги, библиография за 1917—29 гг., этюды по раскрытию прототипов некоторых произведений и, наконец, публикация забытых ранних отзывов (Глаголя, Суворина, Скабичевского и др.).

Суждения Соболева о Чехове-новелисте представляют наибольший интерес, хотя и тут своеобразные формалистские взгляды писателя учтены им в недостаточной степени. Наиболее спорная проблема в чеховиане — теория драмы — еще более усложнена Соболевым постоянными ссылками на толкование Чеховым своих пьес. Здесь Соболев, на наш взгляд, не сумел отличить постоянный личный и художественный иронизм Чехова от далеко неиронического содержания самих пьес. Гиперболический стиль чеховского письма, правильно поставленный, не получил в книге необходимой сравнительной оценки хотя бы с гоголевским гиперболизмом. Довольно рискованно также было автору рассеивать

«легенду» о Чехове-нытике, отправляясь от его глубоко интимных писем к жене. Сближение Чехонте с Чеховым тоже не доведено в книге до конца. Зато образцово сделаны Соболевым примечания к выдержкам из дневника отца писателя, и очень ценным следует признать воспроизведение официальных «паспортных» документов о Чехове. Недостаточно прокомментирована заметка «За чтением классиков» и многообещающе названа другая заметка: «Чехов декадент». Ожиданий, вовсе не выходящих за пределы обещанного, тут Соболев не оправдывает. Два слова скажем о знаменитом, более известном по наслышке и получившем скандальную историю отзыве Скабичевского о раннем Чехове. Надо быть навсегда благодарным Соболеву за публикацию этого отзыва по причине... отсутствия в нем чего-либо одиозного! В весьма резком и грубоватом тоне Скабичевский высказал, в сущности говоря, полное признание таланта у Чехова и правильное пожелание автору «Пестрых рассказов» порвать с мелкой газетной работой: Ничего другого в отзыве не содержится. И мы думаем, что в данном случае Соболев сам оказался в плену либеральной «легенды»...

Обращаем внимание Соболева на бросающееся в глаза противоречие в его оценке «Татьяны Репиной» (стр. 287 и 292)

В составленной из отдельных статей книге Соболева рассыпано много ценных замечаний, суждений и новых фактов, говорящих о большой эрудиции автора, но, к сожалению, не систематизированных им и не могущих поэтому дать правильного и точного рисунка «нового» Чехова. Проблема нуждается в монографическом социологическом исследовании.

*Н. Замошкин.*